НЁМАН

4/2010
АПРЕЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

**Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»**

**Издается с 1945 года
Минск**

СОДЕРЖАНИЕ

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные по электронной почте, редакция не рассматривает.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. А. Губарь*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 14.04.10 г. Формат 70 × 108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,19. Тираж 3787. Заказ 935.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

Отчуждение

Роман

— Жить сознательно — значит, по определению, существовать автономно. Ведь личность — всегда отдельная единица в социуме, где счет идет на этносы, классы, касты и целевые аудитории. Понимаете, коллега?

— Понимаю.

— В психологическом плане жить сознательно — быть одиноким, в плане социальном — лишним. А вот существовать бессознательно — значит, по определению, тянуться к людям, жить совместно, семейно, не автономно.

— Боюсь, что вы правы.

— Я так просто в ужасе от этого.

— Только заведующему не говорите: он ничего не поймет и опять станет нервничать.

— Что вы, я молчу как рыба… Зачем нам проблемы?

(Из разговора пациентов в сумасшедшем доме.)

РАЗДЕЛ I

Мы

1

М**не** кажется, в прошлой жизни я был Гераклом. Или Сизифом. Во всяком случае, я чувствую себя на переднем крае борьбы за человеческие возможности и перспективы.

И у меня не притупился еще вкус к подвигам.

Так что меня можно звать Гераклом. Правда, при этом пришлось бы сделать вид, что не существует моего подлинного имени, скрывать которое мне вовсе ни к чему. Позвольте представиться: Вадим Соломонович Локоток. Нет, не еврей. Есть основания полагать, что русский. Мой дед, Кузьма Петрович, начудил с именами детей, решив, что имя определит судьбу. У него было два сына: Соломон и Бетховен (последнего он сначала хотел назвать Че Хевара, но жена его, моя бабушка Соня, легла хилыми костьми, и мальчик стал Бетховеном).

Вот таким нехитрым способом дед решил взять судьбу за глотку.

Кузьма Петрович был оригинален во всем. Добрые люди подаются из деревни в город (такова тенденция веков), у него же случилось наоборот. Дети родились и стали подрастать в городе, а потом он перетащил все семейство в деревню. В городе ему было тесно.

Во дворе строптивых детей прозвали, соответственно, Моня и Фашист. Бетховен был немцем, а вовсе не фашистом, и фашистом он быть не мог в силу известных причин: опоздал родиться на добрых лет сто. Но дворовых детей эта неувязочка только раззадоривала. Странное имя — значит, фашист. Не наш. К тому же все помнили, как Бетховен однажды случайно наступил коту Ваське на хвост. Кот Васька вскоре родил семерых котят, а за Бетховеном упрочилась репутация фашиста и живоглота.

Имена в известном смысле сказались на судьбах Соломона и Бетховена: первый исключительно плохо учился в школе, был глух к наукам, а второй оказался туг на ухо и отличался редкостной неприязнью к классической музыке. Свою единственную дочь дед назвал Жанной, в честь Жанны д'Арк, разумеется. Спустя два годика решил переименовать ее в Екатерину I, но было уже поздно: Моня с Фашистом наотрез отказались звать сопливую сестричку Екатериной, да еще Первой.

Мой отец, которому его отец написал на роду быть мудрым, неожиданно для всех подался в энтомологи. Он знал о бабочках все, и, само собой, приобрел-таки репутацию умного. Столько знать и не быть умным — это ведь глупо.

Фашист дослужился до чина полковника артиллерии и стал интернационалистом по убеждению, где-то даже антифашистом.

Мне никто ничего на роду не писал, поэтому я в растерянности подался на философский (может быть, отчасти отчество обязывало?). Меня ничто не интересовало, кроме истины, и я, уверенный в том, что сей благословенной науке обучают всех желающих, стал изучать пыльную «мудрость веков».

Из университета я вынес два твердых убеждения.

1. Философия занимается не Истиной, а ошибочными теориями великих мыслителей; они всегда в чем-то сильно заблуждались, а преподаватели философии, переминаясь на своих стоптанных каблуках, их тактично подправляли, при этом нисколько не претендуя на истинность своих суждений.

2. Философию затем и придумали, чтобы объяснить, что никакой Истины не существует. Чем умнее человек, тем глубже он это понимает. Самые умные, естественно, не понимали уже ровным счетом ничего и, что отличало их от всех остальных, не пытались ничего понять. Свет они уже не отличали от тьмы.

Я, очевидно, был глуп (хотя кличку мне влепили намертво: Соломон). И я решил искать не Истину, а разобраться с тем, кого можно и нужно считать хорошим человеком. Вроде бы подмена понятий. Но истина у меня ожила, забродила и заклокотала, что страшно не нравилось моему деду: он считал, что умные люди не должны заниматься такими пустяками; умные люди должны сеять и пахать — поднимать сельское хозяйство, возрождать село. Думать о хлебе насущном. Вот это, понимаешь, дело. А Истина…

Ее, понимаешь, на хлеб не намажешь, ею сыт не будешь, ею даже не подотрешься как следует. Эфемерная, понимаешь, материя. А хороший человек…

Ты у соседей спроси, они всегда скажут, кто хороший, а кто так себе. Сын бабочек всю жизнь ловил сачком, внук «истиной» занимается…

Кузьму Петровича это раздражало.

— Ты мне скажи, — горячился он, составляя идейную оппозицию внуку. — Я жизнь прожил?

— Прожил, — соглашался я. — Но не до конца.

— И вроде бы умом Бог не обнес.

— Возможно.

— И раньше люди жили, не глупее нашего были. Так?

— Это спорный вопрос.

— Что значит спорный? — ершился дед. — Не было бы поколений до тебя — и тебя бы не было. Это тоже спорный вопрос?

— Это истина. В известном смысле. Называется — относительная истина.

— Ты ведь — это не ты, это их продолжение, это они, понимаешь? Я, твой отец, твой прадед… Если мы были дураками, как же ты стал таким умным?

— Нет, дед, ты не дурак; но ты эмпирик, а тут нужна методология.

— А ты знаешь, из чего манная каша состоит? — вкрадчиво спрашивал дед, чувствуя, что у него отбирают наступательную инициативу.

— Не знаю.

— То-то же. У меня спроси. Из пшеницы! Это же знать надо. Вот это умные люди придумали. А методология твоя — это говно от желтой курицы. Вот и весь сказ.

— Да, дед, великий ум — это великое отчуждение… А вот ты скажи: кашу маслом не испортишь?

Дед задумался, а потом осторожно произнес:

— Не испортишь.

— А если ведро масла влить в чугунок?

— Это же дураком надо быть! Ты положи сколько надо — и не испортишь. А заставь дурня Богу молиться, он и лоб расшибет. Ведро…

— Правильно, дед. Это называется стихийная диалектика. Вот ты эмпирик и диалектик, хоть ничему и не учился.

— Потому что у меня голова на плечах есть!

— Правильно. Природная детерминация называется…

— Какому-то фашистскому языку тебя научили, прости Господи. Говори по-человечески, а то я ничего не понимаю.

— Вот-вот, дед внука не понимает, а мы хотим, чтобы народы и цивилизации примирились.

— Это они из-за глупости примириться не могут. Все воюют, воюют…

— Конечно из-за глупости, кто спорит?

Военная тема настроила деда на мирный лад.

— Ты кашу есть будешь, философ?

— Манную? — прищурился я.

— Ага.

— С маслом?

— Конечно, а как же.

— Буду.

— А у тебя губа не дура…

— Губа — она у всех не дура. Губы у нас у всех одинаковые. У нас мозги по-разному устроены. Давай свою кашу.

Когда дед был уже при смерти, ум его стал яснее и крепче. Некоторые его суждения меня поразили. В каком-то смысле то, что я усвоил из бесед с дедом, университету и не снилось.

— Оно, конечно, живем, хлеб жуем, — дед по-рыбьи пошамкал ртом. — Но жизнь прожить — не поле перейти. Понял? Ничего ты не понял. Кроме хлеба еще есть душа. А она чего-то болит. И жить спокойно не давала, и помирать мешает. Не угодил я ей.

— Дед, а ты хороший человек?

— Да вроде хороший. Неплохой. Но я какой-то… при поле существовал. Полевой человек. Хомяк, истинный хомяк, убей меня Бог лаптем. Или трава: вырос, дал семя и высох. Тьфу, прости Господи. Чувствую, что это неправильно, но чувствую также, что до правды мне не дойти. Вот детям дал знатные

имена, думал, хоть они не будут травой… Я думал, Бетховен умный, раз музыку писал. А оно, видишь, как вышло… Вся надежда на тебя, Соломон, ай, тьфу, Вадим. Может, хоть твоя философия глаза тебе откроет?

Я молчал.

— Но на поле истину не ищи. Ее там нет. Это я знаю точно. Пшеница есть, а истины нет. И в церкви, я думаю, истиной не пахнет. Там пахнет ладаном. А при чем здесь душа? То-то. Человек не должен быть хомяком…

— Он должен быть человеком, — сказал «Соломон», то есть я, вкладывая в эти слова какой-то мне самому еще не ясный смысл.

— Возможно, — ответил дед Кузьма Петрович. — Возможно…

С тем и помер — с философской нотой на устах. Я никогда раньше не слышал от него слово «возможно». Он был патриархально категоричен, трогательно и жестоко.

Да, перед смертью он произнес еще одну фразу, для него не характерную. Он сказал:

— Вот ты мне внук, родная кровь. А ведь мы чужие…

— Чужие, — эхом отозвался я и с треском надкусил сочное яблоко: этот звук я с детства воспринимал как лилипутский гром среди ясного неба. Гром, молния, потоки воды с небес — я всегда этого побаивался. Забавно.

2

Меня всегда изумляло и волновало одно свойство реальности: от возможного до невозможного — один шаг; от невозможного до возможного — тоже. Всего один шаг в обратном направлении. Сама реальная возможность перейти черту невозможного волновала меня, придавала энергии и делала меня молодым. Мобильным.

Но вот пробираясь по этой скользкой тропинке, — постоянно перескакивая границы невозможного — я, в конце концов, забрел на опушку детства, с которой и начинал свой тернистый путь.

Прошу понять меня правильно: я не с ума сошел, не об этом речь. Я оказался у разбитого корыта.

Что я хочу сказать? О чем я?

Вот сейчас и разберемся.

В детстве мне казалось, что умному всегда нелегко в жизни. Лично я старался скрывать свой ум (а то, что он у меня был, как-то сразу не вызывало сомнения — ни у меня, ни у моих друзей, ни тем более у недругов). Это уже позже я услышал о «горе от ума» и немало поразился подобному казусу; еще позже узнал, что первым об этом оповестил народы Соломон («Во многой мудрости много печали», — поучительно и бодро сказал Соломон многочисленным ушам и растерянно, даже со страхом добавил: «И кто умножает познания, умножает скорбь?» Думаю, он и сам ошалел от того, что произнес, если, конечно, понял, что сказал…)

Не скрою, мне польстило, что мой тезка и в каком-то смысле предок сподобился на такой кучерявый пассаж. Он на много тысячелетий опередил свое время, мир его праху (если в Библии ничего не напутали, если Соломон — господин Соло, как я называл его про себя, — таки существовал).

Потом я был очарован возможностями ума. Мне казалось, что я на порядок умнее библейского Соломона и сумею извлечь из его парадокса тьмутьмущую выгод. Но я лишь все больше и больше постигал причину его растерянности. Вот и вся сомнительная выгода.

А теперь меня мучает ощущение, что меня обманули. Я всю жизнь шел чему-то наперекор, скрывал, таился — жил по уму; сейчас мне все чаще начинает казаться, что я бездарно распорядился своей жизнью. А ведь еще ребенком я предчувствовал: будешь умным — профукаешь жизнь. «Смотри-и-и, ой, погоришь!» — лепетал я устами младенца. Но не поверил глупому дитяти — и вот, пожалуйте…

Вот оно, разбитое корыто во всей своей красе — с огромной трещиной посередине, делающей корыто не подлежащим реставрации. Нельзя дважды начать с одного и того же разбитого корыта — невозможно спутать начало и итог. Я прожил не жизнь, понимаете?

Вот дед прожил жизнь, но ему не хватало ума; а я умничал, и мне не хватало жизни. Ум и жизнь — несовместимы, ясно?

Нет, конечно, не ясно. Мне-то хорошо понятно, что вам не ясно. Ладно. Есть один рецепт. Чтобы другие тебя поняли, надо непременно рассказать глупую историю — как правило, историю чьей-нибудь жизни.

Ну, так слушайте. Только, чур, не перебивать и не пытаться делать вид, что вы умнее меня. Я вас умоляю: живите и радуйтесь жизни, не повторяйте моих ошибок. Для того и пишу.

Лучше всего начать старым проверенным способом: «Однажды…» Успех у нетребовательной, а равно и сверхискушенной публики практически гарантирован. Да и у тех, кто считает, что они что-либо понимают, уже есть культурный инстинкт на «однажды». У всего ведь есть свои истоки, начала начал.

Итак, однажды…

Нет, стоп. Должен предупредить, что история начинается не с этого «однажды», с другого, но без первого не вполне будет ясно, где же следует искать само начало.

3

Возвращался я как-то домой с коллективной и отчасти дружеской попойки, то есть с вечера, где собиралась группа знакомых между собой мужчин, — знакомых настолько, что каждый был предсказуем в своем поведении. Единственный способ добиться некоторой непредсказуемости — напиться и таким образом попытаться разогнать скуку, лежащую в основе любого коллективного общения.

Возвращался я, разумеется, в стельку пьяным, и у меня на это были, по крайней мере, две причины: во-первых, напились все, а во-вторых, я был колоссально разочарован тем, что даже водка не разгоняет скуки. Я сделал маленькое открытие: количество водки не переходит в качество, которое на человеческом языке можно было бы выразить так: стало веселее.

Не стало.

Более того, водка только усугубила скуку, превратив выпивку в скуку особого рода — когда непредсказуемость становится предсказуемой — и оттого особенно тошной. Я переживал свое удивительное открытие весьма болезненно, а именно: меня мутило, знобило и колбасило. Голова при этом была гнусно ясной, и я с короткими промежутками мягко, но однообразно, пенял себе: «Ну, что, нализался, осла кусок? Теперь будем всю-то ноченьку блевать? Факт. А ведь с самого начала ясно было, чем все кончится. Плесень ты зеленая». Короткая пауза, замысловатые выкрутасы — и опять: «Ну что, нализался?..»

Да, была еще третья причина, но она, превратившись в некое фантомное обстоятельство, весь вечер ускользала от моего внимания. Мне не хотелось

видеть зарей сияющую рожу шефа, и погасить это сияние ледяная водка очень помогала. В тот вечер я дал ему кличку Юпитер. Народу она пришлась по душе.

Стоило мне присесть на своевременно подвернувшуюся скамеечку, всего пару раз икнуть и нащупать глазами обломок луны, увязший в густой синеве, как рядом со мной о левую руку явился Сатана. Не подошел и не подлетел, а именно явился, подлое бесовское племя. В том, что материализовался именно Нечистый Дух, не было никакого сомнения: вместо лица — рыло безобразное, клыки и отвратительные бутафорские уши, обшитые, невесть зачем, малиновым бархатом.

— Да, братец, — сказал я вместо приветствия, — ну и омерзительная же у тебя рожа. Просто — тьфу!

Я попытался плюнуть и небрежно растереть ногой. Кажется, сделал это не очень убедительно: получилось нелепое расшаркивание. Перед кем?!

— Бывает, — сказал Сатана и закурил довольно дорогие и ароматные сигареты (коричневые, с золотым ободком), можно было бы сказать, изобличавшие привычки порядочного человека, если бы это не был Сатана собственной паршивой персоной.

— Закурить не желаете?

Последние сомнения развеялись, как дымок его благовонной сигареты: он принимался меня искушать. Ведь курить — здоровью вредить. Это я помнил твердо. Вся разумная Европа бросает курить (безумно переходя при этом на наркотики; но последнее соображение сейчас было неуместно). Следовательно, он покушался на мое драгоценное здоровье.

— Нет, — сказал я, — не желаю.

— Воля ваша, — Сатана оказался еще и воспитанным. Вот попробуй отличить такого в толпе людей — как раз ошибешься.

Чтобы показать, что и я не лыком шит, я тут же взял слово.

— Вначале человек развернут к вам одной стороной — лучшей, разумеется. Но до тех пор, пока вы не поймете, продолжением каких пороков оказываются явленные вам добродетели, вы будете идеализировать человека. (Слово «идеализировать» я выговорил с третьего раза, чем, кажется, завоевал внимание своего визави.) Там, где все говорят: «Как он хорош!» — там я говорю следующее: это какими же отвратительными должны быть недостатки, чтобы ими были порождены столь великолепные достоинства? Это и есть самый настоящий принцип отчуждения, так мешающий жить. Скажите, это ваши дьявольские штучки, мистер Сатана?

Я вдруг понял, что к нему следует обращаться именно «мистер», ибо в наших «товарищеских» широтах Нечистому было бы явно неуютно. Мы ведь люди простые: нам либо подавай истину — либо ко всем чертям с матерями катись.

— Несомненно, — одобрительно крякнул Князь Тьмы с безупречным русским прононсом. Учат их там, в зловонных колледжах, на совесть.

— Ну, и чего вы этим добились, чего? Ведь достоинства все равно реально существуют, так? Так. Правда, тут все дело в чувстве меры, в чувстве соразмерности, — последнее слово я произнес с трудом, но я не зря старался: оно вызвало огромное уважение со стороны Сатаны. — В принципе ведь достоинства можно увеличить, а пороки — уменьшить. Это ведь дело духовной технологии, между нами говоря.

— Безусловно, — поддержал меня Сатана, и мне стало казаться, что он ненамного умнее меня, если здесь вообще можно было говорить о превосходстве. Я решил начать с азов, чтобы уяснить самому себе еще не ясную мысль,

которая билась в моих словах, словно огромная рыбина в удачно закинутом неводе.

— У меня есть принцип, который я называю… Впрочем, сначала принцип, потом название. От вас требуется немного фантазии.

Сатана кивнул. Он был подозрительно ручным и домашним. Каким-то полубесом. Значит, сейчас ошарашит. Будем начеку.

— Вообразите себе грамотную продавщицу, то есть такую, которой кажется, что она грамотная, ибо она знает один маленький секрет — одну грамматическую норму, которой не владеет большинство. Вообразили? Быстро вы справились. Хорошо. Все покупатели твердят: «Одно кофе», тогда как в школе ее учили — «один кофе», и никак иначе. Кофе, почему-то, мужского рода, но об этом, почему-то, мало кто знает. Продавщица — одна из немногих. Представляете, как мало иногда надо, чтобы попасть в число избранных? Но это так, к слову. И вот подходит к нашей продавщице красавец мужчина (лицо, явно не обремененное печатью интеллекта) и вкрадчиво сообщает: «Один кофе, пожалуйста». Что происходит с нашей продавщицей, приятной, между прочим, наружности, несколько даже кукольной, с милой родинкой на щеке, как у Мэрилин Монро (кстати, из этой бездарной актриски вышла бы идеальная буфетчица)? Огонь по телу, и она растаяла в мгновение ока. Не замужем: ее можно понять. Ясный сокол тут же добавляет: «И один булочка! Адын!»

Сатана захохотал.

— Забавно, черт возьми. Очевидно, принцип называется «один булочка»?

Настал мой черед аплодировать Дьяволу, мысленно, конечно: он был вовсе не так прост, несмотря на свои ослиные уши. Мой принцип действительно назывался «один булочка», и об этом не знал никто, кроме меня. Теперь вот Сатана знает. Принцип работал в жизни на все сто: как только кто-нибудь произносит долгожданное «один кофе», я невероятно настораживаюсь, и чаще всего бываю вознагражден сполна: как правило, незамедлительно следует «один булочка».

— И вы хотите знать, — не дал мне опомниться Сатана, — не сработает ли этот принцип на мне самом?

Он был прав: я действительно хотел это знать. Пока что Сатана меня не разочаровывал: он был явно умнее моих дипломированных коллег-собутыльников. Не утруждая себя даже кивком головы (если ты Сатана — читай в моей душе знаки смущения и согласия), я спросил в лоб:

— Если ты настолько темен и поган, то как же тебе удается избежать божественных достоинств? Ты что же, тьма без света, тоже не подвластен законам диалектики? Я просто в недоумении.

— Подвластен, конечно, как всякое существо на этом свете. Я вот хотел как можно хуже, а получилось — лучше не придумаешь. Да, да, не округляйте глаз с расширенными алкоголем зрачками. Постмодерновый модус диалектики, — бегло добавил он. — Если угодно — принцип жизнедеятельности постмодернового Сатаны. Доказательство: я ушел от жены, полагая, что совершаю величайшую глупость, а оказалось — попал в рай. Вникаете? Фурию жену променял на толпы гурий.

С этими словами Сатана снял маску и оказался приятным мужчиной моих лет, с аккуратно подстриженными ухоженными усами, намекавшими на его холостой статус. Этакий холеный любитель свежей клубнички. Я еще не успел прийти в себя от слова «модус», как вдруг такая метаморфоза…

Дьявол явно брал верх надо мной.

— Да, — сказал я, призадумавшись, — рушатся браки. Да что браки… Диалектика дает трещину. Империя рухнула на наших глазах. Мы с вами обломки империи, с чем вас и поздравляю.

— Мне наплевать на империю. К тому же, знаете, в мутной воде иной раз такая рыбка попадается… Не жалуюсь.

— Это называется «после меня хоть потоп». Не очень гуманно. И где же это, в каком таком аккуратном медресе учат на Дьявола?

— На философском, разумеется. Сатана — это призвание, а не профессия; но образование у Сатаны должно быть философское. Чего тут темнить…

— Я восхищен дерзостью мысли, — промямлил я.

— Меня зовут Вадим, — сказал Сатана, учтиво отводя мой комплимент.

— Меня тоже, — не удивился я. — И я тоже ухожу от жены. И тоже в рай хотелось бы. И я тоже заканчивал философский… Хотя, строго говоря, уходит она от меня. А это что такое? — ткнул я пальцем в поникшие уши.

— Так сегодня же Хеллоуин, День всех святых, вот мне и досталось это чучело.

— Дьявол — он что, теперь тоже числится в списках святых? Интересно, под каким номером?

Мой собеседник с неподражаемым равнодушием пожал плечом.

— Знаешь, как это все называется? — интригующе спросил я.

— Как?

— Отчуждение от мира темных сил. Мне даже туда дороги нет. Хотя у меня накопилось немало претензий к дьяволу.

— Интересно было бы услышать.

— Прежде всего, я считаю бессмысленным утверждение, будто рукописи не горят, и что не надо ни о чем просить сильных мира сего, дескать, сами все принесут на блюдечке с голубой каемочкой (кстати, эти блюдечки — милая пошлость, типичное мещанство, но отменный поэтический образ, вы не находите?). Совершеннейшая чушь. Две глупости подряд. Горят, и не принесут. У вас есть рукописи?

— Нет. Мне незачем писать, я обеспеченный человек.

— Какая дьявольски интересная постановка вопроса… Жаль, что обеспеченный Лев (я имею в виду Толстого, конечно) ничего об этом не подозревал. Деньги украли у вас талант, говорите? Жаль. Сейчас бы спалили вашу писанину, и можете мне поверить, что этот невинный эксперимент впечатлил бы вас. Очень жаль, что вы не пишете: это большая потеря для литературы.

— Не спеши разочаровываться. Давай дружить: хотим как лучше — смотришь, получится какая-нибудь дрянь. Благие намерения, того и гляди, приведут в ад. Что скажешь? В рай попадают с гнусными, бредовыми помыслами. Аминь.

Я не слышал в своей жизни ничего более божественного, чем эта глубокая галиматья, и с восторгом бросился на грудь своему новому приятелю Сатане.

— А у тебя жена была красивая? — поинтересовался я у Вадима-Сатаны, как у старого доброго знакомого.

— Красивая, — ответил он и вытащил ее фото из дорогого бумажника рыжей кожи, заманчиво распахнувшего свои многочисленные потаенные кармашки, отделения и просто разрезы, куда были вставлены глянцевые (визитные) и пластиковые (банковские) карточки. Это портмоне было паспортом социального благополучия клиента и гражданина. Так сказать, достаю из широких штанин — и...

— Вот это да! — изумился я, хмелея и трезвея одновременно.

С фотокарточки мне улыбалось лицо Лоры, моей потрясающей любовницы или моей сладкой возлюбленной, как сказал бы Соломон (не мой папенька, понятное дело, а тот старец, десятитысячелетний юбилей которого где-то

рядом, вот-вот; надо бы отметить). Все получилось как нельзя лучше: я и любовницу сохранил, и друга-приятеля приобрел.

На прощание я спросил:

— А у тебя сестра есть?

— Нет, у меня есть дочь.

— Это я знаю, — ляпнул я.

— Откуда это вам известно, позвольте полюбопытствовать? — прищурился от дыма сигареты Вадим, теребя уши Сатаны.

— Это же дважды два: если есть жена, то, вполне вероятно, должна быть и дочь.

— Почему же не сын, например?

— Ты от жены ушел? Ушел. Значит, она — сильная женщина. От слабых не уходят: с ними так легко быть сильным. Раз твоя жена сильная женщина, следовательно, она должна передать свои достоинства по женской линии. Природа любит закреплять признаки жизнеспособной породы. Генетика — слышал что-нибудь об этой строгой науке? Вот жена и родила тебе дочь.

— Ты хочешь сказать, что у меня нет сына потому, что я слаб и мне нечего передать потомству по мужской линии? Разве я так уж неинтересен матушке-природе?

— Нет, я за диалектику в таком модусе: у тебя была сильная жена. О тебе мы сейчас не говорим; кто знает, возможно, следующие двое ваших детей были бы мальчиками…

— В этом что-то есть, конечно.

— Есть, есть. В этом есть крупица истины. А вот сестра — это совсем другое дело. Если ей повезло с братом — на ней природа отдыхает. А если нет… Сестры, брат, существа капризные. Хочешь, я познакомлю тебя со своей сестрой?

— Зачем?

— Из лучших побуждений.

— А-а, ну тогда валяй.

4

Чтобы понять смысл и содержательность моего восклицания (я, помнится, возопил «вот это да-а!», когда по моим глазам резануло изображение роковой Лоры, улыбавшейся мне своей секретной улыбкой), надо вернуться на несколько лет назад, если уж точкой отсчета в моей биографии делать забавную встречу с лжесатаной (хотя я предпочитаю иную точку отсчета, а именно: начало).

Однажды я заглянул к своей сестре на работу (КБ в НИИ, кажется, что-то научное, связанное то ли с холодильниками, то ли с мясорубками), увидел ее очаровательную коллегу — и обомлел. Это была Лора. В этой замужней женщине было столько кошачьего шарма, столько шаловливого мур-мура, столько призывной ленивой грации, открыто говорящих о том, чего жаждет обольстительница, что не заметить всего этого было, в конце концов, неприлично. И я, разумеется, решительно обратил внимание на ее страдания, хотя в ее призывности был легкий перебор, что покоробило мое чувство вкуса.

Но когда моя сестрица с интонацией «вот это да!» шепнула мне: «Что ты сделал с бедной женщиной? Я никогда не видела ее такой… пушистой», — я успокоился, потому что понял: спектакль был разыгран специально для меня. Значит, ирония, скрывающая отчаяние, мне не почудилась. Роскошная женщина, доведенная до отчаяния, — это, я вам скажу, дорогого стоит.

Вскоре я убедился, что ее чувство вкуса не уступает моему. Более тонкой женщины я не встречал в своей жизни (убедительные доказательства будут представлены несколько ниже). Нет, все же встретил. Но только один раз.

И я уже всерьез подумывал о женитьбе на Лоре (ее муж, богатый нигилист, переставший замечать проблемы тридцатилетней — боящейся увядания! — женщины и поплатившийся за свой эгоизм приобретением роскошнейших рогов, отлитых из сплава лицемерия и страсти высочайших проб, был давно вычеркнут из ее жизни, хотя и не подозревал об этом — до поры до времени не подозревал), как вдруг в моей жизни произошло удивительное событие, с пугающей ясностью приоткрывшее мне природу человека и в то же время окончательно меня запутавшее. Я второй раз в жизни стал мужчиной (о первом и третьем причастиях речь, опять же, впереди; так странно: все, что уже случилось — впереди; писатель — это человек, для которого не существует разницы между прошлым и будущим). Я полюбил смиренную Ивонну, милую польку, несколько заносчивую и при этом страшно преданную. (Преданность — любопытное чувство, несколько книжное, подозреваю, что библейское. Предана — значит, не предаст. Значит, и ее нельзя предавать, ибо око за око. Следовательно, женщине можно становиться какой угодно обузой для мужчины — главное, хранить верность и преданность несчастному избраннику, жертве подлого негласного уговора. Вот почему иногда преданность — это завуалированное предательство. Ах, Ивонна… Прощай.) Мне очень хотелось рассказать о своем чистом чувстве любимой Лоре, но я боялся ее ранить. Я не обманывал Лору — оберегал: есть разница. В этом свете пилатовский ребус «что есть истина?» представлялся мне школьной шарадкой. Истина была в том, что я любил Лору, обманывал, оберегал — ибо любил и другую, которую мне тоже не хотелось обижать, поэтому приходилось обманывать (в ее же интересах). Интересы женщин были на первом месте. Если это не истина (которая убила бы Джульетту быстрее того некачественного яда, который она, бедняжка, проглотила по воле чудовища Шекспира), то что это? Эгоизм?

Спасибо за подсказку. Сначала я и сам так думал, потом понял, что жестоко ошибаюсь.

Опыт человеческий, запечатленный в книгах и гипотезах и призванный служить образцом, по которому следует лепить подобия, странным образом мне не пригождался, так сказать, не был востребован. Я жил с чистого листа, как будто до меня не жили люди, не любили, не разочаровывались, как будто не было Суламифи, Джульетты или Соло. То есть они-то были, но опыт их чувств казался мне не полным, обидно односторонним — подогнанным под приличия, а не под природу человека. Все эти истории, казалось мне, были благородным обманом, сотворенным из самых лучших — отборных! — побуждений. Повествователи явно чего-то недоговаривали.

И вот я рассказываю себе и вам правдивую жизненную историю — потому и глуповатую, что жизненную. Ибо третьим убеждением, дополнившим два первых, сформировавшихся в университете, было следующее: мудрость — пыльца жизни; очень сложно, не вмешиваясь в глупую жизнь, не перекраивая ее по своему произволу, — словом, не прибегая к насилию, извлечь из ее простых и грубоватых узоров нечто тонкое, изысканное, явно превосходящее куцые страсти, которыми кормили нас веками. Мудрость входит в химический состав глупости; но нет такого соединения — чистая мудрость. Этот состав тут же улетучивается ядовитым испарением. Место ему — в колбе Сатаны. А глупость — вот она, тверди и хляби: весомо, зримо и ненавистно.

5

Однажды, когда я рассуждал о странностях и превратностях любви, раздался телефонный звонок от моего папы, не сказал бы, что горячо любимого, однако же родителя, как ни крути. «Свой своему поневоле рад», — говаривал мой дед. И был по-своему, по-народному, прав.

Папа мой, Соломон Кузьмич, сообщил мне две новости, от каждой из которых нормальный сын мог бы получить разрыв аорты. Вначале он сообщил мне, что у него «проснулся» рак, а именно: рак желудка (отступивший несколько лет тому назад, что вызвало переполох в известных медицинских кругах — сенсация! чудо! человек побеждает рак; «Рак пятится назад!» — называлась одна из газетных статей), а потом сказал, что желает поговорить со мной откровенно.

Чтобы понять, почему меня взволновал звонок любезного папы, надо знать долгую историю наших непростых отношений.

Итак…

РАЗДЕЛ II

Папа

1

А вот теперь — о начале моей истории.

Конечно, началась она с Соломона Кузьмича, и даже просто с Соломона. Но та история, в которой действующим лицом был собственно я, началась в тот момент, когда во мне проснулось сознание или, лучше сказать, произошло отчуждение сознания от тела и души. В мире явилась и идеально материализовалась иная точка отсчета. Мир раскололся на два разных измерения.

И произошло это в тот миг, когда я понял: не ощущения являются главными в этом мире, нет; есть сила выше, главнее впечатлений, потому что она-то и производит впечатления, и имя этой силе — понимание. Это произошло тогда, когда отец мой с серьезным восторгом рассказывал мне о бабочке: «Видишь эту кирпично-красную пыльцу на легких желтоватых крыльях? Порхает такой осколочек кирпича, и все дивятся. А это и не кирпич вовсе, это мельчайший кофейный налет; кажется, что бабочка должна пахнуть шоколадкой или фантиком от конфетки, разве нет?»

А я вдруг постиг: дело тут вовсе не в бабочке. Я понял, что отец мой досточтимый врет, боится того, что он врет, и скрывает это от самого себя. Он боится понимания, боится саморазоблачения. Вот и появились на свет цветастые бабочки: светло-светло-зеленые, почти оранжевые, черные с шелковым отливом…

Отец играл с самим собой в прятки, в детскую игру, и мне ли, ребенку, было не понять всей прелести «зажмуривания»: закроешь глаза, попадешь в нестрашную темноту — вот и нет проблемы. Страус, длинноногий подросток, отдыхает.

Я помню: отец сидел возле камина (он любил открытый огонь, рваные края которого чем-то напоминали оранжевый рой бабочек, трепыхавшихся упругой бахромой; они готовы были упорхнуть в любое мгновение, но что-то

тянуло их к огню, в камин) и в который уже раз со смаком созерцал свою коллекцию, перебирая хрупкие силуэты (не прикасаясь пальцами, Боже упаси!). «Бабочка-красавица, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощенье? Помнишь?» Он говорил мне, говорил — а я чувствовал, что становлюсь уже взрослым мальчиком, почти мужчиной (вот оно, первое причастие к мужскому!), ибо начинаю за деревьями видеть лес; по крайней мере, я стал догадываться, что человек устроен очень сложно, и даже мой папа, взрослый дядя, хочет казаться сильным и беспечным, хотя что-то он мучительно скрывает — прежде всего, от себя самого. Я чувствовал это физически, чувствовал, что понимаю, то есть вижу тайные мотивы поведения человека.

Тогда же по краешку моего сознания, только-только проклюнувшегося из темного кокона, отложенного кем-то на случай на границе небытия, бабочкой скользнула неясная мысль, которую я запомнил ощущением, и уже позже, будучи студентом, сформулировал следующим образом (имея своего рода страсть к корректировке расхожих банальностей, ни у кого не вызывающих сомнения, что меня, естественно, раздражало): ты в ответе не только за тех, кого приручил, но в первую очередь — в ответе за то, что не смог приручить тех, за кого ты в ответе. Не надо было врать, папа, надо было просто быть умным и черпать мужество в разуме. А бабочки, конфигурацией восходящие к славным женским попкам…

Они всегда напоминали мне разновидности фиговых листиков. Мириады фиговых листочков, из ярких лоскутков которых сшивалась ширма приличия. Средних баллов шторм, добрая трепка здравого смысла — и фантики с запахом ванили превращаются в кучку мусора.

Это был первый опыт мышления, и перспективы передо мной открылись необозримые. Каждое утро я просыпался с радостным настроением — оттого, что стал другим, непростым, интересным самому себе.

Итак, история моя началась, и беспечный папа позаботился о том, чтобы умственно я развивался как можно быстрее, ибо бросили меня одного (почему? за что? за какую провинность?), на воспитание деду. Мамы моей к тому времени, к моим годам семи, уже не было (была бы мама — был бы я другим?), папа удалился жить отшельником на заброшенный хутор. Дед хмуро швырял садовый инструмент (пытался забыться работой), а мне чудилась за всеми этими нелепыми поступками взрослых большая, мало кого украшающая тайна.

Проблема приемлемого начала волновала меня уже тогда, и я спрашивал у деда:

— Дед, а правда, что мы казачьего роду? Мне так бабушка сказала. Ты — казак?

Кузьма Петрович, отесывая чурку для топорища (в такие моменты он удивительно напоминал мне папу Карло), отвечал без выражения:

— Мой дед — казак, отец мой — сын казачий, а я — хрен собачий. Понял?

— Не совсем.

— Подрастешь — поймешь.

— А правда, что мы произошли от обезьян?

— Нет, неправда. Это обезьяны произошли от нас. Вот вырастешь, и станешь мартышкой.

— Дед, я еще ребенок, меня нельзя обманывать.

— Пишут, что мы от обезьян. А где же тогда хвост?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю. Темное это дело…

Мамы, как я уже сказал, не было; ее не стало, и я не помню, чтобы ее хоронили, она просто исчезла, и от меня это как-то искусно скрывали. Я же понимал только одно: спрашивать о маме — бесполезно.

И я замкнулся, обострив свою наблюдательность до болезненных пределов.

В душе моей помимо воли росла и крепла обида: я чувствовал, что особенно никому не нужен, и главным виновником моих бед представлялся мне отец. Он меня бросил, отказался от меня. Предал. Почему? Что я ему сделал?

Мама бы никогда так не поступила. О маме я думал как о добром, нежном существе, которая любила бы меня просто потому, что я — это я (смутно припоминалось нечто колыбельное, прелесть теплой груди, молочные сосцы). Мне остро не хватало такой любви, не хватало мамы. Я придумал себе ее образ, живо воображал ее лицо, интонации, сияющие теплом глаза. Мама была всегда права, а все другие, и особенно отец, — виноваты.

Иногда дед посылал меня на хутор, к отцу, чтобы я отнес ему корзинку с провиантом: соль, сало, спички, то да се. Возможно, дед хотел, чтобы я, самостоятельный не по годам, чаще попадался Соломону на глаза и восхищал его своей сообразительностью; трудно сказать, на что рассчитывал Кузьма Петрович, но меня эти походы не вдохновляли. Красная Шапочка из меня получалась неважная.

Отец смотрел на меня отчужденно-внимательно, ни о чем не расспрашивал и ничего не объяснял. Но я ходил к нему, редко, хотя и регулярно; при этом уже чувствовал в себе силы отказаться от сыновнего долга — присматривать за папенькой. Дело в том, что как-то раз я обнаружил на его просторном, грубо, но прочно сколоченном топчане небрежно брошенное женское платье; в следующий раз я нашел в доме (потому что искал) волнующе легкую косынку, потом на глаза мне попались вязаные варежки с веселой радугой на запястьях; наконец, я чуть не задел головой выстиранное женское нижнее белье, которое сохло возле печки. Отец молчал, я ни о чем не спрашивал, хотя любопытство мучило меня нестерпимо.

Однажды, когда мой визит оказался продуманно непредсказуемым, я застал в его доме барышню-хозяйку. Отца не было, он промышлял в лесу.

Девушка оказалась милой и разговорчивой, по возрасту лет на пять-шесть старше меня (мне минуло в ту пору лет двенадцать). Она уже постоянно жила с моим отцом и не собиралась от него уходить. Сказала, что я «душка».

Девушка мне понравилась, но я был разочарован. Неужели я ожидал увидеть здесь свою маму? Трудно сказать. Здесь протекала своя жизнь, в которой для меня явно не было места.

И я перестал бывать у отца, вторично испытав полынную горечь отчуждения.

2

Мы не виделись с папашей лет десять. Однажды он появился в доме деда (в то время я, завороженный философией, — то есть разочарованный ее результатами и очарованный ее возможностями, — заканчивал университет) и молча опустился на скамью: его вконец измучили нестерпимые боли, и он пришел к людям умирать. У него обнаружили рак желудка.

Увидев меня, он заплакал.

— Нам надо поговорить, — сказал высохший, пожелтевший человек, напоминавший моль, которого я, по странному стечению обстоятельств, вынужден был считать своим отцом — то есть человеком, давшим мне жизнь и заботившимся о том, чтобы моя жизнь была прекрасной и счастливой.

— Ты хочешь завещать мне бесподобную коллекцию бабочек? — спросил я, тронутый его порывом.

К сожалению, пришел час моего торжества, и я не находил в душе своей ничего похожего на желание прощать или запоздалое раскаяние в том, что не только отец потерял сына, но и сын — отца. Я ничего не хотел знать о части причитающейся на мою долю вины. Я казнил его непоказным равнодушием. В сущности, мне хотелось одного: чтобы это все кончилось как можно быстрее. Ролью палача я не собирался упиваться, быть свидетелем последних судорог чужого мне человека в планы мои не входило, но уйти я почему-то не мог.

Все-таки у смерти есть свои права и законы. Она заставляет с собой считаться.

— Я хочу рассказать тебе одну историю. Умирать с этим тяжело. Когда-нибудь ты меня поймешь. Не перебивай меня. Пожалуйста. Однажды…

Однажды он страстно влюбился в мою маму (фотографии, которые мне ни разу не показывали, прилагались). Чувство оказалось взаимным, и родители мои поженились. Через положенные девять месяцев родился я (то есть спустя три месяца после женитьбы), а еще года через два моя мама в припадке буйной ненависти (что-то у них с папой разладилось вконец) сказала ему буквально следующее: «У твоего бога имя — Пресность, а фамилия — Черствость; моего же зовут просто — Страсть. Ты ревнуешь меня не к мужчинам, а к моему характеру, к моей любви к жизни. Да, у меня есть свои заморочки, свои демоны, и ты делаешь все, чтобы толкнуть меня к ним в омут. И чего ты добился? Был желанный возлюбленный, стал скучный суженый, мне же оставил женское любопытство к легким отношениям с мужчинами. А мне нужен — возлюбленный. Так вот Вадим — не твой сын, он дитя разврата, плод одной случайной ночи, проведенной не с тобой. Больше я тебе ничего не скажу». Я сразу почувствовал — на генетическом уровне, — что мама, родная кровь, могла и должна была сказать такое. Я сразу же полюбил ее еще больше, и мы уже вместе выступали против папы.

— И что же случилось с мамой? — тоном прокурора, должностью приговоренного вникать в самые неприглядные подробности, спросил я.

В ответ папа скорчился и поник: его одолели боли.

На следующий день он, уставившись в пространство невидящими глазами (может, он заглядывал в себя? или научился не замечать людей в мире, состоящем из грибов и бабочек?), продолжил свое повествование. Однажды…

…Мой папа сильно заскучал, задетый за живое. Однажды он привел свою жену на край обрыва — туда, где они наслаждались расцветом своей любви (я знаю эту скалу: крутой холм, огромный камень, вросший в землю, и — вид на лесной простор, порадовавший бы самого Икара), и поставил перед ней ультиматум: или она называет имя моего блудливого отца — или тут же прощается с жизнью, на месте, прямо сейчас. Мама, встав на пик скалы, рассмеялась ему в лицо, хотя в глазах у нее стояли слезы. И тут папа удивил самого себя: оказывается, и в его жилах текла кровь, а не водица, и он толкнул упругое тело мамы изо всех сил. Мама что-то тихо вскрикнула. Ему показалось, с губ ее слетело жалобное слово «Соломон». Или что-то очень похожее. Получалось, что гражданин Локоток, Соломон Кузьмич, только что, своими же руками, убил мать собственного сына?

В моменты помрачения, когда на него, словно валун с той кручи, накатывало нестерпимое раскаяние, переплетенное с чувством вины, папеньку всегда выручали мамин монолог («стал скучный суженый…») и ее сверкаю-

щие ненавистью глаза. После этого он многое себе прощал — чтобы сразу же ощутить потяжелевшую вину.

Похоронил он ее тут же, под камнем. Вскоре после этого ушел в свой скит: выносить самого себя было проще вдали от людей. Среди бабочек.

Кузьма Петрович несколько раз обнаруживал цветы на месте безымянной могилы и однажды застал горевавшего сына на месте преступления. Тот обо всем рассказал отцу. В ответ словоохотливый дед не проронил ни слова. Позже отделался неясной сентенцией, адресованной, впрочем, неизвестно кому: «Близок локоток, да язык короток». Но чувство вины Соломона Кузьмича было настолько запредельно невыносимым, что молчание деда отяготило его нечувствительно.

В этом месте признательного повествования нестерпимые боли опять скрутили невольного убийцу, и он прервал рассказ до следующего утра.

…Похоронить себя заживо на хуторе не удалось: вокруг порхали бабочки, и осень всегда сменяла весна. Да и что такое осень? Это бодрость в контексте увядания. Все это отвлекало от мрачных мыслей и мешало сосредоточиться на чувстве вины, которое, как ни странно, стало покрываться мхом, мягким, обволакивающим, непроницаемым. Прошлое стало уже казаться таинственным и неоднозначным. Кто прав, кто виноват?

Мир с собой не казался больше несбыточной мечтой. Однако социофобия Соломона Кузьмича все росла и увеличивалась до размеров какой-то уродливой опухоли. Он не мамы испугался, он испугался себя и перестал понимать людей. Помириться с собой оказалось куда легче, нежели понять себя.

Но однажды (ах, это спасительное «однажды», которое так украшает жизнь!) к нему на хутор забрела заблудившаяся в лесу девочка Маша…

Он быстро стал ее героем и завоевал ее сердце. Ее завораживали латинские названия бабочек, да и просто сухая энциклопедическая информация: махаон, бабочка семейства парусников. Окраска желтая с черным рисунком. В Красной книге СССР…

Умный, отважный, он не бабочек ловил, оказывается, а бросал вызов этому суетливому миру с его индустриализацией, глобализацией, уничтожением природы, наркотиками и отказом от самого главного: от познания себя. А Соломон (Соло-мон: имя-то какое! судьбоносное!) мудро всему этому противостоял в глухой чаще среди живого леса. И вот девочка Маша, восемнадцати лет отроду, навсегда отказавшись от наркотиков, поселилась у него в доме. Вскоре у них родилась дочка Сара (папа, согласно всем законам джунглей и кодексу робинзонов, планировал сам принимать роды, непременно в воде, в которой и зародилась жизнь, но отчего-то передумал: Машу отвезли в районную больницу и доверили ее жизнь официальной медицине). Оказывается, я вовсе не был так одинок, как мне казалось: кроме деда с бабушкой и папы у меня была еще и сестричка. И даже симпатичная мачеха.

Маленькая Сара росла на воле, словно зверек. В годик она уже плавала и не боялась крапивы. Разговаривать начала в два.

К несчастью, Маша оказалась очень неглупой девочкой: она быстро поняла, что Соломон Кузьмич вовсе не по причине сил немереных выбрал тяжкий крест одиночества, а по слабости и неуверенности в себе. Латинские названия бабочек стали раздражать, как треск моторов, и Маша, заявив, что социофобия — это смерть в оболочке жизни, вернулась в мир, где технологическая революция стала уже нормой жизни, хотя по-прежнему продолжалась почему-то варварская вырубка лесов, этих легких планеты (а легкие, опять же, по форме ничем не отличаются от бабочек), — вернулась, прихватив с собой, разумеется, малышку Сару.

Все это не добавило сил погубителю моей мамы. Психологический, ментальный рак, симптом отчуждения, постепенно перешел в рак физический. Таков был диагноз моего ложного папаши, всю жизнь занимавшегося самолечением.

Умственное и психологическое здоровье тесно связаны с телесным; раствориться в массе безликих так же губительно, как и выбрать полное одиночество на заброшенном хуторе. Эти связи и зависимости запали мне в душу коряво сформулированной проблемой: мера отчуждения — где она?

После исповеди сына Кузьмы Петровича, продолжавшейся с перерывами три дня, я подошел к своему единственному родственнику, деду, и спросил:

— Дед, где мой настоящий отец? Кто он?

Дед, не глядя на меня, ткнул пальцем вверх и что-то пробурчал.

Небожитель? Геракл?

Это мне ничуть не польстило. Лучше реальный папаша здесь, рядом, чем неизвестно кто неизвестно где.

После душевного разговора с моим экс-отцом случилось то, что меньше всего можно было ожидать: он пошел на поправку, а вскоре и практически выздоровел. Метастазы словно замерли, выдохлись, усохли, прекратили творить свое разрушительное дело, хотя и не исчезли совсем. Если допустить, что душа связана с телом, можно сказать, что его вылечила правда. Наука впала в экстаз, вызванный чудотворным проявлением неизученных ресурсов человеческой натуры, а «папа» (стальными щипцами кавычек я вынес его за скобки своих жизненно важных интересов) превратился в редкостный, срамящий науку экспонат — оживающую мумию или, что еще более невероятно, в подающий признаки жизни пересохший кокон. Чувство вины перестало давить на Соломона Кузьмича (смешнее словосочетания в своей жизни не слышал; разве что Лев Толстой или Пьер Безухов; пожалуй, в этот список следует внести и Венеру Пуговкину; да, в моем повествовании всплывет еще и такая забавная особа — Леда Артемовна, в замужестве Локоток; ну, и семейка из сплошных локотков, черт бы ее побрал; круг, состоящий из острых углов, — как вам такое?), и тело его стало наливаться соками.

Плохо было только то, что ком проблем моего папашки, словно в наследство, плавно перекочевал ко мне. Собственно, после разговора с «отцом» меня не переставали волновать два ощущения. Первое было связано с фотографией матери. Я не ожидал, что у меня была такая красивая, импульсивная и решительная мама. Второе…

Со вторым было сложнее: едва обретя маму, я стал ее терять. В моем воображении жила и играла синематографическими красками картина: мама распрекрасной бабочкой летит со скалы, а в глазах горят ужас и упрек. Съемка была замедленной, слишком замедленной, прерываемой то и дело сентиментальными стоп-кадрами. Мама падала до ужаса красиво.

Вот почему тот факт, что я просто отвернулся от больного папаши, я считаю высшим актом человеколюбия. Чудесное выздоровление, так нелогично последовавшее за триумфальным раковым шествием, кажется, подтверждает мою версию.

Кроме всего прочего, краешком благодати осенило и меня, так сказать, перепало от щедрой души лесного человека: Соломон Кузьмич решительно покаялся и объявил, что считает меня своим сыном единокровным. Я был тронут и взволнован донельзя. Чем-то мой папаша напомнил мне хомячка. Беззащитность, острая точеная мордочка, тонкие руки. Хомячок, истинно хомячок.

Вопроса «что же мне делать, люди добрые?» передо мной не стояло. Я тут же отправился на поиски сестрички, благо знал, где ее искать: с ней я уже был знаком давно и не понаслышке.

РАЗДЕЛ III

Сестра

Когда я впервые увидел сестру Сару, то сразу же — на генетическом уровне — почувствовал, какое созревающее тело томится и скрывается под легким платьицем. Сара, кажется, еще не знала, чего хочет ее тело, а я знал. И ведь я должен был считать ее сестрой, хотя тело мое отнеслось к ней не как к сестре — как к женщине. Но братские чувства победили: я восхищался ее красотой и глупостью, завидуя тем, кому достанутся эти прелестные формы, волновавшие меня помимо моей воли. Упругие, просто гуттаперчевые соски выпирали из-под платья призывными бугорками (полноватая грудь — крутые холмы с нежной молочной впадиной — отдельная песня), легко читалась мягкая складочка жаркого живота, тонкая талия перетекала в плотный зад, замысловато покручивающийся при ходьбе; все, что она ни делала, — было непреднамеренно соблазнительно.

Сара была особь, предназначенная для взоров и желаний мужчин (они все, как по команде, пускали слюну) и в этом смысле как бы не принадлежащая самой себе. Просто товар лицом — дорогой, первой свежести. Пожалуй, в ее облике читался один крупный изъян: она была излишне сексуальной, что не могло не раздражать мужчин со вкусом (то есть единиц). В ней присутствовало нечто, оскорбляющее чувство меры. Спасало только то, что она сама пока не знала цены своим чарам.

Моим идеалом в то время были женщины с завуалированной сексуальностью, с тайной прелестью, — несомненной, но открытой и доступной далеко не всем. Скрыть так, чтобы открыть: вот был девиз, любезный моему сердцу. Прелестная Сара была слеплена для телесных удовольствий, в ней было мало того, что волновало мою душу.

Я тут же объявил Саре (которую я звал Мау, намекая на ее лесное прошлое, практически как у Маугли), что ее отец и мой отец — это два разных мужчины, «две разные биологические субстанции», добавил я, чтобы ей стало понятнее. Сара перепугалась и уставилась на меня своими честно непонимающими глазами.

— Ты — не моя сестра, Мау. Понятно?

— А кто же я?

— Ты — дочь своего отца. Его сейчас благополучно дожирает рак.

— Ужас. А кто же ты? Кто же тогда твой отец?

— Пока не знаю. Может, твоя мама больше информирована на этот счет?

— Может быть. Но ее сейчас нет, она в Париже.

— Что она там делает?

— Как что? Выходит замуж. Что еще делать женщине в Париже? За художника-мультипликатора. Защитника окружающей среды. Мама познакомилась с ним на веселой демонстрации против вырубки тропических лесов, точнее, на пикнике по поводу удачной демонстрации.

— А зачем ей замуж?

— Положено, — повела Сара-Мау круглым плечом.

— Понятно. Значит, ты ничем мне не сможешь помочь. Можно, я поцелую твою грудь? Мы ведь теперь не брат и сестра, а просто чужие люди.

Сару, кажется, на минуту смутил такой поворот событий, но когда я расстегнул ей платье (которое, очевидно, было надето только затем, чтобы можно было получить удовольствие от медленного раздевания), не сопротивлялась. Ей, судя по всему, даже понравилось. Но когда я опустил жадные ладони на талию, круто переходящую в линию бедра, она уверенно пресекла мои поползновения и отвела ладони.

— А жаль, что ты не мой брат. Ты такой прикольный.

Это слово она употребляла в тридцати трех значениях. В данном случае, по-видимому, мне был подарен замысловатый комплимент.

— Я могу быть твоим парнем. Какая у тебя…

— Нет, не можешь. Ты умный и прикольный, а мне нужен… Ну, в общем, француз. Богатый. Не философ. Тебе со мной будет неинтересно: я ведь полная дура.

Платья при этом она не застегнула. Признаться, я даже несколько пожалел, что она не моя сестра: в ней пульсировал милый моему сердцу очаровательный цинизм, делающий нас трогательными детьми природы. Она изрекла-таки «один кофе»; правда, столько раз до этого было «один булочка»…

В то время я еще не догадывался, что дурами следует считать только тех женщин, которые не понимают, что они дуры. Понимает — значит, умная.

С тех пор я внутренне поддерживаю движение «зеленых» и прочих борцов за права животных (хотя от мяса этих самых животных отказаться не могу: уж больно вкусны эти твари земные, особенно приготовленные на открытом огне, на лоне природы — натурпродукт!), и символом борьбы за сохранение природы стала для меня грудь Мау.

Кстати сказать, Сара носила фамилию второго мужа ее матери — была госпожой Двигубской.

Но это еще куда ни шло. Фамилия Вадима-Сатаны была более сдержанной, но значительно более солидной: Печень. Лора Печень стоила Соломона Локотка.

Но об этом в свое время, когда мы преодолеем отчуждение смысла от сюжета.

РАЗДЕЛ IV

Русский хомячок

О, Лора!

Перед этой, исполненной грусти историей я бы хотел поведать о втором своем жизненном принципе — принципе «русского хомячка», что еще более, надеюсь, укрепит мои позиции натуралиста и человеколюба. Итак, русский хомячок…

Ученых поверг в шок этот неказистый остромордый зверек. Он оказался потрясающим папашей, в каком-то смысле — образцом мужского поведения во всем подлунном мире; можно даже сказать, этот грызун отстоял честь мужского племени. Пока вокруг кипели споры относительно того, надо ли мужчине присутствовать при родах и как в этом случае себя вести, выяснилось, что

самец русского хомячка (божья тварь, в смысле Божья Тварь, что ни говори!), к стыду и невежеству людей, уже давно решил эту надуманную проблему. Он деловито и без паники принимал роды, сам перегрызал пуповину у плода, бережно и аккуратно принимал потомство и при этом невероятно нежно ухаживал за подругой. Исключительно нежно. Ученые прослезились. Животное заподозрили в том, что оно является стихийным носителем «нравственных начал». В числе прочих рассматривалась и ангельская версия. Вопрос о том, есть ли у животных сознание, даже и не обсуждался: ученым был явлен образец сознательного отношения к своему долгу. Какое вам надо еще сознание?

Всех животных выписали из Красных книг и поспешили завести другую книгу: Братья Наши Меньшие. Споры о том, могут ли красивые, но приличные женщины позволить себе манто из шиншиллы де-факто были объявлены каннибальскими (в грядущем де-юре — «надела манто и стала ты кто?» — никто не сомневался). Все шло к тому, что для животных надо было строить не зоопарки, а школы и университетские пандусы.

Вот только говорить бедные животные пока не могли. Этот синдром известен миру под названием «собачий синдром»: песик все понимает (глаза умные, хвостом виляет от восторга и дружелюбия, лапу подает — чего ж вам больше?), а сказать ничего не может. Собственно, это и не порок, и даже не собачий, а обычный студенческий синдром: студенты тоже все понимают, а на экзамене молчат, изумляя профессоров блеском умных глаз. Ничего, со временем это проходит. К сожалению, студенты рано или поздно начинают говорить.

Оставалось только экспериментально уличить хомячка — возможно, ближайшего родственника homo! (пардон, человекообразные) — в нравственности и гуманизме, чего ради за «объектом» организовали пристальное научное наблюдение. Сенсация назревала.

Вскоре, правда, выяснилось, что проделывал все эти в высшей степени «человеческие» операции хомячок не совсем бескорыстно. Дело в том, что самка, его любимая подруга, которой он только что цветы не дарил, могла зачать следующее потомство в считанные часы после того, как разродится предыдущим. Иными словами, хомячку сам Бог велел поторопиться, если он, конечно, хотел исполнить свой супружеский долг. А хомячок, судя по всему, очень этого хотел, потому и старался изо всех сил. В результате все были окружены заботой и лаской.

Вот откуда вся эта точность, аккуратность и быстрота! Вот она, подлинная подоплека любви! Берите пример, папаши. Он «думал» только о себе — а его «близким» казалось, что он заботится исключительно о них. (Вопрос о том, думал ли хомячок, и если да, то чем именно он, с позволения сказать, думал, вновь был переведен из очевидно решенных и раз навсегда доказанных в дискуссионные.)

Люди, homo sapienps`ы sapienps`ы, разумеется, не хомячки, я согласен (это же очевидно); однако синдром русского хомячка — это как раз то самое «человеческое, слишком человеческое», которое им, людям, не чуждо. Я всегда нервничаю, если не вижу в поведении человека честных мотивов хомячка; к счастью, этот зверек оказался эталонным в высшей степени: не подвел еще ни разу.

Как только мне застит глаза огромное человеческое благородство, я спешу вынуть большой носовой платок и тут же вспоминаю о русском хомячке. Мне становится легче. Сухой платок возвращается на место. Рядом с памятником «собаке Павлова» я бы непременно воздвиг на холмике пьедестал хомячку, — но только изобразил бы его не в лицемерной позе «принимающий роды верный спутник жизни», а в какой-нибудь другой, более для него характерной

и значимой. Готов первым внести посильные пожертвования. Так проиллюстрировать человеческую природу, так открыть глаза умным, думающим людям — это дорогого стоит. Хомячок постарался не меньше Достоевского или Булгакова (Михаила, того, что писал о прикольном дьяволе, персонаже Хеллоуина). Обязуюсь носить цветы к подножию пьедестала (я о памятнике Хомячку) примерно раз в год.

А теперь о Лоре (приведем в действие механизм отчуждения от хомячка; кстати, время от времени это совершенно необходимо, чтобы ощущать себя человеком).

РАЗДЕЛ V

Лора

О, Лора!

Я думал, эта женщина полюбила меня за мои редчайшие достоинства; оказалось, что ей надо во что бы то ни стало уйти от мужа (хомячок, жму соломинку-лапку, холодную, судя по всему, как у всех грызунов!).

Но это не вся правда. Вся правда заключалась в том, что эта женщина заслуживала любви — ибо если не она, то кто же?

Именно она открыла мне глаза на женскую природу, именно она научила меня любить женщин, а не презирать их за то, что они не мужчины. Женские достоинства существуют только как крупные человеческие недостатки: вот сухой философский остаток нашего роскошного общения. И это не претензия на афоризм, это универсальный ключ со стойкой сусальной позолотой к сердцам существ, относящихся к прекрасной половине неразумных homo sapiens`ов. Женщина научила меня смотреть на себя глазами мужчины, представления не имея о том, как устроено мужское зрение. Так сказать, вручила мне ключ. Просто она не стеснялась быть женщиной.

Итак, однажды я увидел Лору. Сопротивляться ее чарам было бессмысленно и бесперспективно, и уже на девятнадцатой минуте знакомства я толковал ей о кодексе, регулирующем отношения семейных пар, то есть отношения женатого мужчины и замужней женщины, изменяющих своим драгоценным половинам и оттого страдающим и ранимым.

— Кодекс называется «Техника безопасности общения». Два аспекта во главе угла, — вещал я.

— Какие? — склонила головку набок Лора.

— Гигиенический и информационный.

— За технику безопасности у нас в КБ отвечает Фаддеич, — головка задумчиво перевалилась слева направо.

— Вы меня не изволили понять, мадам, — интимно ворковал я. — Гигиена как аспект безопасности в отношениях полов…

— Это правда твой брат? — спросила она у Мау, не сводя с меня малахитовых глаз.

Та закивала головой, излучая глазищами серого жемчуга гордость за брата.

— Вы — чистый мальчик, если я правильно поняла. И вам вовсе не идет маска циника. За гигиену с моей стороны можете не беспокоиться. Но я рада, что вы так разборчивы. Это и меня успокаивает. Информационный аспект безопасности, если я правильно понимаю, — это сплетни, которые недоброжелатели могут довести до ушей вашей жены, не так ли?

— Да, злые языки. Представляете, мы с вами всего лишь спим, а они болтают Бог знает что…

— Хороший мальчик, хороший. Ну, что ж, прощайте, милый кавалер. Приятно было поболтать.

— То есть, как это «прощайте»… А когда же свидание?

— Свидание надо заслужить. Поухаживайте за мной, покажите, на что вы способны, а там посмотрим. Плените меня. Заставьте меня поволноваться. Но не торопитесь, а то успеете.

— Разве я не поухаживал? Мне показалось, я был неотразим.

— Бездарную лекцию зрелой женщине о гигиене вы считаете ухаживанием? Ваше счастье, что я разбираюсь в людях, а не то отшила бы раз и навсегда. Так и быть: дам вам еще пару шансов. Или нет… Давайте поступим иначе. Я вам даю единственный шанс. Сейчас или никогда. Сию секунду. Тащите меня в постель. В вашем распоряжении сорок минут, весь обеденный перерыв. Я готова.

— Как это тащите? Это было бы наглостью с моей стороны.

— Ну, вы же требуете свидания? Вот я и не устояла. Вы такой обаятельный. Целых два аспекта безопасности — и я вся твоя. Ты своего добился, красавчик.

Мау смотрела на нас во все глаза. Она любовалась нами обоими.

Я подошел к Лоре и почтительно поцеловал ей руку.

— Готов извиниться, если чем-то невольно обидел. Это не входило в мои планы. Признаюсь: после вашей тактичнейшей выволочки я бы начал с другого аспекта безопасности.

— С какого?

— С любви. В вас можно влюбиться. А это небезопасно.

— С любви… Вадим, женщина всегда слышит то, что ей говорят. Надо быть осторожней со словами. Это для мужчины слова всего лишь слова, а для женщины за ними стоит отношение. Ты меня обидел тем, что не очень готов отвечать за слова. Если влюбился в меня за три минуты — тащи в постель, а потом в ЗАГС; если нет — зачем говорить об информационном аспекте и тут же извиняться? Я тебе готова простить божественное легкомыслие; но мне трудно простить дешевый треп. Я от него просто устала.

Во мне взыграли ложная гордость и ложно понятое чувство собственного достоинства — результат тончайшего женского манипулирования.

— Сара, одолжи мне ключи от гардероба. Лора, дай мне твою руку: я тащу тебя в постель.

Мы заперлись в какой-то тесной каморке, где был только пышный скрипучий диван, покрытый кожзаменителем, и пробыли там до конца рабочего дня. («А мачта гнется и скрыпит», — крутилось у меня в голове.)

Когда мы на предательски подгибающихся ногах выбрались из каморки, держась за руки, нам казалось, что мы влюблены друг в друга до безумия. Весь дружный коллектив КБ под предлогом окончания рабочего дня сбежался смотреть на нас, как на преступников, дни которых сочтены. Бледная синева под глазами, осунувшиеся лица, сухой блеск в глазах…

На фоне предполагаемой гильотины мученики выглядели впечатляюще.

Собственно, из техники безопасности общения были исключены только два пункта, а именно: гигиенический и информационный. Ах, да, я забыл про любовь. Три пункта.

Сказать «мы стали встречаться» — ничего не сказать; точнее было бы выразиться так: мы стали изредка наведывать собственные семьи. Долго так продолжаться не могло. Мы необдуманно поставили себя перед выбором,

будучи к нему совершенно неготовыми: создавать новую семью и, соответственно, разваливать прежние — или забыть о новой семье и вернуться к своим очагам. Мы ведь плохо знали друг друга. Так считал я.

Однако Лора считала по-другому. Ее очень устраивало такое развитие событий, когда у меня совершенно не было времени на раздумья и принятие решения. Сама она для себя давно все решила — задолго до встречи со мной. Я для нее был, что называется, «послан судьбой», а она для меня — способом разобраться в себе (как я понял некоторое время спустя). Начинать знакомство с постели — лишать себя половины удовольствий: это был первый урок, который я вынес из общения с Лорой. О втором я, кажется, сказал тогда, когда читатель был к этому не готов. Что ж, опять поторопился. Придется повторить: я встретил Ивонну — и запутался окончательно.

При этом я понял одно: женитьба и новая семья не могут быть способом разрешения моих проблем. Это вообще не способ разрешения проблем, а грамотный способ уклониться от их решения. Вот почему в наших отношениях складывался парадоксальный тупичок: Лора жить без меня не могла — именно этим и охлаждала мои чувства. Ее честность заслуживала всяческого уважения, и при этом счастливым образом была выгодна ей (ничей язык, кроме моего, не повернулся бы упрекнуть ее в низком расчете). Что касается моей честности…

Моя честность была такого свойства, что ее лучше было не афишировать, не выставлять на всеобщее обозрение. В моих же интересах было не торопиться с анализом собственного поведения.

Если бы я вел себя как женщина, у нас все было бы в порядке. Но я вел себя иначе, а именно: как мужчина.

Меня радовало одно: я становился автором честной и не поверхностной философии одиночества. Чем больше я понимал Лору и отдалялся от нее, тем больше я ею восхищался. Женщине, как и природе в целом, нет смысла врать; врет всегда умный (но еще недостаточно мудрый) мужчина. Богато одаренная женщина — это шанс мужчине осознать себя мужчиной. Если это происходит, если мужчина становится мужчиной, женщина готова его обожать и ненавидеть; если он не становится мужчиной в такой степени, как она — женщиной, если он не соответствует ее уровню самореализации, она начинает его презирать и позволяет ему любить себя, продолжая заниматься поисками «настоящего мужчины», который рано или поздно покинет ее.

Мы стремимся к тому, что нас будет отталкивать. Стремимся к отчуждению.

Повторю (да, черт возьми, сознательно повторю, для себя и для вас, ибо подобные вещи невозможно усвоить с первого раза): я любил Лору, восхищался женщиной моей мечты — и мечтал удачно выдать ее замуж — за человека, которого она будет с удовольствием и полным на то основанием не уважать. Она готова была убить меня — за то, что уважала. О, Лора…

В постели она отдавалась мне с каким-то честным отчаянием, и все у нас было как в первый и одновременно как в последний раз. Мы оба знали: такого не будет ни у нее, ни у меня.

Стремиться к отчуждению…

Не торопись, а то успеешь.

Мне надо было научиться жить с этим.

РАЗДЕЛ VI

Мама

Когда мой бедный папа окончательно понял, что он выздоравливает, что болезнь его — цепкий cancer — отступила, он почувствовал прилив сил и какое-то вдохновение. Однажды он позвонил мне.

— Нам надо поговорить серьезно и откровенно, — сказал он голосом, в котором не было и следа немощи.

— Мои уши на гвозде внимания, — изрек я, подражая в немногословии и невозмутимости индейским вождям, привыкшим к изнурительным переговорам с наивными бледнолицыми.

— Я хочу лишить тебя одной иллюзии и завещать тебе великий принцип, — сказал он в стиле тех же вождей.

Я молча склонил голову. Еще ни один достойный сын не выказывал такого почтения недостойному отцу.

— Жениться надо только затем, — проронил папа, не повышая голоса, — чтобы потом с чистой совестью сказать сыну: какие же сучки эти бабы.

Я поднял глаза и встретил твердый, осмысленный взгляд.

— Для меня любовь превратилась в способ отчуждения от жизни. А ты говоришь — «бабочки»…

Я никогда не произносил при нем «бабочки» с такой великолепной презрительной интонацией. Это была именно та интонация, о которой я грезил.

— Ты решил, что я злодей, так? Взял и прикончил твою невинную мамочку, так, сын?

— Ты сам рассказал мне об этом, Соломон Кузьмич.

— Рассказал, Вадим Соломонович. Для твоего же блага. Я хотел, чтобы ты жил хотя бы с одним светлым воспоминанием, с одним мифом, оставленным в наследство, — со святым образом мамы.

— А теперь, если я правильно понимаю, к чему ты клонишь, ты решил, что мне и этого многовато.

— Нет. Я решил, что правда — превыше всего.

— Разве то, что ты рассказал мне о маме, неправда?

— Я по слабости своей и из-за любви к тебе изложил только часть правды. Мне хотелось убить ее за те слова. Но я ее не убивал.

— А цветы у подножия камня?

— Там похоронена моя любовь.

— Как трогательно. Где же моя мама?

— Она сбежала с тем хлыщом, которого называла твоим отцом.

— Выходит, Сара все же мне сестра?

— Нет. Маша была беременна, когда пришла ко мне. Ее выгнали из дома, а босяк, от которого она зачала Сару, бросил ее. Потом он уехал во Францию.

— Почему же ты раньше об этом молчал?

Отец пожал плечами и опустил глаза.

— Зачем ты мне все это говоришь сейчас?

— Для твоего же блага. Хочу как лучше.

— А я бы хотел увидеть свою мать.

— Вот ее адрес, — он протянул мне клочок бумаги, где каллиграфически были выведены заморские координаты. На английском языке. — Она интересовалась твоим здоровьем.

— Давно?

— Давно.

Похоже было, что в один прекрасный вечер (если не считать проливного дождя и раздирающих небо сухих молний, вызывающих кашель-гром) я обретал живых мать и отца. Жил-был себе горьким сиротой-сиротинушкой — и вдруг «однажды» обрел родителей. Кроме того, у меня появились все права ухаживать за пышнотелой Сарой. Судя по всему, мне несказанно везло. Если бы не горький осадок, из-за которого было не разобрать вкуса счастья, можно сказать, что жизнь у меня налаживалась.

Знать бы мне, что именно так, медовыми каплями, накапливается горький кубок отчуждения.

РАЗДЕЛ VII

Возвращение на круги своя. Круг первый: до боли знакомые грабли

Мне трудно было отказаться от выстраданного образа матери. Но после общения с отцом на дно души камнем упало нехорошее слово. Бульк. И затаилось, затянутое многолетним илом.

К сожалению, у меня появился повод вспомнить об этом слове-впечатлении со злорадным удовольствием — много лет спустя, когда я сам был уже не только строгим сыном, но и нестрогим, безалаберным отцом.

Я был счастлив в ту пору своего великодушного отцовства.

Несколько смущало то обстоятельство, что я слишком часто возвращался к этой мысли, фиксируя ощущения, которые позволяли мне решительно противоречить какому-то ироническому зародышу, обитавшему в чуланчике на самой окраине моей безбрежной души: «Да, да, я счастлив». Пауза. «Разве нет?»

Зародыш молчал, и даже, мнилось, уменьшался в размерах. Но он существовал — и это предательское наличие неизвестно чего где-то там я ощущал как ложку дегтя в бочке меда. Просто физически ощущал вкусовыми рецепторами: роскошный горьковатый букет меда опреснялся какой-то вязкой пластилиновой примесью.

А ведь вопреки ухмылкам гадкого зародыша все складывалось как нельзя лучше. Мне было тридцать три года, я был счастливо женат на женщине красивой и покладистой, родившей мне замечательного сына Федора. Я занимался любимым делом, теорией искусства (теория искусства — это отчуждение от искусства), и нелюбимыми подработками — от этого никуда не денешься; меня уважали и ценили. Что еще?

Я был здоров, неглуп и, кажется, обаятелен. Чего ж вам больше? Недавно познакомился с Лорой, и у нас вспыхнул красивый роман.

Я не был чемпионом, но не был и аутсайдером. У меня не было оснований жаловаться на судьбу.

Кое-что мне в моей жизни не нравилось, разумеется, как же без этого. Например, мне не нравилось имя моей жены: Леда. Леда Артемовна. Оно казалось мне искусственным и созданным не для нее. Нелепым. Претенциозным. Поэтому я его очеловечивал как мог. Чаще всего называл ее Люсей. Моей тещеньке чуть бы побольше вкуса. Ей, видите ли, не нравилось имя моего сына. Федор, сын Леды. Конечно, в этом есть что-то комическое. А кто виноват? Надо было подобрать для единственной дочери достойное имя.

Мне не нравилось обращение Леды ко мне: муженька. «Что хочет мой муженька на обед?» Какая-то семейная нечуткость к слову, отсюда —

фальшивые интонации, имена, жесты. Готовила же она замечательно. Без фальши.

Мне не нравились стильные усики шефа, Питера Виленовича Шемаханова, решившего, что он эстет, поскольку занимается эстетикой. Узенькие, тонкие, подбритые стрелочки над полноватыми то ли глупо, то ли капризно выпученными губами. Черненькие, возможно, в жирном бриолине, словно вытканные шелком по серому полотну. В них было что-то несомненно тараканье, вызывающее брезгливую фобию. Это было тем более странно, ибо шеф был человеком скорее приличным. Своими повадками он напоминал вальяжного лебедя, глупого и безобидного.

Но то, что мне не нравилось, было пустяками. Из разряда мелочи жизни.

Гром грянул тогда, когда моя Леда ушла к вдовцу Шемаханову, к этим претенциозным напомаженным усикам. Ушла по совершенно смехотворной причине: он открыл ей глаза на мой роман с Лорой (которому, между нами, завидовал; он встретил нас однажды в обстоятельствах недвусмысленно интимных, и с тех пор подмигивал мне, как доктор больному, невольно посвященный в личные проблемы пациента).

Уход Леды практически реабилитировал моего отца в моих глазах.

Несколько лет я общался с другим, вновь обретенным отцом, а потом папу вторично атаковал рак. Он позвонил мне и сказал, что желает поговорить со мной откровенно. Хотя куда уже откровеннее того, что он мне излагал дважды в разных версиях. Разве что он опять решил изменить показания.

Но разговор наш не состоялся. Пока я рассуждал о странностях и даже превратностях любви, папа скончался. Скоропостижно, как говорят в таких случаях. Неожиданно. Мир праху его.

Это было очень не вовремя, и я даже несколько на него обиделся, потому что впервые в жизни потребность поговорить с ним откровенно испытал я.

Вслед за папой не стало и деда (мир и его праху).

Результат их ухода оказался парадоксальным: во мне с энергией вулкана проснулась любовь к жизни. Я бы сказал так: их уход не был напрасным. Как философ я получал большое удовольствие от внутренней логики, которая управляла моей жизнью. Как сын испытывал чувства противоречивые. Как внук был подавлен: любил-то меня, в сущности, один дед, просто и незамысловато. Как муж… Я не был больше мужем. Как отец…

Мне только предстояло стать отцом, хотя родителем я был уже давно. Понятие «отец» было чужим для меня, никак ко мне не прирастало.

РАЗДЕЛ VIII

Круг второй: любовь к жизни

Одно из самых глубоких и неприятных разочарований — разочарование в том, что не в чем, собственно, разочаровываться.

Нельзя сказать, что я разочаровался в любви. Напротив, с годами я любил все нежнее и жаднее.

Проблема была в том, что я мог любить уже двух, а то и трех женщин сразу, одновременно, — искренне любить каждую по-своему. Нежно, трепетно и с большим удовольствием. При этом я легко переключался с одной на другую в течение секунд. Любовь, вопреки расхожим представлениям о ней, была для меня источником огромного наслаждения. Я не испытывал мучений,

связанных с любовью. Каждое новое чувство чудесным образом не отменяло старую привязанность, но даже освежало ее. Мне не хотелось бросать одну ради другой. Вовсе нет.

Я, сколько ни прислушивался к себе, не находил фальши в своей философии любви. Напротив, я был именно честен в своем отношении к женщинам и любви.

Постепенно я понял, что подлинным и единственным источником любви к моим женщинам была любовь…

Хотел написать *любовь к себе*; нет, это было бы неточно. Эгоизм плохо совмещается с любовью, искусством дарить себя женщинам.

Была *любовь к жизни*.

Когда я понял это, произошло отчуждение от любви. Где же тут отчуждение, спросите вы, лениво перелистывая страницу?

Отчуждение в том, отвечу я, лениво фиксируя утомленную мысль, что я перестал искать единственную женщину. Единственной и неповторимой оказалась не женщина, как ошибочно считал мой отец (ах, не успел раскрыть ему глаза на это!), а любовь к жизни, оказалась моя жизнь; чем больше женщин было в моей жизни, тем уникальнее была моя жизнь. (Совсем уж истины ради, чтобы не брать грех на душу, отмечу дорогой мне нюанс. В каждой женщине я искал единственную и неповторимую — и находил! А если не находил, у меня не складывался роман.)

Совесть моя была чиста, а ум не находил ничего недостойного или предосудительного в моем поведении. Я никого не убивал и не хотел убить. Я наслаждался своей нормальностью.

Одно из двух: либо я был монстр, либо большими дураками были те, кто считал меня монстром (например, Юпитер Шемаханов); если бы я открыл им хотя бы часть своих секретов, меня бы либо испепелили, либо упекли за решетку дома скорби, не сомневаюсь. Что касается женщин…

Женщины, как ни странно, уважали меня за то, что я был самим собой, был «таким» (то есть честно вел свою родословную от хомячка), потому что в глубине души они признавали, что я был похож на них. И они были «такими», да еще как «такими». Во всех нас комфортно жил русский хомячок, и это была тайна, объединяющая нас. Только женщины и мужчины моего поколения почему-то изо всех сил старались не замечать хомячка в себе (хотя каждый был с ним знаком: такова была моральная мода этого — тоталитарного — времени, времени империи), а новое поколение демократично изо всех сил выставляло его напоказ. Что-то мне подсказывает, что так поступать нельзя — не следует из лучших побуждений путать человека с хомячком.

И этот период сладчайшего отчуждения от любви длился годами. Мгновение растянулось на годы и годы — я испытал нечто похожее на отчуждение от времени. В результате я стал испытывать проблемы с определением собственного возраста. Я был втайне от других до неприличия молод.

Иными словами, произошло отчуждение и от возраста. Именно в этот момент, когда я, сорокалетний, считал, что мне все еще двадцать с хвостиком, позвонил папа и тактично напомнил, что человек смертен. Про мир его праху, я уже, кажется, говорил. Не буду повторяться, чтобы не показаться сентиментальным. К тому же повторения в романе недопустимы. Круги допустимы (на круги своя — в разочаровании всегда присутствует элемент новизны, круг как бы разрывается и превращается в спираль, уходящую то ли в глубь веков, то ли в высь будущего), а повторения — ни в коем случае, ибо это способ отчуждения от художественности.

Кстати, первая буква имени Соломон всегда напоминала мне с намерением разомкнутый круг.

РАЗДЕЛ IX

Круг третий: Мау

Мау я увидел на похоронах отца. Признаться, я был в неведении относительно того, кого же она считает своим отцом. Кто для нее умер: отец или чужой человек? С одной стороны, узнать, что скончался не ее папа, просто хороший дядя, было бы для нее приятной вестью; а с другой стороны (я всегда мыслил ответственно, то есть диалектически, рассматривая вещи всесторонне), есть ли у нее настоящий папа? Лишать людей иллюзий, не говоря уже о том, чтобы организовывать утрату близких и родных, было для меня давно пройденным этапом. Ситуация была деликатной.

— Привет, Мау, — сказал я, глядя на поразительно свежую, спокойно прекрасную женщину, выделявшуюся в темной толпе своим светлым платьем. — Привет, сестра.

— Здравствуй, Вадим. Как я рада тебя видеть. Думаю о тебе каждый день. Но ты ведь мне не брат. Умер твой отец, а не мой. Разве ты не знаешь об этом?

— Знаю.

— Но ты не хотел говорить мне об этом… Понятно. Оберегал меня. Значит, тоже думал обо мне каждый день. Мне обо всем рассказала мама.

— А мне отец.

— Прими мои соболезнования.

— Спасибо.

— И я… Я тоже принимаю соболезнования. Он меня очень любил, да-да. И я его тоже любила. Это и моя потеря.

Мы обнялись. И я почувствовал, как бьется ее сердце. От нее исходил гармонирующий с ее обликом аромат: пахло незнакомыми мне, волнующими душу духами, в которые я тут же влюбился, отдав должное ее вкусу. Духи были легкими, дразнящими обоняние роскошными оттенками. Чего ж вам больше?

— Ты замужем, Мау?

— Я была замужем. Долгое время жила за границей.

— А сейчас?

— Опять собираюсь замуж.

— За француза?

— Бери выше: за русского. Они сегодня богаче французов.

— За кого же? Я знаю многих русских.

— Как ни странно, ты его действительно знаешь. За того господина, с которым ты меня познакомил когда-то. Он до сих пор от меня без ума.

— Печень? Ты будешь мадам Печень? Мау, с ума сойти!

— Никогда. У меня неразменная фамилия Локоток, фамилия первого мужа матери.

— Это и моя фамилия…

— А как поживает Лора? — Мау оставила мои тихие слова без внимания.

— Она тоже по второму кругу замужем.

— Не за тобой ли?

— Мау, посмотри на меня: похож я на мужа вообще и на мужа очаровательной Лоры в частности?

— Ты очень даже годишься в мужья. Не надо из-за ложной гордости преуменьшать свои достоинства. Я всегда жалела, что ты мой брат.

Я просто обомлел.

— Значит, у тебя с Лорой не сложилось…

— Не срослось.

— Это редкая женщина, я многому у нее научилась.

— За Лору тебе отдельное спасибо. Она оказалась хорошим человеком.

— Ты знаешь, кто такой хороший человек?

— Знаю. Но об этом как-нибудь потом.

Я действительно вывел формулу хорошего человека: это тот, кто признает «принцип русского хомячка», однако из чувства достоинства старается всеми силами опровергать этот принцип (посмеиваясь при этом над собой); к тому же он всегда говорит: мне, пожалуйста, «один кофе» и «одну булочку», понимая, что от него ждут «одно кофе» или, на худой конец, — «один булочка». Хороший человек — это плохой способ добиваться в жизни успеха.

Решив одну, я нажил себе другую проблему: я не знал, может ли хороший человек быть хорошим мужем? Или, по крайней мере, хорошим отцом?

Сентябрьское солнце ярким раскаленным уголечком, словно выскользнувшим из натруженных ладоней Всевышнего, мягко оседало в пепельно-серую муть. Папа ушел в мир иной. Однако в душе моей зарождалось и восходило новое маленькое светило: я чувствовал, что за мной, справа, на полшага позади меня, с той стороны, где заходило солнце, тихо следовала женщина, одно присутствие которой как-то меняло мою жизнь. Стоило мне повернуть голову — и я ловил внимательный взгляд серых глаз. Это мешало мне сосредоточиться на горе.

На похоронах отца я познакомился со своей тетей Жанной (той, которая чуть не стала Екатериной Великой); я не видел ее никогда прежде.

— Бедный мальчик, — сказала она, едва взглянув на меня, своего племянника. — Тебе достался непутевый отец.

Я решил, что не увижу тетю Жанну до ближайших семейных похорон. Я был бы вовсе не против, чтобы собрались мало знакомые друг с другом люди, то бишь близкий родственный круг, по поводу ее собственной кончины.

Как ни странно, в кругу родственников встретил я и Леду.

— Это же все-таки был дедушка нашего сына, — сказала она в ответ на мой удивленный взгляд. Вежливость и ритуальность всегда были ее сильными сторонами. По этой части ее было невозможно в чем-либо упрекнуть.

— Ну, как ты? — вежливо поинтересовалась она в ответ на мое молчание.

Я пожал плечами. Что можно было ответить на такой глобальный вопрос?

— А как Федор? — полюбопытствовал я, вспомнив о том, что связывало меня с этой женщиной.

— Он дружит с девочкой, — сказала Леда.

Я воспринял это как упрек в мой адрес. И решил не оставаться в долгу.

— Привет Шемаханову, — спрятал я жальце в фантик вежливости. — Кстати, скажи своему лебедю, чтобы сбрил злодейские усики. Доброты добавляет борода: это последние изыскания психологов. Запомни: борода, а не пробритая жиденькая бороденка. Проследи за этим.

Воспитанная моей бывшей тещей Леда вежливо, но в то же время осуждающе, промолчала: ситуация, по ее мнению, не располагала к обмену любезностями.

Куда приличнее было демонстративное отчуждение.

РАЗДЕЛ X

Сбился с круга, или Третье причастие

После встречи с Мау со мной что-то произошло. Настало время третьего причастия.

Однажды я увидел девушку, свернувшую за угол, — и мне показалось, что она смутно напомнила мне образ той, которую я искал всю жизнь. Мне даже показалось, что я узнал ее. Я поймал себя на желании броситься за ней.

Выходит, я все же искал одну-единственную и неповторимую?..

Ну, что я должен ответить себе, надоевшему мне до умопомрачения?

«Не знаю я, не знаю. Понял? Пошел к черту», — ответил я самому себе как чужому. Как Соло — Мону.

Чужой во мне поднял воротник макинтоша и, зябко поеживаясь, ушел в себя. А мне стало не по себе. Мог бы обидеться как-нибудь по-человечески, плюнуть мне в душу, что ли, пнуть ногой в самое больное место: чужой-то ведь не чужой, он знает все мои слабые и уязвимые места. Гадина какая-то в макинтоше, и больше ничего.

Молчит.

Ну и черт с тобой.

«Подожди-ка секундочку», — произнес вдруг чужой, не показывая лица из-за макинтоша. «Что же это ты молчишь: если ты искал одну-единственную, то ты ее не нашел. Верно? Ты потерпел поражение. А если не искал, то, судя по всему, зря потратил время. Угадываешь очертания разбитого корыта?»

«Лучше бы ты молчал».

«Так я и молчал, в твоих же интересах. И не надо меня доставать, а то еще скажу что-нибудь этакое… Спать перестанешь».

«Ты мне угрожаешь?»

«Дай подумать… Пожалуй, угрожаю. Но в твоих же интересах».

«А почему ты кутаешься в макинтош? Что за мода такая? Шпионишь?»

«Как тебе сказать… Не даю себя опознать. В твоих же интересах».

«Так ты, я посмотрю, просто мой лучший друг».

«Пожалуй, точнее было бы сказать — честный, порядочный и принципиальный враг. С таким дружить — одно удовольствие».

«Ага. Ну, здорово, приятель. Извини, что черта тебе влепил».

«Бывает. Я уже привык».

«Разговор, я надеюсь, конфиденциальный, так сказать, с глазу на глаз?»

«О чем речь. Могила. Ты, это, на Мау обрати внимание…»

«К чему ты клонишь, приятель?»

«Обрати, обрати. Не пожалеешь».

«Ну, если ты так настаиваешь…»

«Я не настаиваю; я советую».

«Да я и сам того же мнения».

«Я знаю. Потому и советую. Только ставки в этой игре весьма серьезны…»

«Вот здесь ты можешь замолчать? В моих же интересах?»

Макинтош сник и скукожился, словно из него вынули душу.

В тот же вечер я позвонил Мау и сказал:

— Сара, как ты посмотришь на то, что некто Соломон пригласит тебя на свидание?

— В Гефсиманский сад?

— Пожалуй. Подальше от людских глаз.

— Я буду с нетерпением ждать свидания.

«Неужели отчуждение закончено?» — думал я, забыв, что первое, чем пренебрегают счастливые люди, — это диалектика.

РАЗДЕЛ XI

Круг четвертый: ищите женщину

Губы ее оказались мягкими и чуткими. Слабый запах духов окончательно заморочил мне голову, и я потерял ориентацию в пространстве и времени.

Но идти в мою квартиру Мау отказалась наотрез. Остановилась, будто перед непреодолимым препятствием, — и ни в какую.

— Не пойду.

— Сара, почему?

— Не пойду. Не могу. Не спрашивай.

И она не врала, не кокетничала — вот что было особенно худо. Универсальный, сотни раз проверенный и объяснявший мне все на свете принцип русского хомячка здесь волшебно не срабатывал, в этом случае было что-то другое, и я, совершенно сбитый с толку, целомудренно проводил ее домой, удивляясь собственному смирению.

Уже около ее подъезда меня осенило: она не хочет быть очередной моей женщиной, не хочет, чтобы у нас с ней было как у всех. Ей важно почувствовать, что для меня именно на ней свет сходится клином. А ведь это эгоизм, мадам. Я все же разглядел торчащие ушки небольшого, на первый взгляд, хомячка, и мне стало легче.

Терпеть не могу людей, в особенности женщин, которые жертвуют своим удовольствием, опасаясь «мук совести». Эта условная добродетель доводит меня до холодного бешенства, и я дотошно вывожу мелких людей на чистую воду, то есть редуцирую количество мотивировок до джентльменского набора «хомячка», до одной-единственной первопричины, чем и ограничиваю роскошь человеческого общения с «маленькими людьми». Мау не врала мне, и я зауважал ее за простой и честный инстинкт. Ее нежелание называть причину интереса ко мне (отказ сразу лечь со мной в постель — это показатель явного интереса) даже самой себе говорило о том, что она относится ко мне серьезно, бережно; иными словами, она думает не только о себе, но и обо мне, как ни странно. Мне это польстило. (Ау, Хомячок, как дела, приятель? Береги себя.)

Хомячок давно перессорил меня с женщинами или, если угодно, способствовал моему отчуждению от женщин. Сближаешься с ними тогда, когда общаешься с одной из них, — и потому неизбежно идеализируешь Ее (это происходит в безмятежной юности; кстати, почему юность называют мятежной? она мятежна по пустякам; по существу же она именно безмятежна). Тогда твоя женщина кажется неповторимой и уникальной — ни на кого не похожей, заслоняющей целый мир. Женщины — это и есть Она. Ежели умному мужчине дано познать много женщин (а если он умный — то дано), в каждой из них он начинает видеть их общие, родовые черты, перестает различать оттенки, они все, словно китаянки, становятся на одно лицо; и в один прекрасный момент несчастный мужчина ловит себя на том, что побаивается этого племени. Каторга умного мужчины — универсальным нивелировать уникальное — не проходит бесследно. Не многим дано сохранить свежесть чувств и по-прежнему трепетать от уникального: духи, форма груди, нежность

губ — да все уникально, все. Даже лицо. Любовь умного — это испанский сапожок Соломона. Это и стало моим третьим причастием: ум не помешал мне полюбить Мау.

Кстати, по поводу уникального. Умный мужчина с удовольствием индивидуализирует свою женщину, искусно вуалируя общее, отодвигая на второй план родовые черты. Не переставая быть женщиной вообще, она становится твоей женщиной. Этот простой, на первый взгляд, фокус требует великого умения.

Почему же с течением времени начинаешь побаиваться женщин, если понимаешь их лучше, нежели они сами понимают себя?

Ответ, конечно же, знает Хомячок. Женщины, как ни странно, гораздо больше, нежели мужчины, регулируют свое поведение интеллектом (не умом, спешу заметить). И при этом склонны к истерике — то есть к такому поведению, когда эмоции бьют через край. Кажется, что они себя уже не контролируют, их уже хочется пожалеть.

Но сначала следует пожалеть себя. Иррационально добиваться рационально поставленных целей — это же натуральный Хеллоуин, только у идиота подобная стратегия может вызвать уважение. Нельзя ведь уважать того, кто тебя же и пожирает. Тут уместно какое-то иное чувство. Умный начинает тревожно трепетать. Ледяной интеллект как основа глупого поведения — вот то, что отчуждает от женщин. Ты все время в лапах хищниц; к ним тянет, конечно (куда ж без этого, верно, Хомячок?), за ними хочется ухаживать, но что-то подсказывает, что ты им более необходим, чем они тебе (хотя они ведут себя так, будто все наоборот).

Я боялся, что Мау все испортит, окажется заурядной хищницей, но она оказалась на высоте. Она не скрывала свой интеллект, не делала вид, что его не существует, но при этом не кичилась им, а ждала от меня, носителя разумного начала, какой-то высшей мудрости. За жалкий интеллект, расчет и прагматизм ее хотелось растерзать, конечно; но она не скрывала своей общеженской сущности, и чувство, которое влекло к ней, сладко раздирало меня на части: я с удовольствием прощал ей то, что она женщина, укоряя себя за то, что я мужчина.

Боюсь, каким-то верхним чутьем она усекала природу моих терзаний и ласково удерживала меня на тропинке, ведущей к Голгофе, легонько при этом подталкивая вперед холеным пальчиком, который иногда (и все чаще) казался мне дулом изящного дамского браунинга. Формально выбор всегда оставался за мной (о, эта тонкая стратегия великодушных рабовладельцев!), за что иной раз мне хотелось ее убить.

И любил я ее именно за это все больше и больше.

— Я не позволю тебе выйти замуж за Вадима-Сатану, — решительно говорил я в минуты слабости, раздавленный любовью. — Я люблю тебя.

Она перебирала мои волосы и молчала. Из ее молчания красноречиво следовало: во-первых, если и выходить второй раз замуж, то за того Вадима, у которого денег гораздо больше, чем ума; во всяком случае, ум или деньги мужа — большая проблема, с точки зрения порядочной женщины (не понимающей, кстати, зачем дан ум, ежели он не приносит денег; как можно умудриться сотворить такой выбор: ум или деньги? — на это только глупые мужчины способны); во-вторых, что ты мне можешь дать — скажем прямо, гарантировать? А?

Именно в этот момент она произносила тихо и убедительно, развеивая все мои сомнения и навевая на душу жуткий мрак:

— Я тебя тоже люблю.

Ну, как не убить после этого бедную женщину, которую любишь?

Разве по-своему она была не права? Права, в том-то все и дело. Если бы она так не считала, если бы она не молчала в «этом смысле», я бы первый ее перестал уважать (а Хомячок бы первый меня поддержал); я злился на нее по другой причине — по той причине, что она, как и всякая женщина, видела выбор там, где его не было для меня, умного мужчины. Разве деньги можно предпочесть уму, а, Соломон (здесь я уже обращаюсь не к Хомячку, заметьте, а к моему умному предку)? Почему я должен всем доказывать, что ум тоже чего-то стоит? А? Бьюсь об заклад своим романом, что Суламифь не была первой женщиной, так раздражающей умного мужчину. Это началось еще до того, как Господь сотворил Еву. Разве нет, Соло?

Мау, тонкая натура, оценивала меня вот по какой позиции: сумею ли я так разукрасить райскими впечатлениями ее жизнь, чтобы это стоило больших денег? Смогу ли я сделать так, чтобы без денег было интереснее, чем с деньгами? Ведь во мне и только во мне есть то, что ни за какие деньги не купишь. А вдруг смогу?..

Тогда игра стоила свеч, а ум — денег.

И по-другому она «думать» не могла: иначе она перестала бы быть женщиной. И я злился на весь свет, понимая, что злиться не на кого: она права потому, что она женщина; злился на себя — из-за того, что был по-мужски прав, что не мог отказаться от Мау; злился на Мау — за то, что она не могла хоть немножко вникнуть в проблемы мужчины. Все это было забавно и смешно — и злило меня еще больше. И совсем уже добивало меня то, что она необидно смеялась, видя, как я злюсь по какой-то странной причине. Я и сам себе порой напоминал молодого пса, утомленного и раздраженного погоней за собственным хвостом — реально виляющим фантомом в дюйме от чуткого носа. В этом и проявлялось мое высшее достоинство: я понимал, что в этой ситуации стоит улыбнуться. Никто ни в чем не виноват. Так устроен свет, старина. Кому об этом знать как не тебе, тоже Соло?

И, улыбаясь, я любил Мау и не мог отказаться от нее: это было бы отчуждением от жизни. С точки зрения философа — глупость величайшая, к тому же унизительная.

Простая женщина задала мне, Соломону, загадку, над которой я бился теми днями и ночами, когда она оставляла меня и уходила к Вадиму-Сатане, своему жениху.

Она поступала умно.

А я?

Если мои муки и были формой отчуждения, то от чего, интересно?

РАЗДЕЛ XII

Круг пятый: Вадим-Сатана

Я знал, что мне надо добиваться ее более активно (она всячески давала понять, что ждет не дождется решительной мужской отмашки), я должен был «потерять голову», но почему-то не спешил делать это; я отчего-то длил свою муку, деля тело и душу моей Мау с другим; я тоже выжидал — но с явным ущербом для своей репутации. Ситуация каким-то неуловимым образом работала не столько против нее (хотя двусмысленности и в ее положении было хоть отбавляй), сколько против меня. Именно я проявлял слабость (нерешитель-

ность), а не она, что становилось очевидно нам обоим. Она жила с двумя — а виноват был я (в случае с Лорой, помнится, было наоборот: она тонко подыграла мне, изображая чувство вины). И Мау, надо отдать ей должное, сполна воспользовалась этим преимуществом — и я вновь аплодировал моей прекрасной подруге, не забывая при этом сверкать очами и скрежетать зубами. Ну, и женщина досталась мне в мои сорок с небольшим! Ад и мед.

Мне стало ясно, что с подобными женщинами я еще дела не имел. Возможно, это был не мой тип женщины, возможно, мне подходило что-нибудь попроще; но чувство по отношению к ней не оставляло мне выбора: я, словно приговоренный, лез в пасть удаву с таким обычным и ласковым именем — Любовь.

Если уж быть честным до конца, меня мучило еще и любопытство, чисто мужское желание заглянуть за пределы положенного, за плотно зашторенный занавес: чем же все это кончится? Мы умрем, это ясно; но что же успеет произойти до смерти? Женская жажда познания иного рода: закончится ли дело свадьбой? — вот предел их любопытства; мужчин же интересует не свадьба, а логика развития отношений.

Решение было простым, и я, как выяснилось, подозревал об этом давно: надо было пойти к Вадиму-Сатане и поговорить с ним. Мау была согласна с таким моим решением («Разумеется, — мурлыкнула она, поощрительно гладя меня по щеке, — Печень не должен подозревать, что я была твоей любовницей»; напоминать мне об этом было излишне, но если это было не заботливое напоминание, а укол, он угодил в нужное место: ныл долго и болезненно). Она, собственно, ничем не рисковала: она готова была остаться с сильнейшим — для улучшения породы. Как любая нормальная самка по велению дикой природы. Это меня, конечно, злило и раздражало: ведь моя культурная порода не значится в природе элитной; но Мау и в этот раз была права.

А вот разговор с Вадимом-Печенью оказался вовсе не таким простым, как это представлялось мне.

Он встретил меня, поигрывая той самой маской Сатаны.

— Стаканчик виски? Насколько помнится, вы неравнодушны к спиртному, мой друг. А это один из признаков вырождения породы.

— Обращайтесь ко мне просто — сэр, без лишних церемоний, — галантно оборвал я своего визави. «Я равнодушен даже к глупости», — хотел было добавить язык мой, враг мой, но вовремя был придержан, ибо друг мой, которого я когда-то представил своей сестре Саре, действительно сделал глупость: дал понять, что будет разговаривать со мной с позиции силы. Вроде бы, с открытым забралом, «иду на вы»; но это давало преимущества мне: демонстрируя силу, он обнаруживал свой страх. Я почувствовал, что общение с такой женщиной, как Мау, привело меня в блестящую психологическую форму. Тонкость, оттенки и нюансы становились моим оружием. Если, конечно, не предстояло боев без правил, то бишь безобразной драки: тут уже все средства хороши.

— Виски, благодарю вас, — процедил я тоном природного лорда.

Он небрежно, словно конюху, плеснул в хрустальный стакан со льдом больше, чем мог позволить себе выпить джентльмен: такое невинное желание унизить меня привело к тому, что он унизил самого себя, причем, самым мелочным образом. Принимая увесистый стакан (чем не холодное оружие?), я дал это понять смутной полуулыбкой.

Противники обменялись уколами, как сказали бы в протоколе светской хроники. Я углубился в дегустацию выдержанного виски, этого благородного самогона, — то есть продолжал наносить уколы, вынуждая своим молчанием приступать противника к действиям. Хозяин дома отнюдь не являлся хозяином положения.

— Ну-с, зачем пожаловали?

Я ехидной улыбкой оценил и это беспомощное «ну-с» вкупе с придворно-сказочным «пожаловали». Мы явно скатывались в дебри хорошего тона: это не сулило ничего хорошего.

— Я пожаловал, собственно, из вежливости.

— Вот как?

— Именно так. А еще из уважения к себе и, следовательно, к вам как моему недоброжелателю. Спешу расставить акценты: я не собираюсь уводить у вас невесту; я собираюсь жениться на свободной женщине Саре Локоток.

— И кто вам отдаст свободную женщину? Я, что ли, ее жених?

Напрашивалась пижонская фраза «А кто, собственно, у вас собирается спрашивать?», однако я решил обострить отношения как джентльмен, а не как конюх.

— Я же не интересовался вашим мнением, когда уводил у вас жену; я и сегодня обойдусь без вашего согласия. Я просто ставлю вас в известность: Сара будет моей женой.

— Так. Присаживайтесь. Разговор, я полагаю, будет не коротким.

Чувствовалось, что он пришел в себя. Умение держать удар и хладнокровно ориентироваться в непростых жизненных ситуациях обещали нескучный вечерок.

— С чего вы взяли, что женитесь на Саре вы, а не я, например?

— Женщинам, тонким женщинам, нравится жить с такими мужчинами, как я, а не как вы. Полагаю, в этом все дело.

— А чем такие, как вы, отличаетесь от таких, как я? Можно поподробнее?

— Вы циник, а я — умный циник.

— Я еще и богатый циник, заметьте.

— Глупому цинику к лицу богатство. К вашим услугам тысячи женщин, готовых вас обожать. Но только не Сара.

— Ей нужен умный циник, не так ли?

— Ей нужен я.

— Почему?

— Потому что она нужна мне. Боюсь, это предел моей откровенности.

— Да меня не интересует ваша откровенность. Меня интересует, так сказать, юридически-бытовая сторона вопроса: как бы так напугать вас, чтобы спокойно жениться на Саре. Я ведь сделаю это, умный циник. Легко.

— Нисколько не сомневаюсь в том, что вы захотите так сделать. Но у вас ничего не выйдет: я не испугаюсь.

— Побои, хруст костей, инвалидность, смерть? Вас это не пугает? Зачем Саре такой идиот — не понимаю. Не смешите меня. Давайте договариваться по-хорошему.

— По-хорошему — это когда предлагают деньги? Вы мне деньги — я вам Сару. Я вас правильно понял?

— А вам известен другой способ договариваться по-хорошему?

— Вы так уверены, что все на свете покупается и продается, что мне хочется жениться на Саре уже только потому, чтобы доказать вам обратное.

— Сейчас вы сказали глупую вещь, — спокойно отреагировал Печень, наливая себе умеренную порцию виски. — Не все покупается и продается, но все женщины — покупаются и продаются. Только не надо говорить об этом тонким и ранимым женщинам. Вы это знаете не хуже меня. На деньги, которые я вам предложу, вы найдете достойную замену Саре. Соглашайтесь — и мы пьем мировую. Циники всегда найдут компромисс. Собственно, цини-

ки — это единственно надежные партнеры по бизнесу, который называется жизнь.

— А давайте так: пусть выбирает Сара.

— Это годится только для романтической комедии. Выбирают всегда мужчины, умные и богатые. Сильные. А право выбора при этом великодушно предоставляется прелестным женщинам.

— Если позволите, вопрос не по делу: а зачем вам Сара?

— Долго объяснять. Скажем так: она демонстрирует яркую женственность в том варианте, который меня не коробит. Такая женщина достойна моих денег. И я ей ни разу — заметьте: ни разу! — не говорил о любви. Я предложил ей стать моей женой, моей женщиной, моей скво. Она родит мне двух сыновей. И она согласилась. В соответствии с законами природы; а иных законов на этой земле, заметьте, не существует. Вот, пожалуйста.

Он ткнул пальцем в глянцевый журнал, где была перепечатана нашумевшая в узких кругах научно-популярная статья, с которой я был знаком.

— Ученые утверждают, что через каких-нибудь сто тысяч лет люди отчетливо поделятся на два подвида: с одной стороны, богатые и сильные; с другой — нищие и слабые. Элита и генетический мусор. Альфа и омега. Об уме и благородной нищете, обратите внимание, здесь ничего не сказано. Почему? А потому что сильные и богатые — это и есть умные. Женщины, красивые, породистые самки, выбирают будущее. Она не меня выбрала; она выбрала породу людей, подвид, который есть уже сегодня. Мы едим качественную, биологически активную пищу, а не набиваем брюхо бульбой; мы энергичны, мы любим красивых женщин, наш IQ, показатель интеллектуального развития, зашкаливает за ваши средние показатели… Любовь — это язык слабых. Очень хотел бы посмотреть на ваше потомство лет эдак через сто тысяч, амиго, то бишь омега.

Он грубо хохотнул, как тогда, на лавочке, во время нашей первой встречи.

— Это философия хомячка, — сказал я задумчиво. — Чрезвычайно умного, но все же хомячка. Мои аплодисменты.

— Хомячок — это что-то вроде «один булочка», господин философ?

— Что-то вроде. И все же… После вашей сделки Сара встретила меня, и мы говорили о любви, — в мою победную интонацию закралась противная беспомощность.

— Вы были любовниками?

— Нет.

— Вы меня разочаровываете. Если женщина говорит с вами о любви, значит, она сожалеет, что вам недостает денег. Она прощается с вами и тешит себя: женщинам свойственна сентиментальность. Итак: сколько? Только не скромничайте.

Я давно заметил: всегда приятно видеть человека, принявшего твердое решение. Мне катастрофически не хватало тупой твердости, магически действующей на людей. С другой стороны, горе от ума, муки сомнений — вот к чему должны стремиться альфа-люди, если они, конечно, не желают превратиться в свою родную противоположность — омегу.

— Это не я скромен; это вы не изволите замечать моих исключительных достоинств. Зачем вы мне предлагаете деньги, если уверены, что она все равно будет вашей?

— Ради блага ближнего своего. Как и всякий циник, я не чужд благотворительности, приносящей скромные, но стабильные дивиденды. Мои

деньги опять позволят вам стать братом и сестрой, так сказать, обрести утраченное.

Он засмеялся и надел маску Сатаны. Дежавю. На столике стояло два пустых стакана. Я поднялся и, не прощаясь, вышел, полагая, что отчуждение между нами легло вечное и непреодолимое.

Нас разделила не только Мау; мы были разными видами живых существ. И не надо было ждать целых сто тысяч лет. Вот оно, свершилось. Альфа и омега.

РАЗДЕЛ XIII

Падение в пропасть

Небрежные разводы перистых облаков легкими узорами покрывали огромно-синее, утомленное небо. Ржаво-оранжевый уработавшийся диск солнца, словно с небольшим механическим усилием, погружался за кромку леса. Яблони, усыпанные красными плодами, горели, как гроздья рябин.

Но вот солнце исчезло, краски потухли, стало прохладно, почти холодно. Дали были тронуты нежным сизоватым туманом.

Я целый день ждал заката. И это зрелище состоялось — буднично и неповторимо. Я соприкоснулся с вечностью.

Только после этого я набрал телефон Сары.

— Ты где? — спросила она после секундного молчания — и я вновь подивился ее чувству дистанции, чувству пространства и времени, чувству присутствия другого мира рядом со своим: по ее дыханию я понял, что она тонко чувствует мое состояние.

— Я в усадьбе деда, — сказал я.

— Но ведь это же так далеко от Минска! Где это?

— Под Уздой. Забыла? Я думал, расстояние, на которое я удрал от тебя, сделает нас ближе. Приезжай. Нам это место не чужое.

— Не могу. Я тоже «под уздой»: связана клятвенным обещанием. Я выхожу замуж.

— За кого? — глупо спросил я и тут же покраснел.

— Как за кого? За Вадима.

— За которого из двух? За него или за меня? Я ведь тоже Вадим, если мне не изменяет память.

Она засмеялась невеселым смехом, смехом человека, который сбросил с плеч своих груз почти неразрешимых проблем и теперь наслаждается грустной определенностью. Кроме того, чувствовалось, что сейчас ее устраивает моя способность шутить и вообще принимать легкий тон: значит, я тоже пережил эту ситуацию, справился с собой. Я тоже в полном порядке. Что ни говори, всегда приятно осознавать, что ты не стал причиной несчастий другого (молчи, добрейший Хомячок, заткнись, грызун).

А я боялся, что она вот-вот догадается о том, что я должен был скрывать: я не знал, за кого она собирается замуж, хотя предполагалось, что мы должны понимать друг друга; более того, предполагалось, что нормальный человек давно уже должен знать единственно правильный ответ. Я же просто потерял ориентацию.

— За своего суженого.

— За меня, что ли? — у меня отлегло от сердца, хотя тон был на всякий случай легкомысленным.

— Нет, ты у меня любимый, а я выхожу замуж за суженого.

— За Вадима-Сатану, будем откровенны?

— За Вадима Ипполитовича Печеня, уважаемого бизнесмена, «вип»-персону.

Чтобы не дать себе опомниться, я произнес без паузы, входя в роль «того, кому уже все давно было известно», в роль по-хорошему завидующего Пьеро:

— Собираешься родить ему двух мальчиков?

— Нет, одну девочку.

— Разве в брачном контракте не упомянуто двое чудных сорванцов?

— Это он тебе сказал? Планы мужчин интересуют меня постольку, поскольку становятся способом реализации моих планов.

Она была спокойна, уверена в себе, а легкая обида, которой она расчетливо не прятала, делала ее окончательно правой; я же был виноват уж тем, что позволил себе насмешку над святым — над еще не рожденными детьми, светлыми семейными перспективами, а также над тем, что любимому предпочли суженого.

— Суженый — это деньги? — я изо всех сил старался уважать ее выбор.

— Не только, — она была серьезной, и я почувствовал, что она нисколько не хочет обижать меня; напротив, она именно сейчас, сию минуту, пытается понять, что же предопределило ее выбор. — Это уверенность в том, что твой избранник уверен в себе, что он знает, чего хочет. Это уверенность в том, что его будущее связано с моим. А с тобой…

— Тебе было плохо со мной?

— Я испытывала с тобой, — она подбирала слова, — удовольствие от падения в пропасть. Ощущение полета восхитительно, что и говорить, но мне всегда казалось, что резиновые подвязки, «тарзанки», которые держат прыгающих в пропасть, могут нас не выдержать и забава кончится трагически. Слишком много адреналина. А есть еще удовольствие от ощущения твердой почвы под ногами. Стоять на скале рядом с пропастью, не падать вниз — тоже приятно. Я же не только исключительная женщина; я еще и очень обыкновенная.

— Я ценю твою искренность.

Я понял, что она почувствовала главное, но не смогла это выразить, возможно, просто не захотела, не желая уязвить меня определенностью: она ощутила мою неуверенность в том, что женщина для меня — это серьезно, надолго, пусть и не навсегда. Она чутьем своим невероятным «догадалась», что я и сам не решил этот вопрос для себя; даже не так: я отчего-то боялся поставить этот вопрос перед собой. Очевидно, я догадывался, каким может оказаться ответ. Формально она бросила меня (хотя у меня были все основания рассчитывать на ее благосклонность); но мы оба знали, кто заставил сделать ее этот выбор. Вот почему я наслаждался общением с женщиной, которая предпочла мне другого. Она избавила меня от ответственности за любимую женщину, за себя самого, будем откровенны, — и я был ей благодарен, не забывая, однако же, при этом наслаждаться обидой, ревностью и тем, что не спешил снимать с нее чувство вины. Она тоже была в чем-то виновата, иначе не была бы со мной так откровенна.

— Прости, — сказала моя родная Мау.

Я молчал.

— Не знаю, как устроен твой мир, — сказал я неожиданно для самого себя, — а мой мир очень хрупок и неустойчив. Я не очень верю в то, что человек способен справиться со своими демонами, даже с несчастным Хомячком в себе. Да и надо ли с ним справляться? Заткнуть рот Хомячку — это тоже ложь. Вот почему я заранее всем все прощаю — и слегка при этом всех пре-

зираю, начиная с себя. Тебя же я неизвестно почему люблю, Мау. Но я не могу поверить в твою бескорыстную преданность. Извини.

Я всегда был уверен, что полная искренность с женщиной — это путь к разрыву. Мау заплакала, а я обмяк, словно ослабшая осенняя бабочка, обреченно сложившая крылья гордым движением сопротивления. Сара рыдала, но не отключала телефон. Что за удивительная женщина: она не боялась быть слабой, не боялась размазанной туши и припухших глаз.

А это самая могучая из всех известных мне разновидностей силы.

Пришлось мне делать вид, что сила украшает мужчину: трубку положил я, но долго не мог заставить себя разжать руку, вцепившись в пластик мертвой хваткой покойника.

За что я так старался удержаться, а, Хомячок?

Сдается мне, что все эти жесты были всего лишь формой отчуждения.

РАЗДЕЛ XIV

Поле перейти

Очень сомневаюсь, что таким, каким я был, меня сделала империя или даже развал империи.

Напротив, я подозреваю, что империя развалилась именно потому, что люди похожи на меня (или я на людей: здесь можно поспорить) — живут с хомячком в душе. Место хомячку отведено в углу — в почетном красном углу, сразу за иконами. Русский хомячок валит все державы и империи. Сначала помогает их укреплять, а потом валит. И никаких к нему претензий, заметьте. Какие претензии к пушистому крошечному существу, забившемуся в угол, которое не ведает, что творит?

Это маленькое открытие заставило меня иначе посмотреть на большую политику, да и на всю историю человечества. Я стал с осторожностью относиться к выражениям типа «большой русский медведь», «хозяин тайги», «африканский лев», «прыгучий хозяин зеленого континента». За всеми орлами мира, что угрожающе гнездятся на многочисленных гербах, видна, если присмотреться, все та же острая мордочка упрямого хомячка. Лев, если разобраться, — это большой ленивый хомяк, с тугой шкурой и кисточкой на конце хвоста. Тигр, по-моему, то же самое, только без кисточки. А в каждой сумке нелепого кенгуру сидят по два хомяка — таких же, что и в человеке любой расы.

Я стал настолько безразличен к политике, что способен заниматься ею профессионально. Мешает брезгливость и отсутствие энтузиазма.

Короче говоря, жизнь человека — это борьба с хомячком: сознательная или бессознательная. Вариантов исхода этой борьбы тоже два. Проблема в том, что паршивый хомяк непобедим. Одолеешь своего злейшего врага — погибнешь сам; не одолеешь — окажешься побежденным. Вот и вою после этого неизвестно против кого…

Именно это разъяснила мне своим поведением Мау. И я, уязвленный любовью к ней в самое сердце, поспешил благополучно вернуться к Лоре; однако и тут меня поджидал ряд сюрпризов.

О, Лора!..

К этой отдельной теме я вернусь в специально отведенном месте. А сейчас продолжу о главном.

Моя жизнь окончательно превратилась в жизнь-размышление. Моим рискованным девизом стало изречение, соавтором которого по праву можно считать скромного Хомячка: если тебе нечего скрывать от самого себя, следовательно, ты не до конца в себя заглянул; а если тебе есть что скрывать, то этого не скроешь.

Ну и что тут такого? — спросите вы.

Думаю, придет время, когда людей, убивших оппонентов за подобный вопрос, будут оправдывать без суда и следствия. Неужели непонятно, что жизнь-размышление — это дар, который ежесекундно норовит оборотиться каторгой? Непонятно?

Знаю, что непонятно, потому и разъясняю. У всех жизнь как жизнь — проторенная колея (чаще всего — стежка в поле), отсутствие роковых вопросов, плоское небо над головой вместо космической вакуумной бездны, просто женщины и просто мужчины; будущее — это дети, прошлое — родители и прадеды; а у меня жизнь-размышление. Разница в том, что люди дружат с хомячком, собственно, мало чем от него отличаются, а я регулярно (дай только повод) спускаю на своего лучшего дружка собак разума, а потом сердобольно и самоотверженно отхаживаю зверька, перепуганного и покусанного до полусмерти.

Спрашивается, кому в результате плохо? Зверьку?

Ответ прост и непредсказуем: мне.

Спрашивается, почему же я с упорством хомячка вел жизнь-размышление, а не просто жизнь?

Честный ответ, опять же, обескураживал: у меня не было выбора, я был обречен. Просто жизнь казалась мне всего лишь симпатичной формой сумасшествия, карнавальной формой смерти. Как говаривал дед, и рад бы в рай, да грехи не пускают.

Кстати, что касается моего деда…

Я уже год как жил в заброшенной усадьбе, процветавшей когда-то неусыпными радениями Кузьмы Петровича, год как бросил работу, перебиваясь случайными заработками (статьи, переводы, рубрики в газетах — да мало ли чего! И никакого тебе гадкого лебедя Шемаханова). Дед словно специально позаботился о том, чтобы живущим в этом доме, расположенном по улице Основателей коммунизма, не докучали ни соседи, ни друзья, ни просто близкие родственнички. Это был своего рода хутор в деревне (или, если угодно, дом в поле). С одной стороны — с той, что вниз — дом выходил к небольшой речке; с другой — вверх — был отгорожен от дороги кочковатым лугом, переходящим в болотце. Дома соседей справа и слева были видны; но кто там жил и жил ли вообще, было не разобрать.

В доме по правую руку (я это знаю точно) жил некто Сулейман, беженец, кажется, из Таджикистана, — еще одна жертва развала империи под названием Советский Союз. Однажды он зашел ко мне за рецептом засолки грибов и долго изумлялся, узнав, что я ничего в этом не смыслю. Я даже собирать их не люблю.

— Не любишь? — Он целую минуту неодобрительно покачивал головой, при этом круглое лицо его (узкие глаза, пессимистически опавшие усы по углам полуоткрытого рта) — странное азиатское рассогласование! — выражало восхищение в высшей степени. Судя по всему, ему не понравилось, что я, местный житель, равнодушен к местным промыслам.

— Сулейман — это ведь то же, что Соломон, только на мусульманский лад, верно? — спросил я, чтобы сгладить впечатление и наладить контакт уже не с бытовой, а с культурной стороны.

— Нет, — сказал Сулейман и захлопнул рот. — Соломон — это еврейское имя; а я мусульманин. У меня с евреями нет ничего общего.

Теперь настал черед изумляться мне.

— Ты Коран читал? Иса — это Иисус, Муса — Моисей, Шайтан — Сатана, а Сулейман — Соломон. Разве нет?

Сулейман категорически качнул головой и ответил:

— Нет. — Потом подумал и добавил: — А соль у тебя есть?

У меня был пуд соли, оставшейся еще от деда. Но я пожал плечами и честно, на голубом глазу ответил «нет».

Однако Сулейман не торопился уходить. Он стоял посреди комнаты и чего-то ждал.

— Как ты оказался в наших краях? — спросил я, вспомнив о законах гостеприимства.

— Я отца искал.

— Отца? Ну и как, нашел?

— Нет, не нашел.

— Да, чудес не бывает, — сказал я, чтобы немного утешить Сулеймана. О том, что меня зовут Соломон, и что мне бы тоже следовало поискать мать, говорить не хотелось.

— Как это не бывает? — встрепенулся мой сосед, и глаза его заблестели. — Бывает.

— Ты видел хоть одно чудо?

— И видел, и слышал.

— Расскажи мне, если никуда не спешишь, — попросил я. Мне было неловко оттого, что я не дал ему соли.

— В Душанбе был зоопарк, — сказал Сулейман, — в зоопарке был тигра.

— Тигр, — поправил его я.

— Почему тигр? Тигра, — убедительно парировал он, доказывая, что правило «один булочка» еще никто не отменял. — Он всегда рычал. Вот так: алл-р-р-р-ра!

— Да, — сказал я, — страшно.

То, что рассказал Сулейман дальше, действительно в каком-то смысле можно считать происшествием из разряда чудес.

— И однажды, в месяц рамадан, мы услышали, что тигра не рычит.

— Он умер? — поспешил я с самой банальной догадкой.

— Нет, он не умер. Он перестал рычать, он стал говорить.

— Тигр?

— Да. Оказывается, он говорил «Аллах акбар!». Вот что мы услышали. Что это значит, если тигра так говорит? Это значит: Аллах есть везде. Даже тигр это знает.

— Тигра, — поправил его я.

— Разве это не чудо? — строго вопросил Сулейман.

Мне буквально было нечем крыть: я же не слышал эту тигру. Возможно, он и в самом деле рыкал нечто сакральное, оповещая правоверных и неверных о конце света, например, или о начале новой эры. Никому не хочется жить в срединные времена, всем хочется застать удивительное начало или, по крайней мере, стать свидетелем ужасного конца. Так сказать, попасть в историю. Иконы мироточат, тигры рычат во славу Божию. Бывает.

Вдруг Сулейман улыбнулся и сказал:

— А вот оцелот не рычал. Ты оцелота видел?

— Нет.

— Это такая большая кошка.

— Практически, маленький тигр?

— Нет, — покачал головой Сулейман. — Большая кошка. Знаешь, как она мочится?

— Нет.

Я был заинтригован до предела.

— Очень смешно. Поворачивается задом и делает струю под большим напором. На всех посетителей. Как пожарник, клянусь.

Он обнажил белые крепкие зубы и засмеялся здоровым детским смехом.

— Почему же он не рычит?

Очевидно, мой вопрос показался ему обидным или неуместным. Кто-то рычит, а кто-то мочится. Он не снизошел до комментария чудес, творившихся в далеком зоопарке.

Сулейман вышел не прощаясь, неодобрительно покручивая головой. Кто я такой и почему я не верю в чудо, он даже не поинтересовался. Впрочем, такой нелюбопытный сосед меня вполне устраивал.

Кто жил в доме слева, я точно не знаю. Всякое болтают. Не очень хвалят этот дом, рекомендуют обходить стороной. По ночам там до утра горит свет: вот и все, что я знаю об этих соседях.

С моей точки зрения, такое местоположение дома обладало рядом достоинств. Люди, вот они, рукой подать, и в то же время никого рядом нет. Город не очень далеко, но попробуй до него доберись. Ты, вроде бы, среди людей, но более одинокого человека во всей округе не найти. Вот что значит грамотно выбрать место.

О том, что именно сегодня день смерти деда, я вспомнил уже под вечер, когда взглянул на заходящее солнце с высокой яблони, на которую я взобрался, чтобы обрезать сухие ветки (в детстве я всегда помогал деду приводить в порядок сад). Стоящую рядом старую яблоню я с сожалением (все-таки старая знакомая!) спилил, оставив толстый высокий пенек (летом можно приладить гамак между двух стволов и наблюдать за пылающим закатом лежа). Раньше солнце завершало дневную службу где-то там, в середине деревни, а сейчас опускалось за кромку леса прямо напротив моей ветхой калитки. Дни делались все короче и короче. Света становилось меньше, тьма с удовольствием поглощала время и пространство. Когда я думал об этом, мне становилось просто физически плохо. Не люблю, когда у меня забирают солнце и тепло, но почему-то люблю осень. Она и бодрит, и печалит.

Колючая темень спихнула теплый малиновый закат в пасть чудовищу: зубастый силуэт леса только этого и ждал. Ко мне возвратились ощущения детства. Мне нравилось наблюдать за тем, как звезды набирают алмазную силу, подчеркивая черноту вечера. Как только туманный Млечный Путь начинал светиться снежно-нежным мерцанием, я шел в дом и затапливал печь, сложенную дедом.

Вот и сегодня я пошел в сарай, отпер самодельным ключом самодельный замок, изготовленный Кузьмой Петровичем, набрал из поленницы дров, заготовленных еще отцом моего отца, и принес ее к печке.

Скоро загудел огонь. Вопреки обыкновению, я не стал дивиться страстным финтам красного пламени. Мне было неприятно оттого, что я так легко запамятовал день, который положено помнить внукам.

Но дело было даже не в этом. Что после нас остается? Корявые яблони, витиеватые замки и ладно сложенные печи? А, дед? Внуки, которым на все это наплевать? Скоро спалю к псам все твои дрова — и что потом? Суп с котом?

Мне стало неприятно оттого, что я так давно не звонил собственному сыну. Приручил ли я его? Куда подевался мой семейный инстинкт?

Я прислушался к себе: совесть сладко дремала где-то в светлом углу души. В таком случае, какие претензии к моему папаше?

Я попытался вспомнить мои детские слезы (сразу же ощутил в горле их приятную горечь), но они меня не трогали. Потом я вспомнил Лору, Мау, даже Леду.

Да, Лора. Она была сквозным сюжетом моей жизни, поэтому нет ничего удивительного в том, что я так часто вспоминаю ее в своем романе. Правда, на сей раз мне предстоит не самое приятное воспоминание, вот почему о Лоре как-нибудь в другое время. Да, Лора…

Потом мне вспомнился месячной давности эпизод. У меня закончился хлеб с маслом, и я отправился в деревенский магазин. Здесь я увидел свою знакомую дачницу, жившую в середине деревни — там, где летом заходит солнце.

— Хотите, я подвезу вас в город на своем «мерседесе»? Сколько можно сидеть в деревне бирюком? Где ваша жена, куда она смотрит? Я бы ни за что не оставила такого интересного мужчину одного.

Я взглянул в ее ярко-зеленые глаза (весенняя, промытая ливнем трава!), призывно распахнутые, отметил про себя нежную кожу, неторопливую манеру говорить, словно признаваться собеседнику в сокровенном, преодолевая внутреннее сопротивление (прелестный недостаток, индивидуализирующий женщину, словно милое заикание) — такие женщины сводят некоторых мужчин с ума. Она была намерена надолго задержаться в районе своих тридцати с хвостиком: в этом возрасте дама чувствовала себя комфортно и уверенно.

Я уже знал, каким будет мой комплимент, который я мастерски вылепливал на ходу (плохой знак: сногсшибательные комплименты обычно удивляют тебя самого, ибо слетают с языка прежде чем ты их выдумал; технология таких комплиментов — прозрение и откровение, что невозможно отличить от влюбленности; вспыхнувшая любовь — это и есть душа комплимента). Отметив глаза, я прошелся по овалу, дерзко задержался на стройной фигуре и намеренно запутался в возрасте, омолодив женщину до неприличия. Передо мной стояла практически девочка. Уже замужем? Замужем. Двое детей. Двое-е-е?! У меня, кажется, один. А у вас девочки? Девочка и мальчик. Сын похож на маму, а дочь — на папу. («Интересно, на кого же похож мой сын?» — подумал я.)

Дама засмеялась слегка протяжным смехом, чудно сочетавшимся с ее манерой говорить.

Я тут же отметил и прелестный смех, за что вознагражден был взором с поволокой. Я и взор не оставил без внимания, и ленивый поворот головы, и смелый язык застенчивых жестов… Уверен, дама не каждый день слышала о себе такое. Муж, судя по всему, не очень-то баловал ее проявлениями эмоций. Двое детей. Дело сделано. К чему телячьи нежности?

Путь к постели, кажется, был если не открыт, то вымощен цветами. Я всегда испытывал особое удовольствие наставлять рога крутолобым мачо. «Мачики! — мысленно обращался к ним я. — Не зарывайте своих жен живьем. Немного нежности и ласки им не повредит. Поверьте мне на слово: вам же станет лучше. Зачем вы при таких женах бегаете по шлюхам? Это неразумно, наконец».

Однако чем больше я говорил комплиментов, тем более мне становилось не по себе. Женщина мне определенно нравилась, однако я не испытывал к

ней того, на что намекал словами — и на что она так мило повелась. Я вдруг поймал себя на ощущении: за честными словами-комплиментами не стоит чувства. Есть мастерская имитация — но нет живого чувства. Она уйдет — и я через минуту забуду незабываемые зеленые глаза.

Вот это и есть предательство. Не то предательство, что ты сразу любишь несколько женщин, а то, что ты врешь одной из них: твои слова не оплачены чувством, ты ее не любишь. Любить и не сказать об этом — грех; но еще больший грех — говорить о чувстве, не испытывая его. Это предательство любви.

А я не предатель. Врать и имитировать для меня — это большой труд души. Меня можно упрекнуть в легкомыслии и неверности. Ничего подобного. Я верен своим многочисленным любовницам. Я их люблю. Я не вру им — потому что не вру себе.

Закончились мои медитации тем, чем они заканчивались обычно, вечер за вечером. Меня вновь настигло ощущение, куда-то пропадающее ранним утром (я считал день потерянным, если не успевал насладиться живыми красками рассвета: высокое небо, неряшливо размалеванная розовыми разводами лазурь, переходящая в ровное голубое поле, и солнце, хохочущее над своим незамысловатым шедевром), что я инфицирован информационным вирусом неведомой природы. Вот они, симптомы лютой хворобы, свалившейся на меня явно не с неба: тошнота, головокружение, нормальная температура, острая память на детали, которые связывали меня с прошлым, уверенное предсказание в деталях темного будущего, желание плеваться, рычать на всех, часто упоминать мать хомячка и при этом называть себя идиотом.

Я налил холодной водки в граненый «стакан Малиновского» (посуда — тоже наследство деда), выпил, с хрустом надкусил маленькое красное яблочко — и медленно погрузился в сладкое ощущение отчуждения. Особенно приятно я переживал болезненное отчуждение от Мау.

Потом я выпил еще, трезво отдавая себе отчет, что за деда придется пить и третий раз.

Как-то нелогично и, следовательно, неожиданно в мои фантазии вторгся Вадим-Сатана.

Он заблеял с порога неуверенным тенорком в стиле зрелого Достоевского, окончательно замороченного и потому непреклонно уверенного в себе:

— Большое количество мужских гормонов делает нас неспособными к длительной привязанности. Что тут обсуждать? Это императив природы. Почему нам так не нравятся феминистки — женщины, похожие на мужчину, то есть имеющие изрядное количество мужских гормонов по сравнению с нормальными женщинами? Потому что феминистки неспособны любить. Но у мужчины неспособность быть верным одной женщине — это достоинство, а у женщины неверность — это порок.

Врешь, Сатана. Ты что-то путаешь, упрощаешь там, где этого делать не следует, и усложняешь там, где надо гениально упрощать. Ты мужчина с типично женской логикой. Типичный оборотень. Умственно, следовательно, всесторонне развитый порядочный мужчина с большим количеством гормонов, мужчина-личность, ведущий жизнь-размышление, способен к длительной привязанности — и страдает от своих избыточных во всех отношениях способностей. Он на каждом шагу божественно противоречит сам себе — потому что во всем прав. И в хомячка превращаться не хочется, и от гормонов отказываться невозможно — хотя бы потому, что уберешь «лишние» гормоны, и жизнь-размышление превратится в просто жизнь. Вместе с гормонами лишишься разума.

Проклятье умного мужчины — совершенство. Сладкое проклятье, делающее жизнь горькой. Где моя теплая водка?

Вечер, закончившийся где-то под утро, принес мне два сюрприза: во-первых, повалил мокрый снег вперемешку с дождем (прощай, лазурь!), а во-вторых, на меня обрушилось как-то связанное с противным мокрым снегом прозрение: мой побег из города в деревню, от себя, от жизни-размышления — не удался.

Отчуждение от работы, от ценностей цивилизации, от хомяка, от человечества и самой культуры, от себя, наконец, оказалось нежизнеспособно. Я наврал самому себе с три короба и даже не заметил этого.

Ко мне легко пришла мысль о смерти как единственно честном избавлении от кошмара перманентных прозрений. Но это был всего лишь логический ход, всего лишь имитация поисков выхода. Я пугал самого себя, не веря в искренность своего желания уйти навсегда так бездарно. Я же не Сократ какой-нибудь. Говорю же: я не предатель. Извини, несчастная женщина с зелеными глазами; извини, смерть. Честность не только губит, но и спасает — чтобы в следующий раз погубить наверняка.

Ранним пасмурным утром я понял, что мне не просто не хочется умирать — мне до отчаяния хочется жить. Отчуждение парадоксальным образом превратилось в форму привязанности к жизни. Я готов был расцеловать родного Хомячка, если, конечно, он был причастен к подобным метаморфозам.

В этот момент, где-то у черта на куличках, в старом деревенском доме, находившемся в приличном состоянии, при взгляде на серую, невыразительную золу меня осенила идея, которая непонятно из чего родилась. Обсуждать ее не хотелось, потому что она представлялась единственным вариантом спасения.

Я понял, что обречен писать роман: это был культурный способ преодолеть отчуждение. Я просто не оставил себе выбора. Глобальные понятия «жить» и «работать над романом» странным образом дополняли друг друга. Цирк, ей-богу. Дурдом.

Мои детские слезы, вчерашние холодные звезды, украденная сегодня лазурь, родинка Мау, глухое покашливание деда, маска Сатаны, разбитое корыто — все это слилось в симфонию красок, запахов и картин. Все это должно занять свои места в каком-то новом гармоничном мире — через много-много дней творения. Боже мой, если б я только знал, что мне предстоит! Возможно, я бы тут же отказался от замысла и зарылся в золу. Но, увы, момент был упущен: спасительная минута слабости канула в Лету.

Как же непросто давался мне этот легкомысленный роман!

Классная игра — серьезная вещь: это был новый, неведомый мне вариант отчуждения от всего на свете, — того отчуждения, которое удивительным образом сближает с «объектом», от которого так фатально дистанцировался. Может, отчуждение — это всего лишь форма познания? В таком случае сближение — это приспособление человека к тому, что он не способен познавать. Перестань познавать — и никакого тебе отчуждения. Проклятье! На меня словно наложили проклятье или навели порчу. Тысяча чертей им в глотку ответным залпом.

Только вот кому — «им»?

Но вся эта веселая карусель ждала меня в недалеком будущем. Пока же меня грела неясная мысль (потому и грела, что была неясной): мне предстоял непростой путь к себе. Я должен был поле перейти. И что же там, в конце пути? Хорошо, пусть не разбитое корыто, что тогда?

Конец — это ведь не перечеркивание пути, не исправление прошлого; это итог, в котором будущее вырастает из прошлого. «Завтра» — это то, что вылупится из «сегодня» и «вчера».

Но об этом спасительно не хотелось думать. Отчуждение от того, что ты способен понять раньше времени, также было мне в диковинку.

Тем большим было наслаждение от такого отчуждения.

РАЗДЕЛ XV

Я

Ближе к вечеру я собрался позвонить сыну и уже приготовил выстраданную фразу, а именно: «Нам надо поговорить серьезно и откровенно». Я даже знал, каким тоном я это произнесу — простым и даже будничным: именно так решаются все судьбоносные дела.

Правда, я еще не решил, способен ли он в своем возрасте (сколько ему — семнадцать, восемнадцать или девятнадцать?) к подвигу серьезности, усиленному легкомыслием откровенности.

Пока я размышлял, в дверь постучали. Я был почти уверен, что увижу привлекательную женщину с зелеными глазами; легко представилось, как хлынет на меня волна духов, которая должна была меня сокрушить, словно цунами. Что ж, я, к сожалению, был настроен на серьезность и откровенность. Не взыщите, мадам.

— Открыто! — доброжелательно гаркнул я, готовый отказать в близости. Днем я дверь не запирал, но в углу комнатки, служившей мне столовой, стоял топор. На всякий случай. Для незваных гостей.

Дверь отворилась. На пороге стояла Мау.

Все правильно: стоило мне принять верное решение, как с неба исчезли краски, повалил мокрый снег, в душе проснулось чувство вины перед сыном, а на пороге, словно привидение, возникла Мау. Вот оно, хрупкое единство мира, которое надо будет на блюдечке с голубой каемочкой перенести в роман (будь он неладен!), ничего при этом не повредив. Даже бабочке придется найти в нем место.

Мне не надо было изображать радость при виде Мау. Я тут же забыл про топор, про зеленые глаза и бросился к моей «сестре». Правда, осторожности ради поинтересовался, она ли это («?!») и одна ли она (жизнь в деревне, среди простых, открытых людей учит недоверчивости и подозрительности). Получив дважды утвердительный ответ, я совершенно успокоился и уже из вежливости спросил: где же ее муж, господин Печень?

Мау легко отмахнулась от последнего вопроса и в свою очередь спросила:

— Водки хочешь? Я прямо умираю — так хочется выпить. Стопку под соленый огурец — и делай со мной что хочешь.

Ах, Мау, не стоило меня так волновать. Через час я, опьяненный ее духами более, нежели она — водкой, проделывал с ней такое, что Вадим-Сатана, уверен, и на том свете перевернется раз семьсот.

Я взглянул на себя в зеркало, и увидел в нем счастливого человека. Вы хотите знать, как выглядит счастливый человек? Пожалуйста.

Растрепанные волосы, умные живые глаза, ничем особо не примечательное лицо человека средних лет, не верящего в Бога, на котором (лице)

невольно задерживается взгляд (мягкие черты из причудливого сплава принципиальности и некатегоричности чем-то пленяют). Да, да, атеист — это непременное условие счастья, ибо если бы я верил, то чувствовал бы себя в лучшем случае величайшим грешником, несчастнейшим из людей. Вера для человека неглупого — непременное условие, чтобы чувствовать себя окончательно и бесповоротно несчастным. Меня же окружала благодать: я был безработным, одиноким, рядом лежала Мау, чужая жена и моя возлюбленная, совесть моя была спокойна.

Что еще надо для полного счастья?

— Чем ты тут питаешься, отшельник? Корешки какие-нибудь секретные трескаешь? У тебя что, женщины нет?

— Почему же нет? Ты и есть моя женщина. Другой мне не надо. Просто у меня избыток мужских гормонов.

— Тебе нужен гарем. Но я тебя никому не отдам…

Не скажу, что мы наверстали потерянное за год (в жизни то, что не сделано вовремя, упущено навсегда), но в чем-то мы превзошли себя. Весь следующий день мы спали, а вечером сидели у огня на добротных стульях, молча лаская друг друга взглядами, в которых прыгали отблески пламени.

— Я уже забыла, когда мне последний раз было так хорошо. Нет, помню. С тобой и было, год назад.

— Почему же ты раньше не приезжала?

— Раньше, раньше… Раньше я думала.

— И что же ты надумала?

— Хочешь, я брошу мужа и вернусь к тебе?

— Конечно! — торопливо встрепенулся я, как стопроцентный джентльмен, не позволяя в натопленном воздухе моей гостиной, служившей мне спальней, и даже столовой, повиснуть двусмысленной паузе (которую тонкая женщина никогда не забудет и не простит; год разлуки, случившийся по ее вине, простит, а заминку ее верного обожателя в несколько секунд — никогда), — и тут же дернулся в противоположную сторону: я понял, что совершаю предательство. Я не знал, хочу ли я того, чтобы Мау вернулась ко мне. Я, вольно или невольно, начинал ей врать. А это плохое начало для совместной жизни. — Расскажи мне, что произошло, — попросил я, выигрывая время.

— Именно, именно произошло. Сначала с Вадимом, с мужем, а потом и со мной. Целый год я пробыла то ли в богадельне для миллионеров, то ли в дурдоме, то ли в дурдоме при богадельне. Представляешь, однажды…

Однажды утром с Вадимом-Сатаной произошло невероятное, на первый взгляд, событие, которое, если вдуматься, вполне можно было предвидеть и даже следовало ожидать. Он «вдруг» обратился к Богу, стал верным и примерным семьянином, ревнивым мужем и, разумеется, скучнейшим человеком, которых в просторечии именуют занудами. Был ловелас и дамский угодник, блестящий светский кавалер, а превратился в зануду. Чертовщина какая-то…

Нет, милая Мау, не чертовщина. Скажи мне, какой у тебя потенциал гормонов, и я скажу, какая идеология тебя привлечет, во что ты начнешь верить. Порядочность и верность явились не следствием обращения к Богу, а следствием того, что его перестали интересовать женщины. Более того, он стал раскаиваться в том, что в славном прошлом был бабником. А это можно, можно было прогнозировать: он был глуп, слаб разумом, хотя интеллектуально невероятно развит. Тот же, кто глуп, рано или поздно перестает интересоваться женщинами. Но как же изумительно это уловила своими фибрами Мау, философски необразованная!

Стоп! Я понял: избыточное количество мужских гормонов делает ее уникальной (читай — умной) женщиной. Способной любить настоящего мужчину — и никогда не принадлежать ему целиком: ее тип поведения начинает смахивать на мой, мужской. Мы любим друг друга, потому что мы умеем любить, и делаем друг другу больно — потому что любим себя больше, чем другого (другую). Мы, увы, не однолюбы (в отношении других), хотя и стремимся к этому; и мы, к сожалению, однолюбы (себялюбы), хотя стремимся быть выше этого.

Вот она, загадка Мау, которую моя женщина сама, без меня, не разгадает. Да она и не стремится к этому. Она знает, что ее понимает единственный человек на свете — Соломон Локоток, который убережет ее от ненужных прозрений. Кроме того, она уверена, что ей нечего скрывать, и главное, незачем: лучше, чем она, не бывает. Соломон это должен знать. А если не знает…

Грош цена Соломону.

Те женщины, которые любят нас беззаветно, безумно, равно как и те, кто не любит нас вовсе, быстро нас утомляют. Любить надо с умом…

Я слушал Мау и думал о своем.

Хомячок, кажется, я разобрался с тобой. Можешь жить и процветать: ты не способен навредить мне. Злиться на тебя — все равно что проклинать сырую погоду, чреватую проливным дождем. Смешно и нелепо. По твоим правилам жизнь комична; приструнишь тебя, заточишь в клетку — наживешь трагедию. Трагикомедия — это уже полнота жизни, опасная именно своей полнотой. Как все это вынести? Где взять силы, чтобы не унизиться до благородной трагедии, преодолеть смехотворную комедию и легко оставаться самим собой?

Вот она, «фашистская» философия. Самое невероятное заключается в том, что я каким-то образом предчувствовал все «это» — догадывался, что не узнаю ничего нового, но переверну мир с ног на голову. Начиная свой путь с разбитого корыта, я не прощался с ним навсегда. Я знал, что вновь его увижу и зайдусь смехом сквозь слезы.

Отчуждение…

— А ты уверена, что Вадим-Сатана даст тебе развод? — спросил я, повинуясь порыву какой-то цепкой логики.

— Я уверена, что он никогда не даст мне развода, — сказала Мау, не отводя холодно блестевших глаз от пламени. — Никогда. До самой смерти.

На душе у меня сразу стало легче. Но, к чести моей, ненадолго.

По щекам Сары катились до смешного крупные слезы, которые она и не думала прятать от меня. Я понимал, что хуже, чем ей сейчас, просто не бывает. А еще я чувствовал то, что она скрывала от самой себя: ведь она будет ждать, что именно я смогу решить ее проблему, я, и никто другой, смогу сделать ее счастливой. Она желала, чтобы я увел ее у Вадима-Сатаны. И что это за оговорка такая: «до самой смерти»? До чьей смерти?

Я чувствовал то, что чувствует женщина, и при этом понимал ее. Я был и мужчиной, и женщиной одновременно. И потому перестал быть человеком. И потому стремился быть человеком.

На месте Соломона, царя Иудейского, я бы вырезал на внутренней стороне своего перстня такую надпись (древнееврейскими буквами, но славянской вязью): «Когда все пройдет — останется отчуждение…»

А потом бы просто выбросил перстень.

И, кажется, напрасно бы сделал это. Во-первых, перстень наверняка был дорогим и красивым, а во-вторых, именно в тот момент, когда мне захотелось выбросить знаменитое кольцо, — я знаю это точно! — произошло бы отчуж-

дение от отчуждения. Мне бы захотелось продолжить: «И отчуждение тоже пройдет…»

Продолжением этой фразы у меня стало бы предыдущее изречение. Вот такое кольцо в кольце получилось бы. Модель бесконечного движения в бесконечность, в вихрь которого попадает наша до обидного конечная жизнь.

А вот теперь перстень можно выбрасывать в Мертвое море.

К чему кандалы превращать в роскошное украшение?

РАЗДЕЛ XVI

Страна чудес

Прошла неделя.

На улице обильно валил мелкий снег, заштриховывая белорусское пространство в японском стиле, — то есть уплотняя его настолько, что исчезали дали, формирующие славянскую душу, и вы начинали получать удовольствие от того, что, плотно сощурившись, не могли видеть дальше своего курносого носа; время, напротив, растягивалось, и целую вечность могло ничего не происходить. Сплошные серые сумерки, условно переходящие то ли в утро, то ли в вечер. От события до события — несколько серых дней.

Так что трудно сказать, когда именно, в какое время суток произошло событие, имевшее фатальные последствия для моей жизни. Кажется, утром, но не ранним. Я лежал на диване, смежив веки, и пытался представить себе то будущее, которое с любыми натяжками можно было считать «счастливым». Кавычки плющили и растягивали это слово, и губы мои вслед за ним расплывались в злой самурайской улыбке. С чувством юмора у меня все было в порядке; у меня были проблемы с будущим. Небо перемешалось с землей, осень с зимой, прошлое с настоящим, чувства с мыслями, райская улыбка с самурайской.

Внезапно, послушный чуткому инстинкту, я открыл глаза. В том углу, где припрятан был топор для непрошеных гостей, стоял именно тот, для кого топор и предназначался, — смутно маячил незваный сударь в каких-то лохмотьях и молча меня разглядывал. А ведь я, кажется, закрывал дверь. Или забыл? Да и когда я последний раз выходил на улицу?

«Уж не папа ли ко мне пожаловал? Может, он не только с болезнью, но и со смертью справился? Возвратился в родную хату из мира теней, чтобы поговорить с сыном серьезно и откровенно. Чудеса!» — мелькнуло в моей затуманенной голове, в которой, казалось, тоже нудно сыпал мелкий зернистый снег, сглаживая углы, выравнивая контуры — запорашивая само понятие «перспективы». Примеривать на себя нелепую роль принца Датского, гуманного палача, вовсе не представлялось мне забавным.

— Ты кто? — спросил я у расхристанного привидения.

— Я-то? Пронька-Шептун. Сосед твой. Живу в доме о левую руку от тебя.

Шептун заметно шепелявил.

— И чего тебе надобно, Пронька?

— Может, это, помощь моя нужна? Отца твоего пользовал. И деду, бывало, душу вправлял, Кузьме Петровичу, царство им небесное.

— Говор у тебя не местный. Чужак, что ли?

— Так ить казаки мы. Староверы. Древним иконам молимся. Как сюда попали — никто уж и не вспомнит. Воли искали, вот и забрели в эти места.

— Что-то казакам все воли мало… Ну и как, нашли волюшку во широком полюшке? Как хоть она выглядит?

— Воля? Да кто ее знает, волю-то. Наше дело — рукомесло.

— И чем ты можешь мне помочь?

— Снимаю порчи, сглазы, наговоры, проклятия, присухи… Да мало ли что… Дед твой, царство ему небесное, руку повредил — и руки лечим. Травы собираем, ягоды, грибочки. Солим, сушим.

Странная мысль шевельнулась во мне. Может, меня и правда проклял кто? Откуда повелась эта непонятная тяга к бескомпромиссному познанию? По щучьему велению, по чьему-то хотению налетела? Это же своего рода напасть, болезнь. Редкая, но роковая. Пусть Пронька пошепчет; может, «оно» и пройдет.

— А от философии ты лечишь?

— Это от чего, к примеру?

— От того, что я не верю в проклятия и порчи.

— А как же ты живешь? — искренне изумился он. — Во что же ты веришь?

— Это мне пока неизвестно. А живу я как вольный человек.

— Чудно, ей-богу. Я от всякой хворобы лечу. И от головы тоже. Только мне надо, чтобы человек был хороший.

— А как мне узнать, хороший я или плохой?

— А травы есть такие. Они показывают… Отвар цвет меняет, если в нем лицо ополоснешь. Или вот еще способ: к иконе тебя подведу — и сразу разоблачение наступит. А иногда поговоришь, поговоришь, да и сам все поймешь. Бывало, Кузьма Петрович, царство ему небесное…

— Пронька, у тебя фамилия имеется?

— Бесфамильный я.

— Фамилии, что ли, не нажил?

— Моя фамилия — Бесфамильный. Люди зовут Пронька-Шептун. Разве не слыхал?

— Разное про тебя говорят.

— Полдеревни упырей — разве им угодишь? Вот они и говорят. Пусть говорят, зря не скажут. Так не надо ли от чего полечить?

— Пока не знаю. Может, тебе деньги нужны?

— Деньги всем нужны. Сам принесешь, если отблагодарить захочешь.

— За что отблагодарить?

— А за новость, которую я тебе принес.

— Выкладывай, раз принес.

И шепелявый Пронька ошарашил меня новостью, как обухом топора по темечку. Оказывается, яблоня, которую я спилил, была и не яблоня вовсе. Это был знак свыше.

— Что за знак? — насторожился я.

— А такой знак. Ты на пенек-то смотрел?

— Нет.

— Вот то-то, что нет. Там же изображение Девы Марии, Пресвятой Богородицы. Можно сказать, икона нерукотворная, спаси Царица небесная.

Пронька перекрестился.

— Что за чушь ты несешь, Пронька Бесфамильный! Еще начнете пням молиться. Вы что, язычники?

— Это не чушь, парень, не чушь. Завтра дьячок приедет смотреть, народ из деревни придет дивиться. Я сразу заприметил: почему, думаю, такой высокий пенек? Нет бы до земли срезать, как всегда, а тут высокий пенек, да наискось срезано.

— Так удобнее было пилить. Да и оставил я столбик для гамака, а не для иконы.

— Удобнее, конечно. А кто твоей рукой водил? Или не догадываешься?

— Кто же водил моей рукой?

— А ты сам подумай. И не болтай лишнего. Гама-ак…

— А зачем ты по моему саду шатался?

— Мало ли где я шатаюсь. Не спится мне, вот я и хожу. Гляжу, примечаю…

На следующий день в моем саду было полным-полно народу, натуральным образом — столпотворение. По местным меркам — Вавилон. Я в одночасье стал знаменитостью. Сомнений не было ни у кого: коричневые кольца, по которым обычно определяют возраст дерева, были и не кольцами вовсе, как обычно, а — овальным ликом, будто кто старательно выводил карандашом. Обнаружили глаза, нос, губы, вытканный золотом платок, а также легко заштрихованное облако — нимб. Чуть позже, где-то через час, люди стали ясно видеть покатые женские плечи и даже фигурку на диво смышленого младенца на руках.

Миру было явлено чудо.

Пронька ходил именинником. Ему охотно простили его выходки (он бесхитростно взял и поделил всю деревню, на «хороших» и «плохих»); более того, в глазах односельчан он становился сопричастным чудесам. Не святым юродивым, конечно, для этого он был недостаточно безобиден, однако, несомненно, избранным. Да и сам он стал туманно изъясняться в том смысле, что все люди по-своему хороши. Да и чудо было явлено недалеко от Пронькиного подворья…

Все это загадочно и необъяснимо.

Заговорили о необходимости строительства Храма Божьего, и к вечеру вопрос был, в принципе, решен. Места было достаточно: вон какая усадьба. Спиленное дерево обнесли аккуратной изгородью, которую тут же и покрасили в небесно-синий цвет. На срез набросили платок и прикрыли стеклом (которое с благоговением притащил Сулейман).

Я думал, временным ажиотажем все и кончится. К сожалению, я глубоко ошибся: толпы паломников шли нескончаемым потоком.

Я всерьез заволновался. Будущее моей усадьбы было поставлено в прямую зависимость от «чуда», которое обнаружили в моем саду. Обо мне никто не вспоминал. Но когда я заикнулся о своих правах, общественное мнение загудело: какие права, когда речь шла уже о явлениях и знамениях регионального масштаба. От меня ждали одного — благородного жеста, а именно: безвозмездной передачи дома под нужды будущего строительства. Возможно, со временем в доме деда будет хозяйственная пристройка. Возможно, его снесут, раскатят по бревнышку и приспособят под часовенку. И никаких тебе бонусов, никакой компенсации за материальный и моральный ущерб.

Так я стал свидетелем единственного чуда в моей жизни: я оказался выброшенным на улицу из собственного дома — из-за того, что у моих односельчан разыгралось воображение. Невежество оказалось силой вполне материальной, о чем догадывался я давно, однако был уверен, что эта стихия как-нибудь меня обойдет стороной. Ведь я же зарылся в нору, спрятался от всех.

Увы… На планете Земля спрятаться от людей невозможно.

Разумеется, Вадим-Сатана оказался где-то рядом и стал ярым и щедрым меценатом. Именно на его деньги — немедленно, без проволочек — началось бурное строительство храма. Где-то были добыты дефицитные аэродромные плиты под фундамент (особый бетон с особо прочной арматурой), завозили кирпич, песок, подгоняли технику. Особый промысел Вадим-Сатана видел в том, что меня, безбожника, выгнали из моего же имения. Дева Мария могла наследить где угодно; она выбрала отчего-то усадьбу атеиста. Разом было достигнуто две цели: одним атеистом меньше, одним храмом больше. Я оказался пострадавшей стороной, несмотря на то, что благодать торчала у меня в огороде, криво спиленная моими же собственными руками. Вадим-Сатана с Богом выступили против меня единым фронтом. И, разумеется, победили, кто бы сомневался.

Так произошло мое отчуждение от деревни и сельского люда, и мне не оставалось ничего другого, как возвратиться в постылый город, аки пес на блевотины своя. Строго в соответствии с Библейскими канонами.

РАЗДЕЛ XVII

Философия воли

Однако не в моих правилах было так скоро и бездарно сдаваться. Я решил еще раз приложить руку к чуду, которое и появилось-то благодаря мне. Возможно, мне на роду было написано стать чудотворцем. Кто знает? Я его породил — я с ним и разберусь.

Раз уж острый топор был поставлен в угол, надо было дать ему работу в пятом акте. Я действовал решительно и без промедления. Работы было при известной сноровке секунд на тридцать. При этом можно было запросто попасть в историю.

Выйдя вечером на залитый лунным светом двор (снег давно прекратился, легкий морозец делал воздух свежим и ясным), я внимательно осмотрелся. У Проньки-Шептуна тусклым желтком светилось окно. Дом Сулеймана темнел в отдалении. Я поднял голову вверх. Надо мной заносчиво сияла чистым ликом полная, царственная луна, сиротливая в своей надменной недосягаемости (так сказать, круглая сирота). Пред ней хотелось пасть на колени и одновременно пожалеть ее за неприкаянность. Чем-то она напоминала меня. Я тоже был один-одинешенек в этом чудном мире. Идеально круглый источник света (точка отсчета для земных дел!) на фоне удручающе ровной темени. Символическая проекция моей жизненной ситуации. Кажется, все пляшут вокруг меня, водят хороводы. Но это всего лишь оптический обман. На самом деле меня, Соломона, как одинокую луну, умудряются не замечать. Соло — один; моно (moon) — тоже один.

Вместе нас было двое, но легче от этого не становилось. Мы были каждый сам по себе.

Я вошел в дом, нащупал и крепко стиснул гладкое топорище и опять выскочил во двор. Снег приятно, мелодично — мажорно — поскрипывал под ботинками на толстой подошве. Не трогая низенькую изгородь, я подошел к укутанному пню. Короткий размах — и лезвие топора всаживается на треть ствола в самое основание, под корень. Я решил сровнять пень с землей. Хрустящий звук удара разносился, как маленький набат. Я невольно замер,

прислушиваясь. Хриплый лай пса далеко в деревне. Казалось, дома соседей, накренившись, тоже вслушивались в потревоженную тишину.

Не успел я занести топор над еще сочным деревом во второй раз, как со стороны моего дома на меня ловкой татью метнулась тень.

— Шайтан! — завопила тать, и я без труда признал в этой фигуре Сулеймана.

— Держи его! — завизжал голос Проньки.

Я решил довести дело до конца и потом уже разбираться с обидчиками. Но я не рассчитал расстояния: Сулейман, оказавшийся совсем рядом, сбил меня с ног, колоритно изрыгая проклятья на чудном тюркском. Пронька подоспел стремительно, вынырнув белым сычом откуда-то из недр снежной равнины. Мусульманин и христианин умело дубасили меня, атеиста, а я метался по снегу, пытаясь отыскать топор. «Не убий» в этой ситуации никого не интересовало. Всех интересовал топор.

Скоро подоспели люди, все почему-то мужики, меня связали и заточили в собственную избу. Куда-то звонили, с кем-то советовались. Причем, явственно прозвучало слово «Вадим», относящееся не ко мне: все издавна называли меня Соломоном, помня еще Моню, отца, и Фашиста, дядю. Когда я услышал «Ипполитыч», сразу успокоился: стало ясно, что обо мне позаботятся всерьез. Печень был выше суеты и мелочных обид; его также невозможно было обвинить в честности и заподозрить в порядочности.

Подъехал почему-то не милицейский «воронок», а облезлая карета «скорой помощи».

Надо было быть идиотом, чтобы не догадаться, что меня везут в психбольницу. Карету мне, карету…

Два дюжих санитара, сидевших практически на мне, мрачно обсуждали вчерашнюю пьянку, началом которой послужил чей-то день рождения, и на меня не обращали никакого внимания. Один, лысый, делился впечатлениями:

— И я еще выпил с этими стервами две бутылки. Две, представляешь? А до того мы повалили семь бутылок. Нет, восемь. Подожди, дай посчитаю. Раз, два, три… Нет, семь.

— А потом? — вяло интересовался другой, усатый.

— Не помню. Кажется, подрались. Из-за чего — не помню. Кажется, из-за того, что эта, кривая, Верка, что ли, назвала меня придурком. Меня — придурком, представляешь? Вот они, придурки, — он ткнул локтем мне под глаз, даже не повернувшись.

— Нельзя ли поосторожнее? — вежливо попросил я.

— На, поставь вот эту песню, мудила! — крикнул лысый санитар водителю, протягивая диск, стильно оформленный.

— Что это, Стас? — спросил серьезный шофер.

— Классное музло. «Философия воли» называется.

— Не знаю такого певца, никогда не слышал.

— Потому что всякое дерьмо попсовое слушаешь. У этого барда еще есть «Философия города» и «Философия одиночества». Классное музло.

Я насторожился. Оказывается, пока я постигал себя, «одиночество» и «воля» уже положены на музыку и стихи и вполне освоены народом.

Лысый певец с брегов Невы сквозь вставленные зубы модно шепелявил о муках одиночества; лысый санитар Стас раскачивался в такт и подпевал. Не сбился ни разу. От слова «философия» в их устах меня затошнило, обильно пошла слюна и к горлу знакомым послевкусием подкатил давешний салат.

И очень не вовремя. Когда меня втащили в коридор, в нескольких местах перегороженный металлическими дверями с решетками, и провели мимо столовой, в нос мне ударил такой ядреный смрад, имеющий отношение к давно не свежим пищевым отходам, которые здесь, вероятно, все еще принимали за еду, что меня вывернуло прямо на линолеум. Я едва не потерял сознание. Санитары, ни слова не говоря, привели меня в чувство пинками и доставили в кабинет главного врача. На табличке было написано: Кабинет № 6. Главврач Дементей М. М.

Первое, что я увидел, когда рассеялась муть перед глазами, была икона в роскошных золотистых окладах в красном углу. Как ни странно, она в самом деле напоминала разводы на злополучной яблоне. На столе у врача (широкое лицо, выпуклые мешочки под глазами, непременная «интеллигентная» эспаньолка пучком вместо бороды лопатой, которая просто просилась на неслабую челюсть) стояла фотография Мэрилин Монро в розовых тонах. Дементей угадал: с моей точки зрения, это самый вульгарный символ XX века.

Мне показалось, что я попал в царство пошлости, но мне тут же дали понять, что я глубоко заблуждаюсь. В этом царстве пошлость была светлым пятном.

— Фамилия, имя, отчество. — Врач бегло взглянул на меня.

— Вадим Соломонович Локоток.

Люди с чувством юмора обычно благожелательно реагируют на то, что я произнес. Эскулап даже не улыбнулся. Плохо дело.

— Образование?

— Высшее. Философское.

— Понятно. Наш клиент. Философия и литература — это диагноз. Слышали об этом? Зачем над православной святыней надругался, гражданин Локоток?

— Я не над святыней надругался; я рубил яблоню у себя в саду.

— Понятно. Логика шизофреника. Не ориентируемся во времени и пространстве, не отдаем себе отчет в своих действиях. Родители страдали душевными расстройствами?

Вопрос поставил меня в тупик.

— Кажется, нет.

— Значит, страдали. Твоя болезнь — наследственная, понял? Шизофрения или все же паранойя? Будешь у нас для начала шизофреником. Диагноз невинный. Но динамика настораживает. Еще раз попадешь к нам, будем лечить всерьез. Все признаки невменяемости налицо. А сейчас укольчик — и на три дня в постельку. Пофилософствуешь на досуге. Стас!

Лысый санитар подошел ко мне вплотную.

— В палату номер шесть его.

Тут Дементей М. М. впервые любезно ощерился; при этом глазки скуластого эскулапа исчезли, и я с удовольствием отметил, что круглое лицо (яйцо!) его с хвостиком эспаньолки стало напоминать перевернутую репу. Колоритный ноль. Q.

— Страшно? Не бойся. У нас и палаты такой нет.

Я с трудом подавил в себе жуткий позыв: взять со стола розовый портретик в массивном пластике и влепить Дементею по кумполу. Я даже предвосхитил возможный звон: треснувшая рамка жалобно задребезжала, будто камертон. Мне стало действительно страшно, как только я представил последствия такого сумасбродного поступка. Правой рукой я сжал левую и набычился.

— Вы что же, господин Локоток, тоже считаете, что теория Дарвина справедлива? Это же невежество!

— С чего вы взяли, что я так считаю?

— Да у вас это на лице написано. Вы явно за теорию Дарвина! За обезьян!

— Хорошо. Не стану отрицать. Мы с сэром Чарльзом так считаем. А по-вашему, род человеческий произошел от оцелота? Или от хомячка? — Я счел за лучшее опустить взгляд и теперь уже левой рукой сжал правую.

— Человек — это творение Божье, — сказал главврач, поразительно в эту минуту напоминавший говорящего шимпанзе, — а вы эту идею — под корень своим топором. В семнадцатую этого шизика. На три дня. Ты мне «Философию воли» привез, Стас?

— А как же, Михал Михалыч. Вот три диска. Вся серия «Философии».

— Вот это философия, а, Локоток? Это тебе не яблоню мироточащую рубить. Ты же не на дерево покусился, а на символ. Был бы нормальным, разве пошел бы против общества? Не пошел бы, верно, Стас?

— Само собой, Михал Михалыч. Против общества — это классическая шизофрения. Таких надо изолировать.

«Отчуждать от таких, как вы», — мысленно поправил его я.

РАЗДЕЛ XVIII

Начало романа

Именно здесь, в дурдоме, в 17-м номере, на жесткой кровати (облупившиеся, давным-давно не крашеные металлические спинки, скрипучая панцирная сетка) в голове моей и зародилась идея романа. Из дисгармонии и отчуждения мне предстояло вылепить нечто противоположное, напоминающее гармонию. Мне хотелось посрамить Дементея и убедить всех, что вести свой род от обезьяны — это еще самый оптимистический вариант. Я увидел свой роман в самом общем виде, в туманной перспективе, я думал о форме плана. Детективчик? Нет, это будет, пожалуй, отчуждение от литературы, в которой я собираюсь искать спасение. Поэму о «мертвых душах»? Но о мертвых поэмы не пишут. О живом и умном?

В известном смысле я совершал насилие над собой: после успокоительных уколов мне ни о чем не хотелось размышлять, меня клонило в сон. Кто-то посторонний отбирал у меня волю и навязывал мне райское непротивление — нирвану. И в то же время параллельно всем этим обволакивающим процессам во мне зарождалось и крепло движение сопротивления. Чему, собственно, пытался я противостоять? Уколам бедолаг, для которых морг был пределом мечтаний?

Сложно сказать. Но я был рад тому, что обнаруживаю в себе твердость намерений. Как бы то ни было, сама идея писать жесткий роман окончательно утвердилась именно здесь.

Я всегда считал, что писатели делятся на клоунов-развлекателей и юродивых-проповедников, на тех, кто либо развлекает, либо поучает.

Мне кажется, я из тех, кто, лениво поучая, делает вид, что развлекает. Но вот чему я поучаю (давайте, не покидая дурдома, перенесемся в мою квартиру, где я, растратив скудный энтузиазм, заканчиваю писать роман)?

Сам себе я представляюсь каким-то проповедником-расстригой, шагающим своей дорогой, ведущей с полей непосредственно в небо. Я удаляюсь за облака, похожие на взбитые локоны Мау, и незаметно делаю ладошкой «пока,

пока» Хомячку, на мгновение оторвавшемуся от своей подруги и с изумлением взирающему на того, кто шпарит по воздусех, аки посуху. Странно: эту вполне реальную тропинку, кроме меня, никто не замечает. Но она же есть, это ведь не моя выдумка! Вот же она, шаг вправо, шаг влево — и ты уже опять в полях, по уши в грязи, облака перестают держать тебя. Хомяк, подтверди!

А может, я просто выражаю себя — ради самовыражения? Нет, это ложь, достойная мелких плутишек. Выражают себя затем, чтобы, развлекая, — поучать. Просто выражают себя здесь, в доме для умалишенных.

Я испытываю отчуждение от функций литературы, если быть до конца откровенным.

Стоп. А нужны ли мне читатели? Есть род отчуждения, которого можно и не пережить…

Нужны. Но не те, которые есть (вот оно, вездесущее отчуждение!).

«А других не бывает», — включается в мой внутренний диалог уже знакомый мне нахальный умник, чужой во мне.

«Знаю», — устало отбиваюсь я.

«Знаешь, и все же пишешь то, что пишешь?»

«Как видишь. Кстати, где твой макинтош? Он делал тебя загадочным и солидным. Я даже толком не знаю, что такое макинтош».

«Ерунда. Плащик из непромокаемой ткани. Рыцарь плаща и кинжала… Это все внешнее, напускное. Мне вовсе не хочется добивать тебя. Я, гм, гм, явился, чтобы тебя поддержать».

«С чего бы это такая небывалая гуманность?»

«Видишь ли… Если не станет тебя, то и меня не станет. Негоже тени пенять на того, кто ее отбрасывает».

«Не такой уж ты и чужой, каким прикидывался вначале».

«Верно, не такой. Спокойной ночи».

«Спокойной. Передай привет Хомячку».

Тот, в макинтоше, сделал вид, что не расслышал моих слов. И добавил не без иронии столь любезной моему сердцу:

«Приятных сновидений».

Едва я услышал эти слова, как в ту же секунду провалился в глубокий сон.

И снился мне папа. Мы сидели с ним в парке, вокруг стояли каменные изваяния. Афродита, Дискобол, Диана, Аполлон, Зевс…

Красивые, но неживые.

Вокруг нас на все лады, казалось, беззаботно свистали пичуги. Живые. И грустно было думать, что вся их райская активность была вызвана двумя причинами: им надо было поесть, чтобы размножаться. Забота о хлебе насущном — вот причина их беззаботного пенья (в последнем слове ударение на последнем слоге: именно в такой редакции проскользнуло словечко в моем сне).

— Ну, вот, теперь мы можем поговорить серьезно и откровенно. Кажется, никто не в силах нам помешать. Здравствуй, папа.

— Здравствуй, неугомонный Соломон. Я так долго ждал этого момента, Вадим.

— Интересно, что же такого ты мне можешь сообщить, папа, чего я еще не знаю? Мне кажется, я все уже подгреб в этой жизни. И хотел бы себя удивить — да не получается.

— Если серьезно, то многое понимаешь только здесь, вдали от суеты; а если откровенно, то… Не стоит об этом говорить.

— И за этим я оказался у тебя в гостях, в заоблачных райских кущах?

— Нет, не за этим, — отец рассмеялся молодым здоровым смехом — тем смехом, который я, оказывается, помнил с детства. — Ты просто очень хотел меня увидеть.

— Да, хотел. А зачем?

— Соскучился. Ты ведь не только отец, ты и сын. И это навсегда. Хочется защиты, хочется простых и понятных решений. Это так естественно. Простое объяснение, правда? Поэтому в него верится с трудом.

— Ты умнее, чем я думал.

— Я твой отец, не забывай. Если бы я был глупец, ты пел бы о «философии воли», в лучшем случае.

— Верно, — теперь рассмеялся я, не удивляясь тому, что не слышал собственного голоса.

— А как там Федор, мой внук? Ты ведь хотел поговорить и с ним.

— Хотел… Странно, папа, я не испытываю к тебе отчуждения.

— Это плохо. Отчуждение — признак живого и здорового индивидуума. Ты все еще хочешь поговорить с Федором?

— Конечно, я обязательно сделаю это.

— Сейчас я тебя удивлю. Пересядь на ту скамейку, рядом с Афродитой, и закрой глаза.

Я сделал то, что просил папа, и мне показалось, что я ненадолго уснул в своем сне. Когда я открыл глаза, передо мной сидел мой сын и вполне дружелюбно улыбался.

— Чудеса, — сказал я.

— Чудес не бывает, — беспечно ответил Федор.

— Как там мама? — спросил я, чтобы завязать беседу.

— Ничего, спасибо. Жива, здорова. Ты собирался объяснить мне, что она поступила плохо, когда ушла от тебя?

— Нет, что ты. Боюсь, она поступила не слишком хорошо, но правильно.

— Не уверен, — сказал Федор. — В результате вы оба бросили меня. Да ладно. Что было — то прошло. Забудем. А как ты?

— В дурдом попал ни за что ни про что. Уколы шпиляют. Питаться здесь не могу: вонь несусветная. А так ничего, жить можно.

— Да, весело. Что ты еще собирался сказать мне?

— Извини. Я был плохим папашей. Ты воспитал меня больше, чем я тебя.

— Зато теперь мне есть с кого брать пример.

— Ты умнее, чем я думал.

— Я твой сын, не забывай.

— Я никогда не забывал об этом. Нам будет о чем поговорить с тобой.

— Не сомневаюсь. Ладно. Тебе пора. Здесь порядки строже, чем в дурдоме…

Обнаженная Афродита подала знак. Скрип панцирной сетки. Я открыл глаза.

— Дементей! — неожиданно для самого себя завопил я. — Дементей!! Дементей!!!

Ко мне в бокс сунулось рыло Стаса.

— Мне надо позвонить. Срочно.

— Тебя выписывают, — равнодушно сказал он. — Но лучше бы тебя не выписывали. У тебя сын погиб. Несчастный случай. Водитель оказался придурком. Если видишь придурка, ищи рядом жмурика, — философски заметил Стас.

РАЗДЕЛ XIX

Конец

Я, Соломон, то есть Вадим Локоток, живу с Мау, то бишь Сарой, женой гнусного господина по фамилии Печень, известного своей широкой душой и склонностью к бессмысленной благотворительности. Он денно и нощно замаливает грехи своей жены, а жена его, Сара, уже начинает испытывать неловкость от того, что заставляет страдать невинного человека, своего мужа. Она аккуратно плачет мелким бисером и тяготится жизнью со мной. Я попытался объяснить ей, что Печень молится на ситуацию, созданную специально для него (за что он неусыпно и благодарит Всевышнего): он душит своим великодушием жену, терзает бездомного и бесприютного врага своего Соломона и получает отличные оценки по поведению от бдительных слуг Господа. Он хороший и примерный, а мы плохие и отвратительные. Мы нужны ему для того, чтобы на нашем горбу он въехал в рай. Без нас ему рая не видать как своих ушей. Даже еще категоричнее: плохие мы, и никто иной, обеспечивают ему рай.

Вопрос: о ком он молится, когда молится о нас, заблудших врагах своих?

Ответ знает даже хомячок.

Я позвонил Леде и произнес сакраментальную фразу «нам надо поговорить серьезно и откровенно». Особого эффекта эта фраза не возымела.

Вот, кажется, и все. Ах, да, Лора…

Видимо, я не успокоюсь до тех пор, пока не разделаюсь с этим воспоминанием. Ну, что ж…

Вскоре после того, как Лора чуть не вышла замуж за меня, она вышла замуж за француза (что за наваждение! сплошные французы), большого любителя лягушек (в смысле любителя их покушать, а не защищать права прыгучих зеленых друзей: не все французы одинаковы). Мы с ней встречались несколько раз после ее свадьбы, в интимной обстановке — кажется, для того только, чтобы удивиться, что могло нас связывать раньше. В ее глазах появилась прохладца. Кроме того, ей надо было пожаловаться кому-нибудь на свою однообразную жизнь. Кому, как не мне?

Вот теперь, кажется, все.

«Каков же итог, и где обещанное корыто?» — спросите вы. И я, Соломон, вам отвечу:

«Испытывая отчуждение от всего на свете, я приблизился к собственной сути. Чего и вам желаю.

Только не спешите благодарить меня за доброе пожелание. Не торопитесь, а то успеете».

«И что же теперь, болезный?» — спросите вы, делая вид, что спешите сочувствовать «отчужденцу». Вы и не подозреваете, насколько глубоко поражены синдромом русского хомячка.

«А ничего», — отвечу я, с трудом подавляя приступ зевоты, хотя дело, скорее всего, происходило бы утром (видите ли, вечером я обычно тупо смотрю новости по TV, не интересуясь ничем на свете; днем же я работал над романом — пока не наступило отчуждение от него). «Ничего, мои милые», — повторяю я вежливости ради, ибо вежливость — наиболее эффективная из всех известных мне форм отчуждения.



МАРАТ КУПРИЯНОВ

Под капельницей времени

* * *

Ложился снега холодный пласт
На улицы и дома,
И, как молитву, ты пела: нас
Не остуди, зима…
Катились мерно минуты прочь,
Считая чужие сны,
А из окошка глядели в ночь
Двое среди зимы…

Бесилась вьюга, кружа и злясь,
Черней становилась тьма,
А я повторял за тобою: нас
Не остуди, зима…
Звезда блеснула, сорвавшись вниз,
Из вечности — в никуда,
Оставив на фото короткий миг:
Двое — в виньетке льда…

Старый дом

Дождевые облака вжали в землю небо,
В моде — поздней осени серая шагрень.
Над проселком дым печной пахнет духом хлебным,
И с хозяйским видом кот мерит свой плетень.

Улыбнулась, не признав, встречная старушка
И спросила ласково: «А ты чей же сын?»
Молча я кивнул на дом, ветхая избушка
Отвечала взглядом мне, грустным и пустым.

Зарыдали, голося, петли на калитке,
Да с отцовской хрипотцой скрипнуло крыльцо,
Дверь вздохнула, колыхнув паутин накидки,
Гулким эхом кряжистых, вековых венцов.

Дождь утих, как будто враз получил отсрочку,
И открыли облака полог голубой,
А старушка за окном, в ситцевом платочке,
Все крестила, кланяясь, солнце над трубой…

* * *

Ночь — бездонное корыто,
Сколько слез в него пролито,
Сколько судеб в нем разбито
и надежд…
Месяц-враль развесил пяльцы:
Пяльтесь, дурни. И сквозь пальцы
Время сыплет звездным тальком
пыль с небес…

Черный кот из подворотни
Желтым глазом приворотным
Отражает подноготный
бабий страх…
Вдруг окажется дебилом
Тот, в которого влюбилась:
Вишь, уткнулся в небо рылом,
весь в стихах…

Зябко. Трогает туманом
Август мартовские раны.
Их не скрыть под ворох рваный
из одежд…
Ночь — бездонное корыто,
Сколько слез в него пролито,
Сколько судеб там разбито
и надежд…

Ночной мотив

— Желтая луна коснулась клавиш,
Глупая луна, ну, кто просил?
И плывет по комнате печальный,
Простенький такой любви мотив.
По стеклу росой стекают ноты
И, срываясь на глиссандо вниз,
Улетают звонко в пропасть ночи,
Вспыхивая искорками брызг.
Вздрогнут с хрипотцой басы, сливаясь
С телефонной трелью озорной…
— Здравствуй, милый. Разбудила? Каюсь.
Без тебя так грустно мне одной.

* * *

Все больше хочется не потерять врага,
Своей луны другую половину.
А он приходит бить челом с повинной
И псом усталым льнет и ластится к ногам.

И плачет, жалуясь, что жизнь пошла к чертям,
И не хватает до получки денег,
Что скоро кредитор совсем разденет,
А теща и жена — распилят по частям.

Все больше пустоты, и ей числа не счесть.
И по живому слов песок могильный
Ложится на вражду, а ветер пыльный
Разносит жалостью украденную честь.

Заката круче изгибается дуга,
И за минуту до ее излома,
Пока еще горит небес солома,
Все больше хочется не потерять врага…

Отцу и сыну

Сын за отца всегда ответчик,
На том и держит крону род,
И обретает трон навечно
Его Величество Народ.

Кольцо — в кольцо, от сердцевины
Ложатся новые круги,
Сжимая плотно, воедино.
И боль, и славу, и долги.

И покрывая новой кожей
Следы от прежних бед и дыб,
Потомки повторяют тот же,
Судьбой начертанный изгиб.

Так от Адама до Предтечи,
От колыбели — до седин:
Сын за отца всегда ответчик,
Конечно, если это — Сын.

Квартирный пейзаж

У нее на окне — герань,
На коленях — жирнюга-кот,
А на мне — полевая дрань
И июньского солнца пот.

По-домашнему сытный стол,
На диване — верблюжий плед.
И блестит по ногами пол,
Съел давно пылесос мой след.

В ванной чистый висит халат,
Я б в него и в фуфайке влез.
Видно, прежний был крут в обхват
И имел капитальный вес.

Приоткрытая в спальню дверь,
На кровати — перины пух
Зазывает: поди, проверь,
Если ты не совсем лопух.

Я б пошел, но один штришок
Все ж смущает в картине той:
Трехведерный большой горшок
На балконе стоит пустой.

И рисует сознанье мне,
Обалдев с бодуна, мираж:
Как геранью на том окне,
Я торчу… Вот такой пейзаж…

* * *

Я, наверно, того и не стою
Но, как сызнова, пробую жить.
Обвивает уставшую совесть
Паутинкою времени нить.

И сверяют вчерашние слухи
Вечерами по нескольку раз
Прокурорской закваски старухи —
По шаблонным чеканам анфас.

Жизнь мою, где навечно я проклят,
Разверните на лапах петель.
Может, правильней истина — в профиль,
Я ж по-прежнему прежде вертел.

Размахнусь, со всей силушки врежу
Кулаком о дубовый косяк:
Врешь, с похмелья я — мыслями трезвый,
А что кануло — сущий пустяк.

Но когда наливается воском
Переспевшая дыня луны,
Я вдыхаю отравленный воздух
Позабытой с годами вины…

* * *

«Куда уходишь, милый? Ну, ни пуха…»

И в джинсах стареньких потертых,
Как на минуту, навсегда
Перешагну порог. Беда
Ответ подскажет верный: «К черту…»

* * *

Настоит быльё-трава
Горечь жизни чаем,
Сорок раз скажу «халва»,
Может, полегчает.

Отложу дорожный кнут
И ослаблю стремя,
Мне пропишет из минут
Капельницу время.

Слёз микстуру от тебя
Зачерпну кувшином,
Чтобы мерить не любя
Баб — одним аршином.

Прогоню печаль гульбой,
Бросила — черт с нею!
А вернешься — я тобой
Снова заболею.

МАРИНА НАТАЛИЧ

Мы с вами — почти родные

Рассказы

Птица Алечка

Алечку всегда называли Алечкой — и давным-давно, когда она маленькой была, и теперь, когда старенькая стала, но еще не очень — так она думает. Теперь говорят на нее «дурочка» и что она ничего не помнит. А это неправда, она много чего помнит — и маму, и дедушку, и бабушек. А еще Павлика.

Павлик потерял ее, но он ее найдет, или она сама его найдет. Ей без Павлика совсем плохо. Она вспомнит то место, где он ее потерял, и тогда найдет. Поэтому она и вспоминает все с самого начала, чтобы не забыть. День и ночь вспоминает, ей же совсем нечем больше заняться. Она же не трудится, как другие, как Раиска, Семеновна или Виктор Иванович. Павлик, наверное, тоже трудится, и у него нет времени ее найти.

Алечкой ее звала мама. Но маму она плохо помнит, только искорки. Мама смеется: «Алечка, Алечка!» — и от нее искорки золотые так и летят во все стороны! А потом она уехала, — так бабушка сказала. Аля бабушку тоже не очень хорошо помнит, от нее темный такой туман шел, наверно, потому что она все время плакала, как сырая. Скажет: «Уехала, далеко, — а потом: — Улетела твоя мама… — и снова плачет: — Доченька моя, бедная… а-а…»

Алечке понравилось, что мама улетела, хоть и скучно стало без нее. Улетела, значит, она птица и когда-нибудь прилетит и Алечку заберет.

А темная бабушка тоже уехала, а дедушка остался. Он сидел на табуретке и смотрел, но не на Алечку, а куда-то вверх, наверное, высматривал свою туманную бабушку и золотую доченьку. А потом бабушкой стала Нина. Она называла ее Алей и пекла пирожки, самые вкусные на свете. Но недолго. Дедушка все молчал и глядел вверх, она соскучилась и вернулась к своим внукам — Женику и Юрке, они-то веселые были. На Новый год в комнате елку поставили и нарядили разноцветными шариками стеклянными, и мандаринками, и конфетами в фантиках, но трогать их бабушка Нина не разрешила, а все говорила: «Иди скажи дедушке спасибо, иди скажи, он ведь для тебя старался!» — и подталкивала в спину. Но Алечка боялась, стеснялась, раз дедушка на нее не смотрит. А бабушка Нина сердилась: «Какая ты, Аля, неблагодарная!..» Алечка просто не знала, как надо быть благодарной, а спросить боялась. Ей так хотелось просто кружиться, летать вокруг елки, хоровод водить. Но елка стояла близко к окну, и хоровод не получался. И они с Жеником и Юркой бегали возле елки от края до края, и один шарик разбился. Вот бабушка Нина и ушла — и внуков своих увела.

И снова стало скучно, темно и холодно. Дедушка долго водил Алечку в садик и молчал. И Алечка научилась быть благодарной. Когда он приходил за Алечкой, она говорила «спасибо», каждый день. Дедушка и в школу ее водил, целый год, потому что утром было темно и холодно, и глаза слипались. Вот он и водил Алечку, чтобы она не потерялась в темноте. И когда она говорила дедушке новое «спасибо», он даже улыбался иногда.

В школе Алю научили считать, поэтому она и знала, что у них появилась третья бабушка — злая Машка. И звала ее Альбиной. Машке дедушка часто стал улыбаться, чтобы не злилась почем зря.

Машка вся была как кошка, потягивалась без конца и клянчила: «Ва-аня, ну Ва-аня, купи… купи…» — то ей кофту, то сапоги, то апельсинов. А когда его не было дома, она ставила тарелку с кашей на стол со стуком и шипела: «Иди уже ешь, альбиноска, навязалась на мою голову!..» А дедушка все-все Машке покупал и приговаривал: «Мурочка, Мурочка…» А когда Алечка попросила один раз купить ей апельсинов, ее и сдали в интернат. Там ее стали звать Алькой или по фамилии — Петрова. «Петрова, иди… Петрова, отвечай…» И дедушку ей пришлось немножко забыть. Когда ее обижали, пожаловаться было некому, и она научилась прятаться под кровать. Под кроватью было хорошо. Алечка стягивала на пол тощую подушку и лежала в темноте под кроватью весь вечер, а потом ее Раиска-крыска ругала, что она будто потерялась.

Алечка и писать научилась. И когда все писали письма Деду Морозу, она писала маме. А потом листочек рвала меленько-меленько и выпускала в форточку, специально на третий этаж шла, повыше, и выпускала. Мама же птица, а птицы читать не умеют. А так она может подумать, что это Алечка ей зернышки сыплет, — и прилетит утром к окну, и они встретятся и поворкуют, как голуби. Она видела весной: сядут два голубка на подоконник и друг другу перышки перебирают, Алечке и этого хватило бы.

А директриса Раиска злилась, кричала: «Ты зачем, Петрова, мусоришь? Зачем форточку открываешь? Заболеешь, возись тут с тобой!» С чего это она заболеет? Форточка малюсенькая, ветер клочки мигом уносит, как снежинки. Скорее уж у Раиски горло от крика заболит. И пусть бы она хоть три денечка не кричала.

Вот еще летом было — Алечка нарвала у забора цветиков, на львиный зев похожих, что на клумбе посажены, только маленькие, и пахнут так хорошо, а еще ярко-желтеньких, с лаковыми лепесточками, и поставила в вазу в большой комнате. А Раиска и тут раскричалась: «Кто принес эту дрянь? Это же болиголов… да слепота куриная… Выкиньте немедленно!» Ну что ей все мерещится то горло, то голова, то слепота… Алечка и сама знает, что они так называются, никто ее не учил, а она знает много трав по именам — и цикорий голубенький, и бело-розовый тысячелистник, и ястребинку, и гвоздичку, и боярышник в углу двора, — и разговаривает с ними, а они ей так и отвечают, кивают головками: «Алечка, Алечка…»

Аля даже Павлика удивила, когда они сбежали с физкультуры и за город уехали, в поле. Они бродили по лугу, и Алечка называла травы по именам. Они целых сорок пять имен насчитали, честное слово, и никакая она не дурочка и все помнит. Просто у нее иногда голова болит, может, и от того болиголова, и Раиска права была.

Теперь Алечке самой сорок пять лет, а она все травы до сих пор помнит. И Павлика.

Ему она тоже письма пишет, чтобы Павлик ее нашел. Только теперь она их не рвет, — Павлик умный, он прочитает, если его почтальон найдет. Из-за того, что она Павлику пишет часто, ее даже писательницей прозвали и смеются, а что же здесь смешного? Письма она Семеновне отдавала, поварихе в их доме инвалидов. Семеновна очень добрая, возьмет письмо и попросит: «Ты почитай мне, что в этот раз написала-то, а то я твой почерк без очков не разберу…» Алечка с радостью читает, с выражением, волнуется. А Семеновна слушает и заплачет иной раз, и похвалит: «Складно-то как, Алечка, ты пишешь, умница ты наша. Ты пиши, пиши, Павлик-то и найдется, и объявится, и вы поженитесь…»

Но Алечка пугается очень, когда Семеновна про «поженитесь» говорит. Она не забыла, как темная бабушка плакала, что вот не послушалась их дочень-

ка, замуж выскочила, вот беда-то и стряслась, и улетела… Нет-нет, Алечка улетать насовсем еще не хочет, во сне она любит летать, а так — нет. Как же это — найдет она Павлика и тут же улетит? Нет, она хочет, чтобы Павлик ее за руку держал, крепко-крепко, и не отпускал.

Она этого не зря боялась, вот и Семеновна однажды улетела. Сама Алечка не видела этого, но говорили — она в тот день письмо получила, от сына, он очень-очень далеко жил, «за колючей проволокой», говорили, и вот нашел ее. Она обрадовалась сначала, а потом, наверное, проволоки испугалась, что он поцарапается, всплеснула руками — и — улетела. К нему, конечно, сыночку своему, как птица, как Алечкина мама. Им теперь хорошо вместе, а Алечке немножко плохо, потому что никто ей больше не скажет: «Умница ты наша… найдется твой Павлик…»

А с Павликом у них целая жизнь была — длинная-длинная и очень короткая, потому что хорошая. Его в интернат привели, когда у него мама тоже улетела, а папа где-то потерялся, точно как у нее. У него тетя была, но она сильно заболела. Они тогда в восьмом классе учились, и Павлика за одну парту с Алечкой посадили. И в классе сразу стало светло, горячо, весело.

Павлика рыжим дразнили, а он золотой был. Когда солнышко светило ему на голову, то искорки сверкали, как от мамы когда-то. Он очень умный был и все-все на свете знал. Однажды он даже сочинение про Дон Кихота по-испански написал. Учительница сначала не поверила, а потом отнесла в университет, и там тоже сказали, что у Павлика «золотая головушка».

Алечка с Павликом и не разлучались больше, и с уроков вместе убегали — то в город, то в поле. И книжки вместе читали, и рисовали; он нарисует, а Алечка раскрашивает. Павлик звал ее Аленький Цветочек. Они и на школьных вечерах танцевали только вдвоем. Алечка летала, как пушинка, и смеялась. Девчонки на нее даже злились.

А еще они писали друг другу письма и прятали их в тайниках — в старом пеньке, на чердаке, под сиденьями стульев; и стихи сочиняли вместе — одну строчку она, другую он. Их так и дразнили: «Ти-ли, ти-ли тесто, жених и невеста!» Они не хотели разлучаться.

Когда они школу закончили, тетя Павликова поправилась, но не очень, и Павлик должен был к ней вернуться, чтобы за ней ухаживать. Он пошел работать на стройку и поступил в университет, на испанский язык. И Алечка пошла работать на завод, как и все их девчонки. Им даже койки в одном общежитии дали. Алечка через год тоже в университет поступила, только на русский язык, на заочное. И стали они с Павликом разлучаться понемножку, особенно когда в разные смены работали. Это смена виновата, что они потерялись.

Алечка помнит, много чего помнит, только рассказывать, кроме Семеновича, никому не хочет. Она со второй смены шла, одна, подружка ее, Полинка, на больничном была. И с ней тогда этот пошел. Она даже фамилии его не знает и имя забыла, его все Бугай да Бугай звали. Она его знать не хотела.

Ночь была темная, сырая, скользкая. Да, она упала, она просто упала, темно же, скользко, больно так было. А имени она его не помнит, не помнит, нет, нет, нет! Она не помнит, ничего не помнит… Все тело так болело, словно его разорвали, все нутро разорвали, и голова… И она стала дурочкой, она же ничего не помнит, и имени его не помнит, и лица… она просто упала… И болела так долго, что ее из университета исключили, а потом и с завода уволили, и из общежития перевели в этот дом. А он от города далеко, и Павлик ее потерял. Вот и все.

Она здесь целую вечность уже. Здесь хорошо. Поле за забором, можно ходить и вспоминать Павлика и как травки называются по имени. Только иногда бывает долго темно, так темно, что она не знает — на дворе уже осень или

еще зима? И ее знобит, просто зубы стучат. И тогда приходит Семеновна и поит ее горячим чаем и приносит пирожок, и гладит по волосам. Но она улетела, как мама. И теперь иногда приходит директор Виктор Иванович. Говорит: «Заглянул на минутку, как вы тут?» — и снова по делам убегает. Директора все боятся, но Алечка точно знает — он добрый. Просто он очень занят, и хоть командует громко-громко, а все сам да сам — и пилит, и красит, и доски носит. Все ж у них валится — то штукатурка, то ножки у стола, то…

Голова у Алечки делается темной не так уж часто, а когда ей светло, она пишет письма Павлику и теперь относит их Семеновичу, ему, как и Семеновне, можно в город ездить. Он тоже с утра до вечера носит доски, кирпичи, белит, красит. А к ночи идет в свою комнатку, там у него топчан, стол и стул. Семеновича тоже боятся, он самый сильный на свете, хоть и седой. Он санитаром работает, а заодно сторожем. И если Царь Бориска уж слишком забуянит, Семенович его или свяжет, или уговорит. Царь Бориска только его и слушается, сядет тогда смирно на кровать и воет, а говорит, что поет.

Алечка носит письма Семеновичу, но не читает, а рассказывает — про Павлика, про цветы, маму, Семеновну, — он же здесь никого не знает, он только весной пришел к ним жить. Семенович слушает Алечку и делается не такой угрюмый и хмурый, даже улыбается иногда. И тоже поит Алечку чаем. Себе заваривает черный-черный, от одного такого глоточка сердце у Алечки сильно бьется, будто веселится, поэтому Семенович заварку разбавляет кипятком.

О себе Семенович тоже рассказывает Алечке, и его историю она уже знает как свою. Он ведь доктором был и лечил маленьких деток. Он очень старался, и одна больная детка уже улыбаться ему стала. А однажды утром он прибежал на работу, и тут ему закричали — детка улетела! — как Алечкина мама. Он не помнит, кто закричал. А мама и папа этого детки кричали и плакали, и он тоже плакал. Он хотел детку спасти, а ему кричали, что он нарочно дал детке улететь. «А я не хотел, не хотел, я же спасал! Ты мне веришь?» Алечка верит Семеновичу, она знает, что он тоже хотел полететь вслед за деткой и вернуть, но его не пустили, а увезли далеко-далеко, и он стал работать в лесу.

Семенович сидит на топчане, горбится над кружкой с черным чаем и немного раскачивается. Алечка знает, как ему темно сейчас, скользко, больно и рвется нутро. И она гладит его по седым волосам.

Когда Алечка собирается уходить, Семенович говорит ей: «Заходите, Алечка, еще, я в другой раз заварю вам травок». Алечка кивает, она любит, когда он заваривает травки и рассказывает о них подробно — какие они с виду, где растут, какого цвета, когда собирать, и глаза у него теплеют и молодеют. Где-то видела Алечка эти глаза, где-то видела…

Теперь осень, Алечка ее любит и не любит. Любит днем, когда солнышко и сияют золотые искорки. И не любит, боится, когда темно, скользко, больно и вторая смена. Она тревожится, ее знобит, стучат зубы, она не помнит, не помнит — было темно, она упала, больно, очень больно, душно, Алечка не помнит себя и кричит, не слыша своего голоса, хватает кого-то за руки и бьется головой о стенку… Не помнить, не помнить!..

Сквозь туман и боль, издалека, доносится до нее голос Виктора Ивановича:

— Павел, Павел Семенович, скорее, Петровой плохо!

Алечка кричит и кричит, и от ужаса проваливается куда-то и долго, бесконечно долго летит в кромешной тьме, не умея различить, где небо и где земля. Она устала, она очень устала падать и лететь во тьме, она больше не может, у нее нет сил, нет… Наконец брезжит просвет, редеет туман, и она с трудом различает склоненное над ней лицо — и глаза, такие знакомые глаза.

— Павлик, это ты?

— Я, я, — горячо откликается Павлик.

— Ты нашел меня, да?

— Да, нашел, нашел, Алечка…

— А я не сразу тебя узнала, только по глазам. Ты не сердишься?

— Нет, что ты.

— Ты стал совсем седой, вот и не узнала. А почему ты не признавался?

— Я… я боялся, что такой седой репей тебе не нужен, ты же Аленький Цветочек, а я…

— Что ты, что ты, очень нужен! Я так хотела, чтобы ты меня нашел, — Алечка гладит Павлика по седой голове и робко улыбается.

— Не бойся, Алечка, я теперь не потеряюсь. Ты поспи, а я тебе липы заварю, хорошо? Вон какие ручки у тебя ледяные, поспи пока, все теперь будет хорошо, ангел ты мой…

Добрый день, господин Шагал…

Мы с Вами — почти родные. Судите сами. Я живу совсем недалеко от Вашего кровного Витебска, в теплом и мягком Минске — городе, не стране… Но сначала было так. Папа военный, у него крепкие руки, смешные галифе, майка и мяч, летящий под облака. Мне восемь месяцев, а тонкие березки вокруг просвечены солнцем и трепещут. Почти рядом — Татарский пролив, конец света.

Потом Урал, — за крошечным окном барака небо и свет заступают черные, грозные ели. Такая же огромная, под небо, стоит на Красной площади, только нарядная, веселая и добрая.

«Меркина, ты ж еврейка!» — ни с того ни с сего изрекает учитель труда почти весело. Белобрысенькая худенькая Лидочка меняется в лице и лепечет, готовая заплакать: «Нет, я не еврейка…» Учитель пренебрежительно отмахивается от ее слов, как от надоедливых мух. Я еще ничего толком не слышала о «евреях» и что они такое, но меня возмущает его злая «дразнилка», он же учитель, а мы четвероклашки, зачем он так? Я возмущенно встреваю в Лидочкину защиту: «Никакая она не еврейка!» — и получаю в ответ: «Меркина, Маркина — да обе вы еврейки! На -ин все евреи». — «Я русская!» Учитель смешливо фыркает. Про ум и сердце взрослых я тоже ничего еще не знаю. А учитель он совсем нестрогий, интересно учит столярке и слесарке, в турпоходах с ним весело и надежно. На своей личной машине он с женой и сыном любит путешествовать за Урал, до самой Москвы и даже в Прибалтику и с удовольствием рассказывает: «А дороги там — мчись не хочу!»

А вот что такое дороги, я знаю очень хорошо — мы тоже сменили поезд на машину (как буржуи все равно, и папу в дороге часто принимают за председателя совхоза, — у кого же еще могла быть в 60-е прошлого века такая невидаль, как голубенькая «Волга»). Скорость по Зауралью не более 20 км. Папа филигранно лавирует между ямами, из которых, случись что, никто нас в этой глухомани не достанет. За день пути лениво обгонит нас пара-тройка дребезжаще-скрипучих грузовичков, обдав грязью или клубом пыли. Зато в Оренбуржье — новое место папиной службы — возвращаться гораздо лучше — ровное поле на все четыре стороны света, зачем там дороги? — их там и нет вовсе. Просто следи за ходом солнца — и компаса не надо. Вот солнце уже опускается за заднее стекло, а родного Ясного — нашего гарнизона нет как нет. Но вот показался какой-то «пригорок». Слава богу, кошара, отара овец, а значит и люди живые.

С берданкой наперевес осторожно выдвигается к машине старый казах в огромном тулупе на голом теле. «Твой чего?» — настороженно спрашивает он.

«Отец, опусти ствол, скажи, как ехать на Ясный, знаешь? где военные…» — «Знай-знай! — кивает он и неопределенно машет в степь берданкой. — Рубашка давай? Многа давай! — вдруг удивляет он просьбой. — Дети многа, рубашка ёк», — кивает он на приковылявшего голопузика и молодую казашку с грудным младенцем на руках, показавшуюся в проеме юрты. «Штаны не нада, рубашка длинный — карашо», — смеется он. Мама достает папину майку: «А это подойдет?» — спрашивает она. «Давай-давай! Карашо! — утешается ата. — Вода давай? Бери-бери! — он широким жестом показывает на косой шест с привязанным стареньким ведром. — Машин ехал, вода брал, барашку воровал, не карашо… Ясный там, там…»

Мы трогаемся. Солнце скатилось за багажник, и разлилась пахучая прохладная тьма. И сказал Шагал: «Сноп звездных искр серебром по синему бархату неба — ударяет в глаза, проникает в сердце». Я увидела те же звезды.

Где-то далеко впереди резкой звездочкой прорезался огонек, и мы еще два часа ехали на него, загадав на удачу, что это и будет наш Ясный. Гарнизон спит, и только «светлая, колдовская луна кружит над крышами», вынырнув из-под детской руки Шагала. Стоило хлопнуть дверцами машины, как уже выглядывали из разных дверей сослуживцы и соседи, несли, не спрашивая, хлеб и колбасу, такие же вкусные с дороги, как и те, что снились художнику-мальчишке в бездомном Петербурге. «С приездом!» — они радовались так, будто мы вернулись из заоблачного Парижа и теперь им за нас спокойно. Мы вернулись домой. А «голубые звезды и фиолетовая земля» были такими же прекрасными и живыми, как и в Вашем Витебске, господин Шагал.

«Но я ухожу в свои мысли, взлетаю над миром». Снова и снова взлетаю…

Потом был студенческий, семейный и служебно-профессиональный Минск. И много новых друзей. Чернокудрая умница Валя, горячая и деловая Ариша, твердая и разумная Юлия Михайловна, душевно-отзывчивый и щедрый Михаил Наумович, спасающий в черную минуту любящим словом: «Солнышко мое, как ты?» Все они без вопросов приняли меня в еврейскую родню всем сердцем и окутали теплой заботой. Я думаю, Вас они звали бы Мариком, как и того малознакомого Марка, с которым довелось отмечать Новый год, его последний советский. Марик пел под гитару свои грустные русско-еврейские песни — перед вечной разлукой, перед отъездом в Израиль. Шли глухие 70-е, мы расставались навеки, надежды на встречу не было и быть не могло ни у кого!

Юлия Михайловна, тая отъезд от знакомых, вдруг сказала устало и весомо: «Пора и вам, Наташенька, возвращаться на родину». Я улыбнулась лукаво: «Да, я хотела бы вернуться в Россию…» Она глянула косо: «Что вы там забыли?» — «Родина…» — снова улыбнулась я, ничего не объясняя. В ночь ее скрытого отъезда она приснилась мне молодой, в красном сарафане на ярко-зеленой траве. Так мы простились.

«Наташенька, вы меня очень развеселили, и я всем цитирую ваше письмо, что Израиль страна маленькая и все люди ходят и здороваются друг с другом! А красный сарафан я действительно сшила перед самым отъездом!»

О, если бы я была еврейкой, я полетела бы в Иерусалим, только чтобы войти в Гефсиманский сад. Где страшной предательской ночью молился мой Господь, бедный Иисус, учитель из Назарета. Как жаль мне Его, одинокого среди сморенных мертвящим сном учеников. Ночь была беззвездная, знобкая, шептались оливы в страхе, и смертная тоска давила Его, как фиолетово-черная земля. Я сидела бы у Его ног, не сомкнув глаз, — но меня не было на свете еще две тысячи лет.

А когда я родилась, закричала и заплакала, по свинцовой воде Татарского пролива металась ледяная шуга и охрана на вышках стерегла черные провалы меж сопок, доверху забитые лагерными бараками. Там лежала густая тьма,

стоял скрежет зубовный. Там был загробный мир, приявший в свою утробу сотни тысяч заживо схороненных душ. И плакал о них Господь.

Порт Ванино — родина моя. Там всходило мое солнце, там улыбалась мне мама. И я научилась летать там, как летали вы с Беллой, скрипачами, раввинами, козами и хибарками благословенного допотопного Витебска вашего безмятежного детства.

Родного вам Витебска не осталось в живых, он погиб под бомбами, умер с голоду, догорел в пожарах и газовых камерах. И только гордая ратуша пережила времена горячих революций, бурлящего, голосистого нового времени и гнуснейших войн. Часы на ее башне мерно считали минуты до смерти тех, кто сидел в ее сводчатых подвалах, тесно прижавшись к плечу соседа. Ни встать в полный рост, ни лечь, ни расправить затекшие ноги, пока очередную партию не уведут на расстрел то кожанки, то мундиры. И не было там Вашего друга Орфея, чтобы вывести мучеников из ада и не оглянуться.

А в другом мире, на светлых парижских облаках Марик снова и снова рисовал витебских святых, босоногих горожан, зеленые косогоры над Двиной, колоколенки и лавчонки. Облака плыли по небу, раз за разом огибая земной шар, и зеваки всего мира задирали головы и вскрикивали: «Смотрите, смотрите, наш Марик опять разрисовал облака!» И люди взлетали следом за ними, парили, как я, обхватив руками коленки или вниз головой, как ангелы. Ангелы всегда летают головой вниз, чтобы вдосталь насмотреться на красоту земную там, у нас внизу.

О, я понимаю, почему в перезревшие, как грушки-дули, 80-е так забродили-вспенились минские чиновники от идеологии и культуры и попадали на амбразуру мощными дебелыми телами, закрывая тоненькую щель тома национальной энциклопедии, в которую готовы были просочиться простенькие слова: «…земляк наш — Марк Шагал», — и еще одно, пекучее — «гений»! Вы, господин Шагал, жили себе в блистательном, шикарном Париже, малевали, как дитя, на куполах и небосводах, нежно любили женщин, друзей, зверей и вино, своих евреев, ангелов и павлинов и знать не знали, какой это адский труд — хранить в священной и неприкосновенной чистоте и глухоте правоверную социалистическую идеологию и честь советского мундира! К тому же — хранители «чистоты» не умели летать в Париж, как птицы и сумасшедшие. И скорее откусили бы себе язык и проглотили зубы, чем крикнули неосторожно: «Смотрите, смотрите, это же наш Марик!» Чиновники были разумны и тверды более, чем камни Стены плача, а ваше сумасбродное «искусство не рассуждает, оно — расплавленный свинец, лазурь души, изливающаяся на холст», — вы же сами это сказали! Ах, господин Шагал, это просто зависть, она древнее Ветхого Завета и сокрушительнее Потопа. Она жабьего цвета и слизкая на ощупь. Пусть убогих пожалеет Господь… А вы, наш дорогой Марик, живете меж двух миров, ваше «небо без синевы гудит, как морская раковина, и сияет ярче солнца».

Ваша летящая любовь над городами и весями обрадовала меня несказанно, а перечитав вашу «Мою жизнь», и я поверила, что летать так же легко, как сидеть на крыше, играя на скрипке, когда распроданы селедки, выбриты щеки, научены дети молитвам и счету, а на земле, в убогом домишке, ждут тебя к ужину родные, и стакан янтарного чая с горячим рогаликом дожидается именно тебя.

Я летаю над землей темно-синими прозрачными ночами, чтобы не пугать прохожих, а звезды и облака окружают меня, как добрые знакомцы евреи, вписавшие меня в родню без вопросов и просьб — по щедрости душевной. Поют и плачут простенькие местечковые скрипки. Как невинное дитя, тешится красками Марк Шагал. Смотрит прямо в душу мою еврей Христос, сказавший некогда негромко, что нет ни иудея, ни эллина и что все люди — братья. Но до сих пор ему не верят хладнокровные…

ГАЛИНА КОРЖЕНЕВСКАЯ

Я новая стою перед весной

* * *

В мокрых листьях
шуршат воробьи,
Начинается дождь
то и дело.
Это осень
обновы надела
И наводит порядки свои.

Тишину
начинаешь ценить,
Когда иней виски покрывает,
Это осень от нас уплывает,
Это вечности
тянется нить.

Накопившему — время отдать
В этот искренний час увяданья.
Пониманье,
покой,
состраданье —
И для этого стоит страдать.

* * *

Вечерний мрак стекает сверху вниз,
В себя вбирая страхи и заботы.
Сверкают электричества огни,
Дома многоквартирные —
как соты.

Но в этих сотах — жизни, а не мед.
Грязь и невинность,
счастье и страданье.
Переплели рожденье и исход
Невидимые путы
мирозданья.

Тут пчел и трутней странный симбиоз,
Свои законы и свои порядки.
И тот, кто нынче взятка не принес,
Горланит песни
и пугает матку.

Я рада дню

Я рада дню,
что прожит не напрасно.
Я оглянусь с улыбкой вслед ему.
И пусть вокруг то пасмурно,
то ясно —
Я все приму,
я все как есть приму.

Я все приму: и дар, и наказанье,
Разлуки боль,
непониманья шок.
Само собой
слагается познанье —
Как этот безыскусный мой стишок.

И вновь —
куда девается усталость!
Я новая
стою перед весной.
Пусть день прошел.
Я в этом дне осталась!
И столько новых дней
передо мной!

Ночью

Наконец-то вырвалась
из суеты.
Покой в душе
не уместится.
Гляжу,
как просачивается сквозь кусты
ртутная капля
месяца.
Как антрацит, блестит темнота.
Как тихо в округе стало.
Ночь на деревьях и на кустах
отдыхает устало.
Но все это —
только зыбкая тень.

От жизни не отверчусь.
И вновь наступает новый день.
И вновь я в нем
суечусь.

* * *

Пока грехи не выгорят дотла,
Пылать огню,
привычно пахнуть сере.
Что человек без верности и веры?
Без зерен колос, печка без тепла.

Задуманный неплохо, только вдруг
Творцу разочарованно взгрустнется.
Как часто человек во лжи клянется,
Не брезгует подачкой с грязных рук.

И к пропасти спеша —
за шагом шаг, —
Грехи свои на нитку жизни нижет,
Не чувствуя, как пламя пятки лижет,
Не слушая, как крепнет звон в ушах.

Не ведая сомненья и стыда,
Он каждый день в угаре пребывает.
Продаст любовь и дружбу потеряет,
И сам себя угробит до Суда.

Черемуха

Она лепестки из букета роняла,
Лишалась устало и медленно
плоти.
Свое отцветанье она принимала,
Как фрукты и сладости — сытые гости.

Всему есть конец,
что имело начало.
Не нами придумна истина эта.
Болезненно, трудно ее постигала
Сердцами детей своих бедных
планета.

За гранью, за непостижимой чертою —
Кромешная тьма, обиталище тайны.
Мы там не бывали.
Туда лишь порою,

Случайно
полночные сны забредают.

И как только можем мы все помещаться
У Жизни в горсти!
Недовольная нами,
Она разжимает рассеянно пальцы,
И сыплется белыми лепестками…

Перевод с белорусского
Геннадия Авласенко.

* * *

Меня твоя поддержка окрылила,
Небесный воин наш, Архистратиг.
Я этот мир недавно полюбила,
Врагов своих простила
(даже их!).

Увидела я лица под личиной.
Знамения вокруг, где ни ступи.
И это не для гордости причина,
А только лишь напутствие:
не спи!

Перевод автора.

ГЕОРГИЙ МАРЧУК

Богдан любит Галю

Комедия

Действующие лица

Богдан Горбонос — 39 лет. Украинец.
Галя Сиротко — 32 года. Белоруска.
Иван Волков — 40 лет. Русский. Друг Богдана.
Агнешка — 35 лет. Полька. Дальняя родственница Галины.
Лилия Францевна — 40 лет. Доктор биологических наук. Не придает значения национальности.
Артем Кузьмич Шило — 55 лет. Санитарный врач. Космополит.
Эдуард (Эдик) Скороход — 28 лет. Специалист по маркетингу и рекламе. Не знает, какой национальности.

Действие происходит в начале XXI века.
Место действия — граница Украины и Беларуси.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

На фоне подсолнухов и голубого неба аппликация: с левой стороны — улыбающийся украинский казак с добрым куском сала на поднос; с правой стороны — улыбающаяся белоруска с бочонком меда. С одной стороны усадьба Богдана Горбоноса. Часть хаты-мазанки, крыльцо, плетень из лозы. На нем глечики, чугунки, стеклянные банки. От крыльца вглубь усадьбы растет хмель.С другой стороны усадьба Галины Сиротко. Часть дома с окном. Беседка под навесом. Стол, стулья — белая пластмасса, колодец. Посредине пограничная полоса. Две белые линии, уходящие к горизонту, к далекой церкви, которую тоже делят пополам. На авансцене два небольших пограничных столба: Украина, Беларусь. Иван стоит на табуретке и смотрит в большой морской бинокль в сторону усадьбы Галины. Через дистанционное управление включает радио. Звучат последние слова знаменитой песни: «Ніч яка місячна, зоряна ясная, видно, хоч голки збірай. Вийди, коханая, працею зморена, хочь на хвилиночку в гай».

Диктор. А сейчас передаем районные вести. Пограничники Пинска задержали вчера жителя Украины Богдана Т., который пытался перевезти контрабандой на территорию Беларуси свой товар. Находчивый украинец надел на себя шестнадцать трусов, четыре спортивных костюма и трое брюк. Внимательные пограничники задержали нарушителя, конфисковали товар, составили протокол и наложили на нарушителя законов денежный штраф.

Иван выключает радио.

Иван. Елки-палки, час от часу не легче. Уже и по радио растрезвонили *(глядит в бинокль)*. У-у… Хохол в бешенстве. Пора сматываться.

Прячется в подсолнухи за плетень.
Пауза.
Входит Богдан. В руках у него газета.

Б о г д а н. Подстрекатель! Провокатор, ходы сюды. Ах ты, москаль задрыпаны. Я тебя, як брата, на хуторы пригрел… а ты… выходь з хаты, кажу.

Г о л о с И в а н а. Я не в хате!

Б о г д а н. А где ты, голоштанник?

И в а н. Бить не будеш?

Б о г д а н. Не буду. Що писля боя кулаками махать.

Иван осторожно выходит из подсолнухов.

Засранец.

И в а н. Хто? Я?

Б о г д а н. А то я. Чытал? *(Подает газету.)* Як ты менэ зганьбив на весь свет.

И в а н. И читал, и слушал. По радио в новостях передавали.

Б о г д а н. Боже… и по радио? У, забью!

И в а н. Только без рук… Ты слово дал.

Б о г д а н. Гэто ты мне, москаль хитрый, за газ да нафту отомстил. Давал себе слово не верить идеологии москалей…

И в а н. Я хотел как лучше.

Б о г д а н. Разведчик хренов.

И в а н. Чего ты напялил на себя шестнадцать женских трусов и четыре костюма? Идея была блестящая… Надо было два костюма для начала и пять трусиков мини-бикини, а не рейтузов.

Б о г д а н. Хто там мини да стринги носыть. Все мини поихалы до столицы ды в Турцию, а остались бабы в годах, дородные. Хоч ты разумееш, што твой совет наробив? Репутацыя моя фермера, предпринимателя подкошена… и страшно, што про ее будет знать моя Галя, до якой я сватаюсь и кахаю десять лет. Вона ж мяне чакала со службы в армии.

И в а н. Ожидать — еще не значит любить.

Б о г д а н. Що робити, що?

И в а н. Это бизнес. Все учат… братья-славяне, учитесь торговать. Могу дать совет.

Б о г д а н. Нет! Хватит. Бильш твоих советов не надо. Иди дай совет Джэку, як до сучки подойти. И завтра ж вон з хутора.

И в а н. Не могу. Нет паспорта. И не могу найти рукопись книги-энциклопедии «Великие славяне». Обещали в России восстановить гражданство.

Б о г д а н. Я, как брата… Сало давал есть, не шкодував.

И в а н. Надо идти к ней в усадьбу, пока не поздно.

Б о г д а н. В смысле?

И в а н. Возьми бинокль.

Богдан берет бинокль и глядит в сторону усадьбы Галины.

Б о г д а н. Хорошая вещь.

И в а н. Это все, что приватизировал на флоте.

Б о г д а н. Як на долони.

В это время на крыльцо усадьбы выходит в купальнике Агнешка.

О-го, мисс-Беларусь. Мини.

И в а н. Это твои бикини, знакомый пограничник подарил из конфиската.

Б о г д а н. Не, это не Галя.

И в а н. Агнешка. Ее дальняя родственница из Польши. Узнала, что Галя приватизировала землю и болото, приехала учить бизнесу.

Б о г д а н. Откуда знаешь?

И в а н. Из достоверных источников. У нее на агрофирме отдыхает доктор биологии Лилия Францевна… смешная, но обаятельная… познакомился вчера.

Агнешка с полотенцем идет к реке.
Из дома выходит Артем Кузьмич и его племянник Эдик.

Б о г д а н. Мужики.

И в а н. А я о чем. Она на сайте выставила рекламу своей туристической усадьбы, вот первые бездельники и появились. Что у них на уме, мы не знаем. Две бабы, два мужика и ночь — союзница секса.

Б о г д а н. Фантазии. Если ты бабник, не все такие.

И в а н. Сейчас никому нельзя доверять.

Б о г д а н. Никому?

И в а н. Выходит, так. Время корысти, выгоды. Свобода нравов, никаких предрассудков, никакой морали.

Б о г д а н. А як жа щчасце?

И в а н. Для большинства это и есть счастье. Но ты всегда будешь счастлив.

Б о г д а н. Чаму?

И в а н. Потому что ты добрый.

Б о г д а н. Ай, пидлиза. Боишься, щоб з хутора не прогнав. Дармовое сало смачное.

И в а н. Не боюсь. За десять лет службы на флоте мы с тобой прошли огонь и воду. Паспорт оформлю и гайда на Волгу.

На крыльцо выходит Лилия Францевна.
Она в купальнике.

Б о г д а н. О, еще один стрыптыз.

И в а н. Лилия Францевна. Изучает фауну и флору болота… но, по-моему, дуреет без мужика.

Б о г д а н. Болотная мать.

И в а н. Похоже.

Б о г д а н. И комаров не боится.

И в а н. Комары нам помогают узнать измену женщины.

Б о г д а н. Як?

И в а н. Если есть следы укусов на одном пикантном месте… измена.

Б о г д а н. А дэ ж Галя?

Выходит на крыльцо и Галя.
Она в купальном костюме.

Бессовестная. Там же мужики.

И в а н. 30 градусов, жара… Надо идти. Уведут красавицу и глазом не моргнут.

Б о г д а н. Расстроил ты меня подозрениями. Может, любви и нема, может, это сны? Бог прыдумал таки дурман, щоб людей таким способом размножать. Я хочу от любви радоваться, а мне одни страдания.

И в а н. Мне это чувство не знакомо. У меня первой любви не было. Я увлекаюсь, но в сердце никого не пускаю.

Б о г д а н. И не ревнуешь?

И в а н. Если не люблю, чего ревновать.

Б о г д а н. А я до злости ревнивый.

И в а н. Хутор есть, хата ладная, хмель, сало, природа, на соседнем хуторе две незамужние сестры-близнецы… да ты самый счастливый в округе.

Б о г д а н. Без любимой половина счастья. Кошу траву — про нее думаю, чай пью — про нее думаю.

И в а н. А когда сало ешь?

Б о г д а н. Колы сало ем — про нее часово не думаю.

И в а н. Думы денег не требуют. Так идем к ним?

Б о г д а н. Боязно.

И в а н. Определяйся. Тебе через полгода сорок стукнет. Совет есть.

Б о г д а н. Давай.

И в а н. Мы придем вроде по делу. Откажет — наступай. Мол, твои пчелы летом через государственную границу на мой рапс, гречиху, акацию… Значит, по закону мед общий. Давай долю… или.

Б о г д а н. Или?

И в а н. Башка кирдык.

Б о г д а н. Кому?

И в а н. Пчелам. Отравлю, мол, всю пасеку.

Б о г д а н. Жестокая шутка.

И в а н. Это дело. Бабу иногда надо припугнуть или с другой шашни завести, чтоб она заревновала. Галя сирота. Ее отчим где-то в России. У нее обороны нет.

Б о г д а н. Складно говоришь. Давай костюм.

И в а н. Нет. Идем в тельняшках. По-деловому.

Б о г д а н. От нашего динамика музыка до них доносится.

И в а н. В ветреную погоду. Я и песню сочинил, пока один куплет (*берет гитару)*:

В океане на полгода
Нас пугает непогода.
Жизнь не мед, но слаще меда,
Если Галя ждет у брода.

Богдан подпевает последние две строчки:

Жизнь не мед, но слаще меда,
Если Галя ждет у брода.

Затемнение.

Картина вторая

Усадьба Галины Сиротко.

В халатах к беседке возвращаются из бани Артем Кузьмич и его племянник Эдуард, которого почему-то все начали звать просто Эдик.

Агнешка встречает их хлебным квасом.

А г н е ш к а. Дорогим гостям свежий квасок. Из натуральных ингредиентов, никаких биодобавок.

А р т е м К у з ь м и ч. Похвально, пани Агнешка. Каждый час какой-то неожиданный сюрприз.

А г н е ш к а. Европейские стандарты. Беларусь давно пора избавить от чувства какой-то неполноценности, несамостоятельности.

А р т е м К у з ь м и ч. Да, Польша совершила рывок в капитализм очень быстро.

А г н е ш к а. Может, не во всем да ладно, но стараемся. И на Западе, и на Востоке каждый ищет свою фортуну.

А р т е м К у з ь м и ч. Хорошо как! Кажется, триста километров от столицы… болото, комареча, а комфортно.

А г н е ш к а. Поставим спутниковую антенну, тридцать два канала, свобода всего. Интернет… к вашим услугам.

Э д и к. Банкомата нет.

А г н е ш к а. Будет. (*Агнешка уходит.)*

Э д и к. Тоска…

А р т е м К у з ь м и ч. Казино нет, потому и тоска. Мало просадил бабушкиных сбережений? Не нервируй меня.

Э д и к. Достоевский тоже играл в рулетку.

А р т е м К у з ь м и ч. Да. Но какие картины нам оставил.

Э д и к. Картины оставил Айвазовский, а Достоевский писал музыку. Могучая кучка.

А р т е м К у з ь м и ч. Не учи меня. Наше поколение в чем-то отстало. Из социализма вышли, но не всех пустили в капитализм. Одумайся. Даже если бабушка отдаст тебе всю пенсию за десять лет, мы не сможем вернуть банку твой кредит. Я больной старый человек.

Э д и к. В пятьдесят пять еще детей рожают.

А р т е м К у з ь м и ч. Не учи… я с собакой и с лекарством для жены на пенсию не проживу.

Э д и к. Сдайте собаку в приют.

А р т е м К у з ь м и ч. Ты мой племянник, а жалею тебя, как сына. Один выход — жениться на богатой. Вот почему я привез тебя сюда.

Э д и к. Но, дядя, полька хитрая и жадная, а хозяйка старая.

А р т е м К у з ь м и ч. Молодые все ударились в путаны на бульварах Мадрида и Парижа. Тебе скоро двадцать восемь.

Э д и к. Еще долго. Целых десять дней.

А р т е м К у з ь м и ч. Лучше Галины пары нет. Я ее с детства знаю. Она в овощном работала. Мешок бульбы на плечи и несет.

Э д и к. Она убьет меня. И потом — я дитя свободы. Здесь нет казино, ипподрома, ночных клубов.

А р т е м К у з ь м и ч. Идиот. Вот ползут две жабы — делай ставку, которая быстрее доскачет до бани.

Э д и к. Но, дядя, я к ней равнодушен. Полька более сексуальная.

А р т е м К у з ь м и ч. В темноте они все сексуальные. Выбирай. Или тюрьма за невыплату кредита, или женитьба. И потом можно через год, когда прокрутишь все дела, и развестись.

Э д и к. Она же мешок бульбы одной левой. Прибьет.

А р т е м К у з ь м и ч. Она у меня на крючке. Скоро истекает срок аренды земли… Нужны сертификаты на ее мед и прочее. Сейчас царь — санитарный врач. Видел, что молочные войны делают, а? Действуй… поухаживай за ней.

Э д и к. А можно раньше?

А р т е м К у з ь м и ч. В смысле?

Э д и к. Не ждать год до развода.

А р т е м К у з ь м и ч. Это зависит от тебя, мне важнее тебя от тюрьмы спасти.

Артем Кузьмич идет в дом.
Из бани в халате выходит Лилия Францевна.

Э д и к. С легким паром, Лилия Францевна.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Спасибо *(надевает очки)*.

Э д и к. А мы не встречались с вами в столице в казино?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Не люблю азартные игры.

Э д и к. И я осуждаю. Только интереса ради. Все уши прожужжали «Лас-Вегас, Лас-Вегас».

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Да, нынче все озадачены, как быстрее разбогатеть. Вот оно богатство — природа, неизученное болото.

Э д и к. У меня был один эколог. Лесом торговал. Посадили за то, что вырубал, но не садил. Вы не одолжите двадцать долларов, а то дядя не может разменять сотню? На пару дней.

Лилия Францевна достает конверт, из конверта вынимает деньги.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Ради бога… Птицы, звери, даже комары более свободны, они безразличны к доллару.

Э д и к *(берет деньги)*. Что вы говорите? И даже на своем языке не обсуждают индекс Доу-Джонсона и котировку Веника-Джексона?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Живут своей жизнью. Я не убиваю комара.

Э д и к. Это новость.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Пусть пьют кровь. Может, это небесная кара за грехи. Ведь это я приехала в его владения.

Э д и к. Все зло в частной собственности. Сказал, по-моему, Гоголь.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Платон.

Э д и к. Платон, который во Франции революцию сделал?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Там был Дантон.

Э д и к. Все зло в собственности, но почему-то все к ней стремятся.

Эдик уходит. Выходит Агнешка.

А г н е ш к а. Лилия Францевна, обед подавать в номер или будете со всеми в беседке?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Вы так любезны. В беседке. Люблю общество, людей, птиц, пресмыкающихся, комаров.

А г н е ш к а *(в сторону)*. Чтоб ты наелась этих комаров… Еще растрезвонишь в столице да отобьешь туристов. (*Лилии Францевне.*) В 16.00 экскурсия на болото.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Чудненько, мечта всей моей жизни — пройти через полесские болота.

Лилия Францевна уходит.
Входит Галина с газетой в руке.

А г н е ш к а. Галя, ты такая бледная… Что случилось?

Г а л я. Читай.

А г н е ш к а. Я без очков. Разогнали демонстрацию сексменьшинств в Тель-Авиве?

Г а л я. Хуже. Мой жених Богдан опозорился сам и опозорил меня. Его взяли с контрабандой на границе.

А г н е ш к а. Невелика беда.

Г а л я. Так взяли его с партией женских трусов, спортивных костюмов! Он пытался перевезти их, надев на себя.

А г н е ш к а. Неопытен. Не умеешь жульничать — не берись. Хороший повод поставить в ваших отношениях точку. Сейчас на твою усадьбу и руку сотни претендентов найдутся *(достает альбом)*. Вот, Яцек… предприниматель. Чеслав… домосед. Август или Августина… Трансвестит из Голландии не подойдет… Вот Тадеуш… Косит на один глаз, но никогда не бывает косой.

Г а л я. Потом… Мне не жених нужен, а любимый мужчина.

А г н е ш к а. Все эти любимые две-три ночи выдерживают, мне поверь… Я трижды была замужем.

Г а л я. Ты?

А г н е ш к а. Не хотела огорчать тебя. Обобрали как липку. Но ничего. Мы тут с тобой раскрутим бизнес, итальянские охотники приедут, сытые бюргеры захотят поползать в болоте. Деньги не пахнут, но надо знать место, где пахнет деньгами. Что твой Богдан? Видела его. Он хоть знает, в какой руке держат нож, а в какой вилку?

Г а л я. Он был старшим матросом на корабле. Кое-что повидал.

А г н е ш к а. Полез в контрабандисты. Мужчины не стоят того, чтобы из-за них страдать. Это козлы, которые не умеют ценить наши чувства. Мы раскрутим болото. Из торфа будем делать мази, шампуни.

Г а л я. Они идут.

А г н е ш к а. Кто?

Г а л я. Богдан.

Богдан и Иван подходят к пограничной полосе, с другой стороны к полосе подходит им навстречу Галя.

И в а н. Приветствуем граждан независимой Беларуси.

Г а л я *(сквозь зубы)*. Добрый день независимой Украине.

Б о г д а н *(Ивану)*. Чего она так официально?

И в а н. Характер показывает. Мы опоздали. Она все знает.

Богдан переступает линию границы, и вдруг раздается сигнал тревоги.
Богдан возвращается на свою территорию.

Б о г д а н. Що це таке?

Г а л я. А то, что на вас чип пограничный висит. Вход контрабандистам запрещен.

Б о г д а н. Послухай.

Г а л я. Говори. Оправдывайся.

И в а н. Я пока пойду на лужок… собаке сено накошу.

Иван уходит.
Отходит в сторону и Агнешка.
Богдан и Галя одни.

Б о г д а н. Я хотел продать одежду да купить запчасти к своему трактору «Беларус». Вам же помогал с экономикой.

Г а л я. Это же какие трусы надо было продать, чтоб запчасти к трактору купить… А почему сало не повез?

Б о г д а н. Ваши санитары не пускаюць… карантин, кажуць, свиной грипп…

Г а л я. Сказочник. Скажи, кто она? Эта женщина, которую ты ублажаешь.

Б о г д а н. Нет никого. Ты одна.

Г а л я. Была. Не верю, как говорит моя Агнешка…

Б о г д а н. Она завидует твоему успеху.

Г а л я. Во всяком случае, не предает, как ты.

Б о г д а н. Галя, я нес одежду и всэ.

Г а л я. Я вообще передумала замуж выходить. Перегорела. До тридцати тебя ждала… теперь продержусь и без мужика. Каждую неделю в гостиницу мужики приезжать будут. Ищи подходящую пару.

Б о г д а н. Галя, що я чую? Опамятайся.

Г а л я. Я свободная леди. Честь и достоинство ставлю превыше всего. А ты зробився посмешищем области… Все говорят… сексуальный маньяк.

Б о г д а н. Выходит, не было кахання?

Г а л я. Было, да сплыло.

Б о г д а н. Що, хиба война?

Г а л я. Да! *(Достает его фото, разрывает на части.)* Вот твое фото… пусть нас ничего не связывает.

Б о г д а н. Нас связывают твои пчолы, якия кормятся с моего рапса, гречихи, акации.

Г а л я. Они тоже свободны, как я. Летают где хотят.

Б о г д а н. А я потребую доли. Альбо не пущу их на мою зэмлю.

Г а л я. Как это, не пустишь?

Б о г д а н. Это мои проблемы. Думаешь, богатство тебе все заменит?

Г а л я. Разговор закончен.

Б о г д а н *(зовет Ивана)*. Иван! Иванко!

Входит Иван. Подходит к Гале и Агнешка.

Иван, купи мне отруту. *(Дает деньги.)*

И в а н. Богдан, из-за бабы травиться.

Б о г д а н. Отрута для пчол. А я поживу, погляжу, кого вона соби выбере.

А г н е ш к а. Ой, как нам страшно… Да я на тебя в Гаагский суд подам как на экологического преступника.

Б о г д а н. А нихто не докажа. Галя, не слухай яе. Вона тоби подсуне жениха альбо маньяка, альбо импотента. До побачэння.

А г н е ш к а. До видзення. Паментай, хлопак, цебе чека Гаага, мафиози.

Богдан и Иван уходят.

Не убивайся… ежели кахае, вернецца. Думай о деньгах, и любовь пройдет.

Затемнение.

Картина третья

Усадьба Галины Сиротко. Без изменений.
Агнешка сидит в кресле и звонит по сотовому.

А г н е ш к а. Яцек… Мне надо точная цена в Голландии и Франции. Черницы, грибы, лисички, клюква. Будут тебе и лягушки. Тут богатства на

сто лет. Бася везет мясо из Германии на минский мясокомбинат? Передай ей адрес, пусть завернет сюда… заберет грибы и ягоды. Милый мой, плачу наемным рабочим из соседних деревень по два евро в день. Все. Конец связи. Басю с Фридой ко мне. Целую.

Голос Лилии Францевны.

«Помогите! Помогите! Люди, помогите!»

А г н е ш к а *(спохватилась)*. Свенты Езус… что там такое *(уходит на крик о помощи)*.

На крыльцо выходит Артем Кузьмич.

А р т е м К у з ь м и ч. Кто кричал? Что случилось?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а *(она идет первой)*. Осторожно… Сюда… в тень.

А г н е ш к а. Боже, что с ней? Она без сознания.

Эдик несет на руках Галю.

Воды… нашатыря!

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Артем Кузьмич, сделайте что-нибудь, она ведь без сознания.

А р т е м К у з ь м и ч. Я не знаю, что делать… я ведь санитарный врач.

Агнешка водой обтирает лицо Гали.

А р т е м К у з ь м и ч. Дайте ей понюхать коньяк.

Г а л я *(приходит в себя)*. Где я?

А г н е ш к а. Дома, дома, родная моя. Успокойся.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Все произошло неожиданно. Мы отправились прокладывать по болоту новый туристический маршрут. Галина Онуфриевна нечаянно оступилась.

Э д и к. Всего шаг в сторону.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. И провалилась в трясину по пояс. От испуга и неожиданности потеряла сознание. А может, перегрелась. На болоте градусов пятьдесят. Не будь рядом Эдуарда, не знаю, чем бы все закончилось. Физически я женщина слабая, биодобавки не кушаю.

Г а л я. Мне уже лучше. Все хорошо.

А р т е м К у з ь м и ч *(подает ей рюмку коньяку)*. Коньячку… для бодрости. За героя дня, Эдуарда.

Э д и к. Просто Эдик.

А г н е ш к а. За твой поступок, благородный юноша. Мы продлеваем вам путевки на… один… на два дня.

Г а л я. На три дня.

А г н е ш к а. На два с половиной.

Г а л я. На три дня.

А г н е ш к а. Хозяйка усадьбы. На три дня… без ужина последний.

Агнешка уводит Галю в дом.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Я восхищена вашей смелостью. Вы лихой комар. Кстати, вам нравятся песни комара?

Э д и к. По-моему, он не поет, а пищит.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Не скажите. Каждому творец дал свою песню. Мы пока не способны понять их. Может, он поет о своей любви.

Э д и к. Особенно, когда напьется кровушки.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а (*задумчиво*). Может, поет о коллайдере, о сотовом телефоне, об осушении болот. А может, о путешествии, скажем, на Марс… Он может мечтать, как вы думаете?

Э д и к. Мечтать никому не вредно. Особенно комару.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Далеки мы еще от тайн природы.

Э д и к. Я должен был сегодня вернуть вам долг.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Забудьте! Во всех религиях приветствуется прощение долгов. За этот поступок я вам прощаю долг.

Э д и к. Вы так добры. Я не могу так… Я должен жить с чувством, что должен вернуть долг. Одолжите мне еще 20 долларов!

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Ради бога. О, у меня тут только пятьдесят *(заглянула в свой конверт)*.

Э д и к. Я разменяю в районе и привезу сдачу.

Берет конверт с деньгами.
Лилия Францевна уходит.

А р т е м К у з ь м и ч *(они остались одни)*. Ты ее не подтолкнул в эту болотную яму?

Э д и к. Дядя, вы уже совсем плохо обо мне думаете.

А р т е м К у з ь м и ч. Лихо. Все в нашу пользу складывается. Ты слышал вчера ее ссору с хохлом?

Э д и к. Не глухой…

А р т е м К у з ь м и ч. Теперь мотай на ус. Надо за успех. От ссоры двоих выигрывает третий. Ты убьешь пчелу…

Э д и к. Дядя, я на мокрое дело не пойду.

А р т е м К у з ь м и ч. Ладно, хлюпик. Убью я. В районе вложишь ее, мертвую, в конверт и отправишь сюда, на адрес Галины Сиротко.

Э д и к. Не понял прикол. Может, эсэмэской?

А р т е м К у з ь м и ч. Слушай, что говорю. Она подумает, что это подарок от Богдана, и еще больше отдалится от него.

Э д и к. Ладно. Сделаю. Дайте 10 долларов на марку.

А р т е м К у з ь м и ч. Расточитель. Женись, она женщина практичная, спасет тебя от страсти расточительства.

Дает деньги.
Артем Кузьмич уходит.
Эдик звонит по сотовому.

Э д и к *(звонит по сотовому)*. Яша… Это я. Глухомань непролазная. Аборигены еще наивные… не гони волну… верну долг, пару недель. Скажи, старик, в субботу на скачках кобыла Тычина заявлена? Выйдет на старт? О’кей! Я ставлю на нее. Брошу тебе из района по электронке. Сказал верну… Тут все может изменится в одночасье. Сегодня бедны, завтра богаты. Чао!

Обложили кредиторы со всех сторон, как волка. Дядя прав, могут описать имущество или — в тюрьму. По пьянке брать в долг нельзя. Не помню, кому и сколько. Все шакалы.

Эдик уходит.

Входят Агнешка и Лилия Францевна.

А г н е ш к а. Уснула. Сон тоже лечит.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. А вы знаете, пани Агнешка, какие первые слова крикнула Галина Онуфриевна, когда провалилась в болото?

А г н е ш к а. Мама?.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Нет. Богдан, Богдан, помоги!

А г н е ш к а. Задурил ей голову этот хохол. Уже десять лет… Пока он шлялся в портах, она тут прозябала в одиночестве. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется постоянно.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Он в моем вкусе. Запорожский казак с картины Репина. Я всю жизнь искала идеал. Если не эгоист, то пьяница, если не пьяница, то эгоист. А ваши поляки, как?

А г н е ш к а. Хватает всяких. Входят в моду гражданские браки и приездные.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. То есть как?

А г н е ш к а. Приезжают одни к другим, поживут неделю-две, пока не надоест, и разъезжаются.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. У нас такого нет.

А г н е ш к а. Будет. Мир без границ. Полная свобода, избавление от предрассудков.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Эдуард агент по рекламе и пиару, пишущий человек… Дядя говорит, что на роман замахивается. Я ему название клевое, рекламное для романа подсказала бы.

А г н е ш к а. Интересно, какое?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Страдания одинокого комара над ухом женщины, занимающейся сексом.

А г н е ш к а. Круто. Это продаваемо. Подскажите.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Он не увидит в этом скрытого подтекста. Я не люблю приставучих.

А г н е ш к а. Что ж, можете ходить нецелованной. Вам на полдник кофе или чай?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Кофе.

А г н е ш к а. Бразильский, чилийский, эфиопский?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Эфиопский.

А г н е ш к а. Два евро.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Тогда чилийский.

А г н е ш к а. Три евро.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Бразильский.

А г н е ш к а. Два евро.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Вчера был один евро.

А г н е ш к а. Поставщики обнаглели. Кризис.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Но почему-то кризис у меня в кармане, а не на стадионе Челси.

А г н е ш к а. Бразильский немножко недожарен.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Тогда чилийский.

А г н е ш к а. Немножко пережарен.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Придется взять эфиопский.

А г н е ш к а. Так и быть, уступаю два евро. *(В сторону.)* Милочка, ты хочешь быть умнее меня…

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. А дискотека будет?

А г н е ш к а. Все по плану. В субботу.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Люблю танго.

А г н е ш к а. Будет вам танго и болотный коктейль на ягодах.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. За коктейль евро платить не надо.

А г н е ш к а. Туристам не надо, а гостям два евро.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. А соседи из Украины придут?

А г н е ш к а. От них можно ожидать любой провокации. Придут.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Фантастика.

А г н е ш к а. Вы под чье пение любите после обеда вздремнуть: соловья, иволги, дрозда, ласточки, скворца?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Сказка. Соловья.

Агнешка включает через дистанционное управление магнитофон. Раздаются трели соловья.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Бесплатно?

А г н е ш к а. Первые полчаса, а затем за каждые десять минут.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Один евро?

А г н е ш к а. Откуда вы знаете?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Догадалась.

Агнешка и Лилия Францевна уходят.
В спортивном костюме выходит из дома Эдик.
Из сада идет Артем Кузьмич.
Артем Кузьмич достает из кармана конверт, кладет в него мертвую пчелу и отдает Эдику.

А р т е м К у з ь м и ч. Держи. В нем пчела.

Э д и к. Она точно мертвая?

А р т е м К у з ь м и ч. Не боись. Точно.

Э д и к. Дядя.

А р т е м К у з ь м и ч. Не убивал я. Нашел в цветах мертвую. Я труслив от природы.

Э д и к. Как ее фамилия?

А р т е м К у з ь м и ч. Галина Сиротко.

Э д и к. Может, адрес левой рукой написать для конспирации?

А р т е м К у з ь м и ч. Да хоть ногой. Мы должны поймать удачу за хвост… чувствую.

Э д и к. Дядя, она тяжелая. У нее руки штангиста. Будет бить.

А р т е м К у з ь м и ч. Молодо-зелено. Ласка юноши побеждает силу. Она тебя на руках носить будет. Действуй. Время не ждет.

Затемнение.

Картина четвертая

Усадьба Богдана Горбоноса.

И в а н *(один, напевает под гитару свою песню)*.

В океане на полгода
Нас пугает непогода.
Жизнь не мед, но слаще меда,
Если Галя ждет у брода.

Б о г д а н *(входит)*. Заткнись. Не капай соль на рану. Держи свой паспорт.

И в а н. Нашел?

Б о г д а н. Я ейго умышленно сховав. Хотел, чтобы ты у меня был свидетелем на свадьбе. Можешь возвращаться на Волгу.

И в а н. А книга?

Б о г д а н *(подает заказ)*. Вот и рукопись твоей книги. Только мы в эту энциклопедию великих славян не попадаем. У всякого свое лихо, и в мене не тихо.

И в а н. Будем гордиться теми, кто уже там: Пушкин, Франко, Кличко, Микола Тесла, Валуев… Может, еще родим кого-нибудь для этой книги.

Б о г д а н. Я пас… не нарожу.

И в а н. Да что ты, право, раскис из-за бабы. Ты мне напоминаешь поросенка, которого забыли зарезать.

Б о г д а н. А ты мне напоминаешь унитаз на пенсии. Жужжишь, як та пчела. Не могу я без нее жить, ничто не любо.

И в а н. Вижу. Любовь — это когда не говорят, а молчат, а вам все понятно. Так… паспорт есть, рукопись на месте, чемодан упакован. Одолжи велосипед… до железнодорожной станции.

Б о г д а н. Бери. Хоч до Саратова.

И в а н. Спасибо. Уйти по-английски или по-русски?

Б о г д а н. А яка разница?

И в а н. Англичане уходят быстро и незаметно, а русские берут на посошок сто грамм.

Б о г д а н. А по-украински як?

И в а н. Берут по сто грамм, закусывают салом и вареником и быстро да незаметно сваливают.

Б о г д а н. У, хитрец.

И в а н. До железнодорожной станции. Нема кому зробить вареники, давай по-русски.

Иван достает фляжку, наливает в стаканы спиртное.

Б о г д а н. На всэ добра.

И в а н. И тоби щасця.

Б о г д а н. Гляди, по-украински заговорив.

Выпили.

И в а н *(после паузы)*. Нет… не могу уехать, когда друг в горе. Ты же готов руки на себя наложить. Ты мне напоминаешь невытертые очки.

Б о г д а н. А ты мне напоминаешь… зажигалку в заднице.

Иван покатился со смеху.

И в а н. Два-ноль в твою пользу. У меня созрел план.

Б о г д а н. Давай, плановик, кажи, ужэ всэ одно.

И в а н. По субботам у них дискотека. *(Поет.)* Попробуй, а-а, попробуй джага, джага. Мы придем тоже.

Б о г д а н. Не. Не пиду. Я горды.

И в а н. На гордых международный валютный фонд нефть возит. В субботу день национального флага. Жители ближайших поселений могут свободно ходить через границу, навещать своих родных и близких. Ты возмешь свой флаг, а я свой *(достает российский флаг)*.

Б о г д а н. Откуда у тебя российский флаг?

И в а н. Это вторая вещь, которую я приватизировал на корабле, который мы передали вам. Верни наш корабль.

Б о г д а н. Прав не имею. Бери взамен все, что на хуторе. Не жалко.

И в а н. Вчера мне Лилия Францевна поведала, что дядя активно сватает за Галю своего племянника. Не исключено, что мы можем стать даже свидетелями помолвки.

Б о г д а н. Ты, Ваня, держи меня… будь все время рядом… щоб я чего-нибудь у этого прохвоста не оторвал.

И в а н. Думаю, Галя распознает, что это недоношенный хиппи и недоделанный байкер. И потом, она старше его на четыре года.

Б о г д а н. Возраст браку не помеха.

И в а н. Сказал Кощей Василисе Прекрасной.

Б о г д а н. Один-два в мою пользу.

И в а н. В субботу Преображение Господне.

Б о г д а н. Я слабоверующий. В церковь наведываюсь на Пасху.

И в а н. И я забыл, когда в церкви был. В Саратове решил креститься. Будешь крестным?

Б о г д а н. Буду, буду… Я крещеный. В Киеве в Андреевском соборе крестили.

И в а н. Ух ты! Тогда тебя счастье не обойдет. Не унывай, старший матрос, уныние тоже грех. Я тебе даже завидую — такая любовь в наше практично-экономическое время. Я вот не знаю, о чем с женщиной после постели говорить?

Б о г д а н. Не знаешь, о чем говорить, тащи опять в постель.

И в а н. Два-два. Знаешь, Лилия Францевна хоть и флиртует вроде со мной, но глаз на тебя положила. Все комарики, комарики, птички, бабочки, а нет-нет да и про тебя спросит. Как там у Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей».

Б о г д а н. Это к чему?

И в а н. Не звертай уваги на Галю, танцуй с Лилией Францевной. Будет ревновать, значит, победа за нами.

Б о г д а н. Твоя Лилия Францевна ростом за меня выше.

И в а н. Наоборот, хорошо. Грудь ее прямо перед твоими губами будет.

Б о г д а н. Молодец. Три-два в твою пользу.

И в а н. Так идем на дискотеку?

Б о г д а н *(после паузы, тяжело вздохнув)*. Куда денешься… Пойдем. Журбою не пакличу соби доли.

И в а н. Решено.

Затемнение.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина пятая

Усадьба Галины Сиротко.
За столиком Лилия Францевна и Галина пьют кофе.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Как я вам завидую, Галина Онуфриевна. Надежный бизнес в гармонии с природой, вдали от стрессов, информации, терроризма, отключения горячей воды.

Г а л я. Перебирайтесь к нам. Болота хватит. Можете и себе приватизировать.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Увы, увы… я дитя города. Со стороны взглянуть — нет проблем, кроме, как говорят, перхоти. Сорок лет, а выгляжу на…

Г а л я. На двадцать пять.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Правда? Я считала, на двадцать шесть. Я доктор наук. Машина «Хонда» шести лет. Двухкомнатная квартира с окнами на киностудию. С балкона звезд российских сериалов рукой приветствую. Семинары за границей. Все кинулись в юристы, экономисты, нефтяники, а про ботанику забыли. Ну, кто изучил, как влияет укус комара на кровообращение? Или, извините, на потенцию?

Г а л я. Действительно. Раз, два и обчелся.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Вот именно. А спросите: счастлива я на все сто? Ответ — нет. Агнешка вербует вас в клуб феминисток, мужененавистников… не поддавайтесь. Вам сколько, извините?

Г а л я. Тридцать два.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Опасная черта. Надо замуж… Всем нам надо… Как вам украинец Богдан?

Г а л я. Так себе. Гречка у него хороший урожай дает, и сало вкуснее нашего.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. В нем что-то от Тараса Бульбы. Кстати, почему русские неправильно переводят? По-русски надо Тарас Картошка.

Г а л я. Ага. Антошка, Антошка, пора копать картошку.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Но мне кажется, помани он меня пальцем, намекни, схватила бы его в охапку, на заднее сидение — и в столицу. Эти глаза с поволокой. Казацкие усы, эта вышиванка — они меня сводят с ума.

Г а л я. Так за чем же дело?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Проклятая женская скромность. Мы воспитаны, что инициатива должна исходить от них. Вот вам уделяет завидное внимание Эдуард. Достойная пара. Не от мира сего. Требует жалости. Женщине приятно кого-то лелеять, жалеть, не правда ли?

Входит Агнешка.

А г н е ш к а. Лилия Францевна, сауна готова. Инфракрасная, учтите.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Бегу, бегу. Обожаю сауну.

Лилия Францевна уходит. К беседке подходит Эдик с букетом роз.

Э д и к. Это вам. Гулял в окресностях и набрел на брошенный хутор, а там кусты роз.

Г а л я. Спасибо. Лет десять мужчины не дарили цветов.

Э д и к. Я в районе купил диски с триллерами. Вы любите страшилки?

Г а л я. Нет. Люблю комедии.

Э д и к. Есть и комедии. Приглашаю в свободное время на просмотр.

Г а л я. Если это свободное время найдется.

Э д и к. Я буду ждать.

Уходит.

А г н е ш к а. Правильно. Желание туриста — закон. Они разнесут пиар. Галя, поговори с Артемом Кузьмичом, ест, пьет, высыпается, а с подписанием документов на вывоз грибов и ягод в Польшу тянет.

Г а л я. Ты же сама учила, что без собственной выгоды нынче никто ничего не робить.

А г н е ш к а. У меня Бася вторые сутки в кабине фуры ночует. На кону большие деньги. Да, вот тебе письмо. Я достала из ящика.

Галя берет и распечатывает конверт.

Г а л я. Агнешка, погляди-ка, что в конверте!

А г н е ш к а. Что?

Г а л я. Мертвая пчела.

А г н е ш к а. У-у… насмотрелся «Крестного отца».

Г а л я. Никогда не ожидала от него такой гадости.

А г н е ш к а. От них всего можно ожидать.

Г а л я. Неужели из моих ульев? Так низко пасть.

А г н е ш к а. Ужас. Идет Артем Кузьмич, я удаляюсь… Помни о деле.

Агнешка уходит. Входит Артем Кузьмич.

А р т е м К у з ь м и ч. Люблю, знаете, после обеда часок вздремнуть. Сеновал навевает воспоминания о детстве.

Г а л я. Артем Кузьмич, у нас фура груженая стоит вторые сутки.

А р т е м К у з ь м и ч. Надо бы провести, как того требует инструкция, всесторонние анализы. А на это уходит неделя. Скажем, чтобы проверить мед — этого года он или прошлого.

Г а л я. Да этого года, этого. Чего ради мне обманывать.

А р т е м К у з ь м и ч. Так ведь на обмане нынче все держится. Он быстро загустел почему-то.

Г а л я. На рапс пчелы летали. Надо ж доверять, не все на обмане. А любовь, добро?

А р т е м К у з ь м и ч. Декларация для молодежи. Эх, если бы нам както породниться. Признаюсь откровенно, хочу вырвать племянника из хаоса города. Пропадает без контроля. А ведь башковитый. В уме умножает, как компьютер, трехзначные цифры. Феномен. Ему нужна такая женщина, как вы. Я понимаю, сватовство нынче умерло с фильмом «Женитьба Бальзаминова». Но капитализм строят семейные кланы. Эдик — парень нерешительный… вы росли сиротой, он без родителей… о, это объединяет. Извините, что я так в лоб, открыто. Ей-богу, вы замечательная пара. Пойдемте погуляем, покалякаем наедине.

Галина и Артем Кузьмич выходят.
Затемнение.

Картина шестая

Усадьба Галины Сиротко.
Агнешка проверяет, как горят разноцветные гирлянды.

А г н е ш к а. Ну как? Эффектно?

Г а л я. Очень красиво. Люди только с виду рациональны, а в глубине души все сентиментальны.

А г н е ш к а. А вечером будет божественно!

Г а л я. В Польше много верующих?

А г н е ш к а. Да почти все.

Г а л я. И что говорят о Боге? Кризис ведь всего, и духа тоже. Есть он или нет?

А г н е ш к а. Знаешь, как говорили древние? Мы не можем доказать, что он есть, и не можем доказать, что его нет. А ты что, в монашки намылилась? Договорилась с Артемом Кузьмичом?

Г а л я *(подает бумаги)*. Да. Держи документы.

А г н е ш к а. Что-то быстро он сдался. Неужели без взятки подписал? Не верю.

Г а л я. Поставил перед выбором: или тысяча долларов взятки, или объявление о помолвке с его племянником. Мы с таким трудом собрали эту тысячу долларов… мне жаль, в них и твоя доля. Согласилась на помолвку.

А г н е ш к а. Беспредел. Негодник, старый развратник. Ну, я отыграюсь с твоей помощью.

Г а л я. Не надо. Он будет способствовать мне в продлении аренды на землю. Она через месяц заканчивается.

А г н е ш к а. Повязал со всех сторон.

Г а л я. Нам надо дело удержать. Я уже была нищей и голодной, не хочу.

А г н е ш к а. Но не ценой чести. Может, он тебя маком угостил?

Г а л я. Терять нечего. Может, я назло Богдану… Он ведь уверен, что меня никто не возьмет.

А г н е ш к а. Ладно. Убеждать не буду. Фура спасена. Помолвка — еще не свадьба… Пойду в сад за яблоками. Еще не вечер. Ах, негодяй.

Агнешка выходит.
Слышен голос Богдана: «Галё, Галё».
Но Галя направляется в дом, а к Богдану в костюме пчеловода, с лицом, закрытым маской, с любопытством подходит Эдик.

Э д и к. Вы кого-то ищете… или мне показалось?

Богдан молчит.

Кто вы?

Б о г д а н *(женским голосом)*. Я подруга Гали из соседнего хутора.

Э д и к. Вы тоже фермерша?

Б о г д а н *(женским голосом)*. Да…

Э д и к. Открой личико, Гюльчатай… открой.

Б о г д а н *(приподнимает маску)*. Коли я открою личико, ты глаза закроешь. Ступай своей дрогой… не путайся пид ногами.

Э д и к. Так бы и сказал: я — Абдула.

Эдик уходит.

Б о г д а н. Галя. Галина Онуфриевна.

Г а л я *(выходит)*. А… контрабандист. Как ты границу перешел?

Б о г д а н. Ползком.

Г а л я. И не стыдно после всего?

Б о г д а н. Прости. Мне уже эти трусы в кошмарных снах снятся. Було колись.

Г а л я. Я о другом. Так жестоко поступают только враги.

Б о г д а н. Убей, не пойму, о чем ты?

Г а л я. Ты зачем прислал мне в конверте пчелу? Тебе, изверг, не жаль мою нервную систему?

Б о г д а н. Вот тоби одна рука, вот другая. Бери секиру, отруби обе. Пчолку не забивав, конверт не досылав.

Г а л я *(показала конверт)*. А это что? Чек на миллион долларов?

Б о г д а н. Покажи почерк. Не мой.

Г а л я. Легко изменить. Для конспирации попросил бомжа подписать.

Б о г д а н. Коханнем клянусь — не я это зробив.

Г а л я. А кто грозился это сделать?

Б о г д а н. Я бильш пожартовав. Коб ведав, то при людях крапивой по голой ж… заднице. Чи правда, що тебя сватають за племянника доктора?

Г а л я. Правда, и вопрос почти решен.

Б о г д а н. Гале, опамятайся. Я не забивав пчолу, люблю их, як тебя.

Г а л я. Как говорит Агнешка, не верю. Если б любил, так заботился бы о моей чести.

Б о г д а н. Да я ночами не сплю.

Г а л я. Может, в карты с Иваном до утра режетесь.

Б о г д а н. О тебе думаю.

Г а л я. Что-то волны кохання не долетают. Разговор окончен.

Входит Агнешка.
Богдан закрывает лицо маской.

А г н е ш к а. Кто это?

Г а л я. Сосед с Горыньского хутора. Сахар просил в долг.

Богдан молча уходит.

А г н е ш к а. Не могу успокоиться. Эта помолвка подрывает нашу независимость.

Г а л я. Он еще попросил пятьсот долларов в долг.

А г н е ш к а. О, Свенты Езус, он их никогда не вернет! А ты наивная. Из-за этого Богдана… соображать перестала. Так. Держи фотоаппарат. Следи за каждым моим движением на дискотеке и фотографируй… все время в кадре держи меня и взяточника-шантажиста.

Г а л я. Кого?

А г н е ш к а. Артема Кузьмича. Щелкай ежеминутно.

Г а л я. Что ты придумала?

А г н е ш к а. Секрет. Но и он потанцует под мою дудку.

Затемненне.

Картина седьмая

Усадьба Галины Сиротко.
Вечереет. Агнешка хлопочет с гирляндами.

А г н е ш к а. Черт знает, что в мире делается. Надежный вроде поставщик. Четыре не горят…

Г а л я. Да пусть мигают, господи…

А г н е ш к а. Хоть бы замыкания не было.

Галя ставит на стол букет цветов.

Г а л я. Богдан может починить, он на корабле электриком служил.

Входит Лилия Францевна. Она в эффектном платье с очень глубоким декольте.

А г н е ш к а. Браво, Лилия Францевна… Да вы голливудская звезда!

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Правда? Мне к лицу? Я специально в кедах, чтобы быть одного роста с Богданом. Когда мужчина танцует задрав голову, неэстетично. Соседи с Украины точно будут?

А г н е ш к а. Будут. Я гадала на картах.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Так вы еще и гадаете?

А г н е ш к а. Начинающая. Всего за пять евро… Все уже берут по двадцать.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. У меня просьба. Когда я приглашу на танец Богдана, включите, пани Агнешка, мою любимую, Ива Монтана.

Г а л я. А кто это? Из компании Баскова?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Был такой французский певец. Вот эту *(напевает)*. Слово любви не исчезает, если оно сорвано с губ, — ля, ля, ля, ля, ля, ля…

А г н е ш к а. Желание туриста для нас закон.

Лилия Францевна передает диск.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. А это бесплатно. Диск мой.

А г н е ш к а. Первый раз бесплатно, при повторе один евро.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Вот вам заранее один евро. Повторите сразу же.

Входят Артем Кузьмич и Эдик.

А р т е м К у з ь м и ч. Как настроение, красавицы?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Великолепное.

А г н е ш к а. Какое может быть настроение у одиноких женщин… вечная надежда на секс. А вы сегодня, Артем Кузьмич, бардзо пенкны. Мачо, мэн… красавец. И галстук.

Э д и к. От Версача.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Браво! Обещали вечер сюрпризов.

Э д и к. А… *(махнул рукой)*.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Почему вы грустите?

Э д и к. Трагедия. Я поставил на кобылу Тычину все бабки, а она пришла третьей.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Куда пришла?

Э д и к. На скачках. На ипподроме.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Не отчаивайтесь. Надо верить в лучшее завтра.

Э д и к. Когда в карманах нет зеленых, что-то с трудом верится в завтра.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Надо верить. Классики литературы нас этому учат постоянно. Вы хромаете? Радикулит?

Э д и к. Производственная травма.

А г н е ш к а *(Артему Кузьмичу)*. Вы сегодня прямо какой-то особенный...

А р т е м К у з ь м и ч. Вы находите? Стараюсь убежать от грозной старости.

А г н е ш к а. Господи, да вы привлекательнее молодых. Мужчина в расцвете сил.

Лилия Францевна. Я согласна. Молодежь отвратительна. Нет любви к природе ни у кого. Лодыри и наркоманы.

Артем Кузьмич *(Эдику)*. Ты заметил, как ластится полька? В этой глуши без мужика завоешь.

Эдик *(больше себе)*. Как меня подвела кобыла.

Артем Кузьмич. Ну какая она кобыла. Стройная… без лифчика ходит, глаза горят.

Осторожно входят Богдан и Иван.
На плечах у них повязаны флаги.
У Богдана — Украины, у Ивана — России.

Иван. Добрый вечер всем! Поголовно. Не помешали?

Лилия Францевна. Добрый вечер. Не начинали еще, дожидались вас.

Галя *(Агнешке)*. Погляди на него, опять в спортивном костюме. Маньяк какой-то.

Агнешка. Не обращай внимания.

Артем Кузьмич. Какой-то фригидный у вас наряд.

Иван. Дядя, сегодня же день национального флага… Мы любим и гордимся своим отечеством.

Агнешка. Ах, Галя, где наши флаги?

Галя. В доме.

Агнешка. Принеси.

Галя идет в дом и приносит флаг Беларуси и флаг Польши.
Галя и Агнешка повязывают на плечи каждая флаг своей страны.

Агнешка. Нет больше старшего брата и младшего. Все равны. Галина Онуфриевна, подавать коктейль?

Галя. Да, если кто желает.

Иван. Очень желаем. С повтором.

Агнешка разносит на подносе каждому коктейль.

Агнешка. Фирменный. Болотный.

Галя. Первый тост за именинницу. Это наш первый сюрприз. Сегодня у пани Агнешки день рождения и день Ангела.

Иван. О-па. А мы без подарков.

Лилия Францевна. Вы сами лучший подарок.

Артем Кузьмич. Оригинально. По такому случаю примите от меня подарок *(достает сто долларов и держит в руке над головой, чтобы все видели)*. Ваше здоровье.

Агнешка. Тронута. На брудершафт. На Западе все пьют на брудершафт.

Чокается с бокалом Артема Кузьмича.
Выпивают, и Агнешка смачно целует его в губы.
Галина фотографирует.

Галя. Помогайте мне. Сто лят, сто лят, нех жые, жые лят, сто лят, сто лят.

Все неумело, но подпевают.

Лилия Францевна. А сейчас танцы…

Агнешка включает любимую песню Лилии Францевны.

Это Ив Монтан. Какие слова, какая мелодия. *(Приглашает на танец Богдана.)*

Агнешка приглашает Артема Кузьмича, а Эдик приглашает Галю.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Какой божественный вечер. Вам нравятся слова этой песни?

Б о г д а н. Я не знаю французского.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Это о любви, которая пришла поздно, но навсегда.

А р т е м К у з ь м и ч. Чудный вечер. Все так неожиданно, как повышение зарплаты! Я, пожалуй, готов продлить путевку. Вы не возражаете?

А г н е ш к а. Это будет приятно во всех смыслах.

Э д и к *(Гале)*. Вы не улыбаетесь… У вас нет настроения? Может, передумали?

Г а л я. Нет. Все остается в силе.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Вы тоже из своего хутора делаете туристическую усадьбу?

Б о г д а н. Возможно.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Я вам готова поставлять клиентуру. Пригласите в гости?

Б о г д а н. Возможно.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Вы заметили, когда в воздухе носятся флюиды любви, нежности… комары не атакуют.

А р т е м К у з ь м и ч. Действительно, черт побери.

И в а н. Предлагаю выпить за день флага. И что-нибудь вместе спеть.

А р т е м К у з ь м и ч. Общего гимна больше нет.

А г н е ш к а. Только не Интернационал, умоляю.

Э д и к. Я безголосый. Во мне много кровей, не знаю, какой национальности. Почему соловей поет, а ворона нет?

И в а н. Потому что соловей любит малину, а ворона мясо, как и ты.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Неужели мы не споемся?

А г н е ш к а. У нас в Польше говорят, что ничего хорошего у вас здесь не будет.

А р т е м К у з ь м и ч. Почему?

А г н е ш к а. Потому что украинцы чванливые, русские недружелюбные, а белорусы завистливые.

Э д и к. А поляки?

А г н е ш к а. Себе на уме.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Не пугайте, мне страшно. Как жить дальше? Если любви между народами не будет.

А р т е м К у з ь м и ч. Это несколько преувеличено, народ разный, под одну мерку не подходит.

И в а н. Тогда выпьем за счастье каждого, из которого и сложится общее счастье.

А р т е м К у з ь м и ч. Надежный тост: за мир и дружбу.

Все выпивают.

И в а н *(берет гитару)*. Подпевайте мне.

Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня…

А р т е м К у з ь м и ч. Может, лучше «Цячэ вада ў ярок...»?
А г н е ш к а. Нет. Пусть поет «Подмосковные», это мировой шлягер.
И в а н. Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня…

Все подхватывают.

Трудно высказать и не высказать
Все, что на сердце у меня.

А рассвет уж все заметнее,
Так, пожалуйста, будь добра:
Не забудь и ты
Эти летние белорусские вечера.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Слушайте, слушайте. Эдуард запел.

Все затихли. Слушают Эдика.

Э д и к. Трудно высказать и не высказать
Все, что на сердце у меня.

Все аплодируют.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. А говорил, что безголосый. Что у тебя на сердце, признавайся?

Э д и к. Стыдно.

А р т е м К у з ь м и ч. Говори уже.

Э д и к. Кобыла Тычина. Она не пришла первой, будь проклят этот день.

А р т е м К у з ь м и ч. Проиграл материально, выиграешь духовно. Пора открыть присутствующим приятную новость.

И в а н. Давайте. Третий тост за женщин.

А г н е ш к а. Говорите, Артем Кузьмич.

А р т е м К у з ь м и ч. Имею приятное поручение объявить сегодня во всеуслышание о помолвке моего племянника Эдуарда и Галины Онуфриевны Сиротко.

Пауза.

И в а н. Вот так сюрприз. Согласие с обеих сторон?

Г а л я. Представьте себе, да!

Пауза.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Я приветствую создание новой супружеской пары. Создание новой семьи — это праздник для государства. Грех не выпить за Эдуарда и Галину. Ура!

Все вместе: Ура, Ура, Ура!!!

Выпивают.

А р т е м К у з ь м и ч. Вы отказываетесь за здоровье будущих молодоженов?

Б о г д а н. За здоровье выпью.

Выпивает.
Агнешка стреляет из хлопушки.

А г н е ш к а. Праздник продолжается *(включает гирлянды)*. А сейчас старинный польский обычай: Галя прикоснется губами к яблоку. Это яблоко с отпечатком ее губной помады мы положим в мешок с другими яблоками. Тот из мужчин, кто вытащит яблоко с ее губной помадой, получит право на последний девичий поцелуй.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Феноменальная оригинальность. Запад это Запад.

Галя прикасается губами к яблоку.
Лилия Францевна выступает в роли ассистента.
Агнешка перемешивает яблоки в мешочке.

А г н е ш к а. Яблоки особенные. Сегодня ведь Спас.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Аисты от нас.

А г н е ш к а. Каждый из вас достанет одно яблоко и спрячет его в ладонях до моего сигнала.

Э д и к. Вроде спортлото. Это я люблю.

Мужчины по очереди достают из мешочка по яблоку.

А г н е ш к а. А вы?

Б о г д а н. А надо?

И в а н. Тащи, закуска будет.

Богдан нехотя достает яблоко.

А г н е ш к а. А теперь всем внимание. Показывайте яблоки.

Э д и к. Я знаю, мне не повезет.

А р т е м К у з ь м и ч. Мимо.

И в а н. Без меня.

А г н е ш к а. Показывайте, Богдан, смелее.

Богдан показывает яблоко Агнешке.

Яблоко с помадой у Богдана! Судьба. Целуйтесь.

Иван слегка подталкивает друга к Гале.

Б о г д а н. Это игра. Я не верю в приметы *(выпивает коктейль)*. Счастливо всем погулять. Голова разболелась.

Быстро уходит.

И в а н. Не торопись, подожди.

А р т е м К у з ь м и ч. Взбалмошный какой-то. Помчался, как будто там делят Черноморский флот.

Пауза.

И в а н *(играет на гитаре свою песню)*.

В океане на полгода
Нас пугает непогода
Жизнь не мед, но слаще меда,
Если Галя ждет у брода.

А г н е ш к а. Праздник продолжается. Музыка.
И в а н. Есть консенсус: трое мужчин и три бабы.

Иван приглашает на танец Лилию Францевну, Агнешка танцует с Артемом Кузьмичом, Эдик с Галей, настроение которой не ахти какое.
Звучит танго.
Танцуют молча.

Затемнение.

Картина восьмая

Усадьба Галины Сиротко.
Курлычут в небе журавли.

Г а л я *(стоит на крыльце)*. Улетают. Рановато. Скоро длинные ночи… Люблю все же лето.

А г н е ш к а. Да *(она что-то подбивает на калькуляторе)*. Да кто ж его не любит. Подай мне договора.

Галя выносит из дома папку с бумагами и выгружает все на стол.
Входит Лилия Францевна.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Мне несказанно повезло: нашла редкий вид болотной травы. У нас в гербарии ее нет.

Приглядывается к бумагам на столе.

Откуда у вас мой конверт?

А г н е ш к а. Где?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а *(берет конверт)*. Эти конверты с маркой иван-чая — эксклюзив. Только у нас в университете. Я ведь несколько дней тому назад отдала его Эдуарду.

А г н е ш к а. Не понимаю. Разъясните.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Он попросил у меня в долг денег. Я ему с конвертом и отдала. Здесь адрес… *(открывает конверт и тотчас бросает его на стол)*. Ай! Ай! Спасите!

Г а л я *(с крыльца)*. Что случилось?

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Там… в конверте пчела.

Г а л я. Не бойтесь… она мертвая.

А г н е ш к а. Ты слышала новость? Этот конверт Лилия Францевна несколько дней тому передала Эдику.

Г а л я. Значит…

А г н е ш к а. Значит, Богдан к нему не имеет никакого отношения. Афера.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. В смысле?

А г н е ш к а. Это мы о своих делах. Вот вам другой конверт для травки…

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Я с детства боюсь пчел. Комары — это совсем другое. Это интеллигенты. Минуту-две жужжит над ухом, предупреждает, перед тем как укусить.

Уходит.

А г н е ш к а. Я все поняла.

Г а л я. Перед Богданом стыдно.

Слышен шум машины.

А г н е ш к а. А вот и Артем Кузьмич. Оставь нас одних.

Галя идет в дом.

А р т е м К у з ь м и ч *(с бутылкой шампанского и коробкой конфет)*. Это вам, пани Агнешка.

А г н е ш к а *(берет конфеты)*. О, «Коммунарка». Ее даже в Америке ценят. Как вы думаете, Артем Кузьмич, а совесть в мире осталась?

А р т е м К у з ь м и ч. Должно быть. Я редко встречал.

А г н е ш к а. Не знаю, ей-богу, что с вами делать.

А р т е м К у з ь м и ч *(игриво)*. Я весь в вашей власти.

А г н е ш к а. С вами не я, с вами будут американские власти разбираться.

А р т е м К у з ь м и ч *(иронично)*. Разве я похож на Бен Ладена?

А г н е ш к а. Не похож.

А р т е м К у з ь м и ч. У вас, западников, какие-то извращенные шутки.

А г н е ш к а. Это, увы, не шутка *(достает свой паспорт)*. Читайте.

А р т е м К у з ь м и ч. Я без очков.

А г н е ш к а. Так вы кроме того, что бессовестный, еще и без очков. Это американский паспорт. А вот мое фото. Я гражданка мировой державы США. Уже пять лет. А это *(включает фотоаппарат)* вам видно без очков? Вы целуете меня… обнимаете… обнажаете грудь…

А р т е м К у з ь м и ч. Когда?

А г н е ш к а. Фотоаппарат не лжет. Вы забывчивы. Пить надо в ваши годы меньше. После танцев у бани. По американским законам за сексуальное домогательство… подаю в суд. Готовьте десять тысяч долларов. Со Штатами шутки плохи. Достанут в Афганистане.

А р т е м К у з ь м и ч *(испуганно)*. Да я… Но… Все же… Может быть, это… большая сумма.

А г н е ш к а. Жена ваша… пойдет свидетелем. Галя — свидетель, у которой вы выудили взятку за продление аренды земли.

А р т е м К у з ь м и ч. Только не жена. Я готов…

А г н е ш к а. Значит, так… я убираю фото… в суд не подаю. Уничтожаю факты. Вот… Деньги на стол. 500 баксов, которые выманили якобы в долг у Гали… и тысячу долларов за то, что Бася ночевала в кабине фуры три ночи. 500 баксов мы передадим сиротам Конго.

А р т е м К у з ь м и ч. Так вы это… и гражданка Конго?

А г н е ш к а. Я гражданка мира. Гони деньги, развратник, вымогатель! А то президенту вашему напишу.

А р т е м К у з ь м и ч. Не надо! Все отдам… Все. Вот. До копеечки. Тут не хватает зеленых, можно белорусскими триста тысяч?

А г н е ш к а. Давай. А на документах на год вперед поставь печать и подпись.

А р т е м К у з ь м и ч. А…

А г н е ш к а. Вот. Фото уничтожено.

Артем Кузьмич ставит печать и подпись.

Вы свободны. Возьмите конверт с пчелкой, передайте племяннику… Галя! *(На крыльцо выходит Галя.)* Я тут сказала, что мы расторгаем помолвку с Эдиком. Артем Кузьмич не возражает. Даже денег дал, отступного, и документы на год вперед подписал.

Г а л я. Да. Расторгаем.

А г н е ш к а. А вы мне не верили. Не все на обмане держится. Не все!

Агнешка уходит с песней:

Ах, зачем эта ночь
Так была коротка.
Не болела бы грудь
Не болела б душа…

Галя идет в дом следом за Агнешкой.

А р т е м К у з ь м и ч *(один)*. Идиот… Так влип… Фу-у… идиот.

Входит Эдик. Приближается к столу.

Чей это конверт?

Э д и к. Мой, а что?

А р т е м К у з ь м и ч. Какой, к черту, твой… Я давал тебе другой конверт.

Э д и к. Какая разница. Я потерял тот по дороге. Пришлось ловить пчелу на городской клумбе. Я пострадал. Она ужалила в пикантное место… в задницу. Сидеть не могу до сих пор.

А р т е м К у з ь м и ч. Балбес. Ты все испортил. Они знают, что это дело наших рук. Собирайся, уезжаем сейчас.

Э д и к. А как же перспектива?

А р т е м К у з ь м и ч. Перспектива? Искать новую бизнес-леди, но глупее тебя.

Э д и к. Как прикажете. Только без пчел.

А р т е м К у з ь м и ч. Вот и приказываю.

Они идут в дом.
К столу подходит Галя и берет злополучный конверт с пчелой.
Входит Лилия Францевна.

Г а л я. Лилия Францевна, должна вас огорчить. Не смогу вам продлить путевку еще на три дня. Уже едет на ваше место новый турист.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Ну что вы! Я отлично отдохнула. И потом, если честно — деньги закончились. Не знаю, как за эти два последних дня рассчитаться. Подруга обещала выслать, но им задержали зарплату.

Г а л я. Я вам прощаю эти два дня. Не надо денег.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Это великодушно с вашей стороны. Спасибо. Были бы лишние деньги, с удовольствием пожила бы и на украинском хуторе.

Г а л я. Не стоит. Я вам его не отдам.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Хутор?

Г а л я. Нет… Богдана.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Поняла. Третий всегда лишний. Я, очевидно, родилась не под счастливой звездой. Не обижаюсь, я здесь ощутила немножечко счастья, а что еще надо одинокой женщине. Артем Кузьмич что?

Г а л я. Они сегодня уезжают.

Л и л и я Ф р а н ц е в н а. Чудненько. Пойду собираться. Захватят и меня. Спасибо. До свидания.

Г а л я. Прощайте. Счастливой дороги.

Затемнение.

Картина девятая

Усадьба Богдана Горбоноса.
Иван стоит на табуретке и смотрит в бинокль.
Чемодан Ивана стоит возле табуретки.

Б о г д а н. Ну, что там?

И в а н. Суета. Уезжают, по-моему, Артем Кузьмич с Эдиком… Точно. А с ними и Лилия Францевна…

Из дома выходят с чемоданом Эдик и с рюкзаком Лилия Францевна.

Б о г д а н. Что же с помолвкой?

И в а н. Видать, что-то расстроилось. Эдик даже не прощается с Галей. Их никто не провожает. Все. Уехали.

Б о г д а н. Где Галя? Не видно?

И в а н. Не видать.

Б о г д а н. Может, захворала, не дай бог.

И в а н. Да ее никакая хвороба не возьмет. Кровь с молоком. Ну что ж… Пора и честь знать. Билет заказан. Пора и мне. Держи. Дарю тебе бинокль.

Б о г д а н. Не надо. Не буду туда глядеть. Нервы только рвать.

И в а н. Бери. Гляди на небо, ищи Бога, благодари за жизнь. Я тебе премного благодарен за то, что на полгода дал ночлег и пищу.

Б о г д а н. Ты не сидел, помогал, спасибо и тебе. Оставайся. Гражданство украинское пробьем. Патриарх и тот не против украинское гражданство иметь.

И в а н. Спасибо. Не могу без Волги, Саратова…

Б о г д а н. Прости, если что не так. Будет плохо — приезжай.

И в а н. На родине плохо не бывает. Я твою песню выучил, могу пропеть *(поет)*.

Ридна мати моя, ты ночей не доспала…

Б о г д а н. Глянь!

И в а н. Что там?

Б о г д а н. Не к нам ли две женщины идут?

И в а н *(смотрит в бинокль)*. Они!

Б о г д а н. Кто?

И в а н. Галя и Агнешка.

Б о г д а н. Не оставляй меня одного, умоляю.

И в а н. Опоздаю на поезд.

Б о г д а н. Я такси оплачу. Не оставляй меня с ними наедине. Полька потребует контрибуцию.

И в а н. Ладно. Давай вино, сало, фрукты. Все на стол. Цветы.

Б о г д а н. Цветов нет. Одни лопухи.

И в а н. Давай лопуха. Постмодернизм будет. Отгоняй мух.

Б о г д а н. Куда гнать?

И в а н. К болоту, к болоту. Яблоки на стол.

Б о г д а н. Все червивые.

И в а н. Давай сливы. Перец.

Б о г д а н. Перец горький.

И в а н. Для красоты. Дизайн.

Сервируют быстро стол.
Идут в хату.
Пауза.
Входят Галя и Агнешка.

А г н е ш к а. Обратила внимание? Один хмель вокруг и ни одного цветка.

Г а л я. Сирень… не оставляй меня одну… Не контролирую себя...

А г н е ш к а. Милая моя, если бы мы контролировали свои действия — не рождались бы на земле дети. Это счастье, что тобой руководят чувства. Я очерствела. По-моему, только в седьмом классе было у меня такое. Где же хозяин? А-у! Люди… встречайте гостей.

Входит Иван.

И в а н. Какие люди! Не надо кричать, хозяин отдыхает. Захворал маленько. Поранился.

Г а л я *(взволнованно)*. Что-то серьезное?

И в а н. Не очень. Крови совсем мало было. «Скорую» не вызывали.

Г а л я. Господи, что с ним?

И в а н. Ничего страшного. Комар укусил в одно пикантное место. Лилия Францевна натравила. Она их тут дрессировала. Целился, целился, и именно в пикантное место.

А г н е ш к а. Куда? *(Пауза.)*

И в а н. В самый кончик носа. А вы куда подумали, бессовестная?

А г н е ш к а. Все хохмишь. Потому и денег нет.

И в а н. Мне дружба и братство дороже богатства.

Входит Богдан.

Б о г д а н. Добрый день дорогим гостям.

И в а н. Чем богаты, тем и рады.

Г а л я. Мы ненадолго.

А г н е ш к а. Ваня, покажи мне ваше хозяйство. Я впервые вижу, как растет хмель.

И в а н. С удовольствием. Экскурсия один евро.

А г н е ш к а. Ты быстро усваиваешь.

И в а н. Капитализм!

Агнешка и Иван идут осматривать усадьбу.
Богдан и Галя остаются одни.

Г а л я. Присядем?

Б о г д а н. Можно и присесть.

Г а л я. Или постоим?

Б о г д а н. Можно и постоять. Извини, я в спортивном костюме.

Г а л я. Тебе идет. Бог с ним. К лицу.

Б о г д а н. Подлецу все к лицу.

Г а л я. Я так не сказала. Больно было?

Б о г д а н. Когда узнал о помолвке?

Г а л я. Нет, когда комар укусил в кончик носа?

Б о г д а н. Меня комары не кусают.

Г а л я. Это Иван сказал. Может, это был малярийный комар.

Б о г д а н. Он у нас сказочник. Пропадает талант.

Галина подает конверт с пчелой.

Г а л я. Вот… принесла. Я пришла, чтобы сказать — прости… Я была неправа, это не твой почерк, и не ты прислал мне этот конверт.

Б о г д а н. Я знаю. А кто?

Г а л я. Это сделал Эдик с подачи Артема Кузьмича.

Б о г д а н. А, суженый.

Г а л я. Да никакой он не суженый. Ты не догадываешься?

Б о г д а н. Нет.

Г а л я. Тебе назло хотела… Все к одному. Ревность, слухи, эти бытовые неурядицы. Прости… Я причинила тебе боль.

Б о г д а н. Не смертельно. Дарую.

Г а л я. Ну вот… собственно, и все… Фура приедет... Вот еще фото — я склеила. То, которое порвала.

Б о г д а н. Может, примирение… У меня сливовка, сало.

Г а л я *(нерешительно)*. Времени в обрез.

Б о г д а н. Тогда угощайся… чем хочешь. Все тебе. Вот яблоко.

Г а л я. Это то, которое я поцеловала?

Б о г д а н. Оно. Кстати, мадам, за вами долг.

Г а л я. Не поняла?

Б о г д а н. Вы мне должны последний девичий поцелуй.

Г а л я. Не знаю, право, надо было тогда… вечером.

Б о г д а н. А поцелуи вкусны и днем. Держите слово.

Г а л я. А почему на вы?

Б о г д а н. Держи слово.

Г а л я. Ладно. Не люблю долгов.

Богдан и Галя целуются.
С обратной стороны хаты появляются Иван и Агнешка.
Иван с указкою.

И в а н *(пока не видит целующихся)*. А это вам кузнец Вакула и его возлюбленная Оксана.

А г н е ш к а. Мама… (*увидела целующихся*).

И в а н *(считает)*. Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять…

Г а л я. Любишь?

Б о г д а н. Одну и на всэ жыцця. А ты?

Г а л я. Одного и на всю жизнь. Какое это счастье жить, любить и быть любимой. И какое это чудо — жизнь!

Б о г д а н. Душа песни просит. У меня для тебя, Галочка, розы на снегу зацветут.

И в а н *(Агнешке)*. Сейчас запоет. Выйди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай… Это его фишка. Другой не поет.

А г н е ш к а. А-у, люди, мы здесь! Слушаем песню.

И в а н. Давай мое сало, а твой мед, будет радость целый год. Мы подхватим. Мне в дорогу пора. Засиделся здесь. Невесело на свете жить, коли нема кого любить.

А г н е ш к а. И вы уезжаете? Я ведь тоже… мне в Америку надо… бизнес… Звоните при случае.

Б о г д а н. Давай, Галя, споем нашу… помнишь, на танцплощадке на Заречной?

Г а л я. Помню, родной мой, все помню. Запевай.

Богдан поет:

Колькі ў небе зор, усіх не палічыць,
Толькі з іх адна найярчэй гарыць.
Гэта ты, мая зорка ясная, ты любоў мая непагасная...

Иван, Агнешка и Галя поют и повторяют последние две строчки.
Мелодия несется уже из-под облаков.
Ее подхватил симфонический оркестр.
На экране крутится земной шар.
Он весь из флагов стран мира.
С колосников спускают четыре флага: России, Беларуси, Украины, Польши.
На экране крутится в космосе Земля.
Вот она удаляется, оставаясь небольшим темно-голубым шаром
в темном космосе.

Звучит музыка.

Занавес.

Перевод с белорусского
Натальи Марчук.

ВИКТОР КУЦ

Песня волка

Был ранен волк,
я шел за ним по следу
с берданкою отцовскою в руках.
Привычку серого отлично
ведал —
Тянул к своей норе
наверняка.
В густом бору,
в болотистой низине,
под старым пнем —
барсучий тесный лаз.
Глухое место. С давних пор
поныне
Сверлит вам спину
чей-то острый глаз.
Тут логово и сделала волчица,
расширив нору для своих волчат.
Волк не желал к семейству торопиться, —
боялся навредить
и выдать сгоряча.
Он путал след, петляя в
чаще леса,
Пытаясь скрытно к логову
прийти.
И лес ему таким казался
тесным,
как будто кто-то перекрыл
пути.
На землю капли жаркие
ложились,
Еще немного — и померкнет
свет.
На лапу припадал, из сухожилий
тянулся нитью кумачовый
след.
Садился чаще, и скулил,
и плакал,
косясь на рану, словно на
врага.
И был в тот миг дворовой он
собакой,
Что предпочла сражению —
бега.
Но в нем жила отцовская
тревога.

И он взвывал, семье давая
знак:
«Я рядом, здесь, до вас совсем
немного,
но мне уже не добежать
никак.
Прости, подруга!
Береги детишек!»
И песня глохла за крутой
горой,
на куче старых перегнивших
шишек
упал беглец —
и оборвался вой.
Я брел по следу, думами
охвачен.
Как много тайн запрятано
в лесах!
Отважному здесь
верилось в удачу.
Таился в схронах, как звереныш,
страх.
Мой лес суровый, мы с тобой
все чаще
ведем лишь нам понятный
разговор.
Твои поляны и густые
чащи
имеют душу, а душа —
простор.
Мне сосны шепчут о былых
сраженьях:
здесь Калиновский вел
последний бой.
Свободы дух здесь бродит
в услуженьи
у вольнодумцев с горькою
судьбой.
Вокруг лишь топь да бурелом
столетий,
застойный воздух моросью
пропах.
И кажется, что все горчит на свете
от пототленных, выцветших
рубах,
в засохшей крови, в пятнах
бурых соли,
в заплатках свежих на
протертых швах.
Но люд восставший жаждет,
жаждет воли,
и сабельки надежные
в руках!

Ах, Калиновский! Ходят
твои песни
по этим тихим памятным
местам.
Среди болот, на островочке
тесном,
могучий дуб напоминает нам,
как скользкой гатью, лишь тебе
известной,
сюда спешили, кто остался
жив.
Им этот остров стал
последней песней,
а дуб столетний церковью
служил.
Под ним повстанцы
поклонялись Богу,
лечили раны и однажды
днем
ушли в свою последнюю
дорогу,
ту, что сейчас историей
зовем.
Я шкуру волка нес тогда
с охоты,
насквозь промокли в жиже
сапоги.
А над святым, с тех давних лет,
болотом
вновь волчий вой стоял,
как песнь пурги.
Волчица пела об убитом
друге,
тоской и скорбью был
наполнен вой.
Он плыл, как холод, по
лесной округе,
сжимая душу ледяной
волной.
И Калиновский, думал я,
не скрою,
меня назвал бы в этот миг
глупцом:
убил не зверя я с судьбою
воровскою,
свободу отнял, данную
Творцом.

МАРА ЛЕВИНА

Два рассказа

Волшебный вкус истины

Палевский Виктор Михайлович, тридцати пяти лет, был холостым (юридически) мужчиной оч-чень приятной наружности. Он не спеша шел по направлению к метро. День был славный, теплый, солнечный. Погода и плотный обед настроили Виктора Михайловича на добродушный лад.

«А девочка хороша, — думал он о девушке, с которой был сегодня в кафе. — Молоденькая, горячая, фигурка — высший класс. И смотрит влюбленно. Так и хочется ее поскорее...» Наедине с собой Виктор Михайлович выражений не выбирал. Это в глазах барышень надо выглядеть галантным, щедрым, великодушным, словом, «шикарным мужчиной». Набор необходимых фраз, взглядов и жестов имелся. До действий, особенно говорящих о его щедрости, Виктор Михайлович старался дело не доводить. Но сегодня изменил своему правилу. Купил даме ландыши и сводил в кафе пообедать. Обедал, в общем-то, он один. Дама предпочла кофе с пирожным. И то хорошо. Сэкономил... Сколько он сэкономил, Виктор Михайлович посчитать не успел, потому как, задумавшись, налетел на табуретку, где был разложен немудрящий товар уличной торговки: пилочки для ногтей, наборы иголок, бритвенные лезвия.

— Расселась тут! Проходу от вас нет! Куда только милиция смотрит! — накинулся он на сухонькую старушку, подбиравшую с земли рассыпанную мелочевку.

— Да где ж мне сесть-то, отовсюду прогоняют. А тут у нас место прикормленное. Худо-бедно, а к пенсии прибавка есть. Пенсия-то...

Но Виктор Михайлович, не слушая тихих, в землю, причитаний старухи двинул ногой по валявшейся табуретке и стал спускаться в подземный переход.

— Постой, милый, — низкий, с хрипотцой, женский голос заставил его оглянуться. Темноволосая, кареглазая женщина, похожая на цыганку, улыбаясь, смотрела на него. Одета она была вполне современно, а не в цветастую юбку до земли и платок. — Вижу, ты хороший, справедливый человек, любишь, чтобы порядок был. И переживаешь, расстраиваешься. Только один мало что сделать можешь. Успокойся, все образуется. И тебе счастье будет. А денег мне от тебя не надо. Я сама тебя наградить могу, — сказала она, заметив, что мужчина собирается уйти. — Вот, возьми. Чай хороший, полезный, и вкус у него волшебный. Спасибо мне скажешь. Только сам пей, никому не давай. Его так просто не купишь».

«Зачем мне этот чай, — как-то вяло подумалось Виктору Михайловичу, между тем как его рука сама собой потянулась за черной, с золотом, коробочкой. — Ладно, мне не понравится, подарю кому-нибудь в отделе». Пока он разглядывал написанные на упаковке странные иероглифы, одарившая его чаем женщина куда-то пропала. Ну и фиг с ней. А коробочка перекочевала в элегантный портфель Виктора Михайловича.

Вспомнил он о ней уже поздно вечером, когда полез в портфель за газетой. Открыв плотно запечатанную коробочку, Виктор Михайлович увидел внутри

что-то завернутое в золотистую, нежную бумагу. Маленький сверток был перевязан какой-то травинкой. «Вот гады, умеют делать эксклюзивные вещи. Нашим расти до этого, и расти», — подумал он и бережно развернул сверток. В нем лежал всего один маленький пакетик чая. — И это все? Виктор Михайлович почувствовал, что его бессовестно обманули. Не только бессовестно, но и нагло, просто... Просто в изощренной форме. Именно так. Но потом ему пришла в голову, как казалось, здравая мысль: «А вдруг не обманули, вдруг именно так и должен выглядеть супер-редкий чай? Все же Восток...» И предостережение цыганки о том, чтобы он никому не давал его пить, показалось смешным. Один пакетик всего. Кого угощать-то? Разве только дать отпить глоток-два. Вкус, говорила, волшебный. Ну да, потом пристанут, где взял, да где взял. Правильно, сам выпью.

Он вскипятил воду и залил кипятком пакетик. Вода в чашке стала розовой, потом темно-бордовой и, наконец, красивого орехового цвета. Вместе с цветом напитка менялся и его запах. Цветочный вначале, через некоторое время он напоминал пряный запах горячего грога. А с последним изменением цвета чуть ощутимый аромат ванили и шоколада вызвал в памяти вкус дорогого французского коньяка, которым его как-то угостил шеф. Он осторожно, обеими руками взял чашку. Еще раз принюхался. И, зажмурившись, осторожно отхлебнул. Коньяк... «...твою мать! Настоящий коньяк!» — охнул Виктор Михайлович, продолжая с наслаждением пить волшебную жидкость. Назвать ее теперь чаем было невозможно, но и коньяк в пакетиках — полная чушь. Между тем тепло наполнило его, голова легко и приятно закружилась. «Волшебный вкус...», — успел подумать Виктор Михайлович, откинулся в кресле и... уснул.

Спал беспокойно, вздрагивая и постанывая. Снилось, что давешняя старуха, у которой он перевернул самодельный прилавок, била его табуреткой по спине и голове. Рукам и ногам, впрочем, доставалось тоже. Во сне он убегал от бабки по длинной узкой улице, засыпанной песком, в котором вязли ноги, и старуха вот-вот его догонит. Двери домов, в которые Виктор Михайлович пытался зайти, никак не открывались. Люди, смотревшие из окон, улыбались и бросали вниз чайные пакетики, парившие над улицей маленькими парашютиками. Крик рвался из горла, но слышались только шипение и писк. Вдруг чья-то теплая ладонь легла на лоб, и мягкий голос сказал: «Витюша, сынок, полно тебе бегать. Гляди, вспотел весь. Простудишься, не ровен час». И такой покой нес этот голос, такую тишину, что Виктору Михайловичу захотелось заплакать, чего не было с ним лет двадцать, а то и более. И улица, и гадкая старуха куда-то пропали. Он стоял словно бы в сосуде, полном серого тумана, и видел через него женщину, очень похожую на вчерашнюю цыганку, голосом матери говорившую ему: «Еще спасибо скажешь». Потом пропала и она, и странный серый туман, и он сам. Сны имеют обыкновение заканчиваться.

Виктор Михайлович потянулся. Все тело болело, будто его и в самом деле кто-то поколотил. Он потер руками лицо и ему показалось, что ладони коснулись чего-то мягкого, вроде меха. «Вот, блин, в одеяло закутался, дышать нечем. Да еще и сидя спал. И не так все заболит». Впрочем, картина, которую он увидел, заставила его усомниться в том, что он не спит. Все вещи в комнате выглядели как на экране черно-белого телевизора. Цвет пропал, но зато ему показалось, что, не поворачивая головы, он видит гораздо больше справа и слева от себя. Виктор Михайлович собрался еще раз протереть глаза, но рука, потянувшаяся к его лицу, не была рукой... Небольшая, покрытая темно-серой шерстью лапка сжимала и разжимала длинные когтистые пальцы голой розовой кисти. Действительностью это быть не могло. Виктор Михайлович

бросился к зеркалу стенного шкафа в коридоре, по пути ударившись ногой о дверной косяк. Он взвыл от боли, но опять услышал вместо своего голоса только шипение и писк. Из зеркала на него блестящими круглыми глазами смотрело существо, совсем не похожее на человека: плотная серая шерсть покрывала вытянутую морду и туловище, мощная нижняя часть которого контрастировала с более щуплой верхней. Почти безволосыми оставались уши, ступни, кисти передних лап. И длинный хвост... Правда, три признака этого существа могли принадлежать и Виктору Михайловичу. Во-первых, рост. Во-вторых — две жирные складочки на животе и, в-третьих, первичные половые признаки, из которых явствовало, что эта особь — самец. Крыса. Щипать себя смысла не было, поскольку нога, или скорее лапа, ударившись о дверной косяк, реально и сильно болела. Он поплелся в комнату. Потом резко обернулся, опять сунулся к зеркалу. Почему-то широко открыл рот, сказал «Аааа!», показал себе язык. Ничего не произошло. Шерсть не опала, хвост не отвалился. «Я сошел с ума. Это единственное объяснение, — подумал Виктор Михайлович. — Но если это не так? Нет, будем считать, что так и есть. Иначе я все равно сойду с ума». Мысли в его голове свернулись в рыхлый клубок, в котором было множество голов и хвостов. Но найти, какой голове принадлежал какой хвост, не представлялось возможным. Вконец обессиленный, Виктор Михайлович упал в кресло. Так же, как в ночном кошмаре, ему захотелось плакать. Но на этот раз от безысходности.

Слеза и в самом деле смочила шерсть на его щеке, когда правым глазом Виктор Михайлович вдруг увидел на столе чашку. Сразу же все мысли нашли свое начало и конец. Может быть, вся беда от этого чая? Что эта... ему подсунула? Попался, как последний... попался! Где коробка? Ах, вот она где, под стол упала. Проворные лапы схватили черную коробочку с непонятными золотыми значками на ней. Почему же непонятными. Все ясно написано. «Чай «Волшебный вкус истины». Ох...еть. «Вкус истины»! Ах ты, ... ах ты и...! Виктор Михайлович матерился так, как никогда ранее вслух этого не делал. Но вместо матерных слов слышалось только «пи-пи», да «пи-пи». Однако мелкими значками было еще кое-что написано. «Этот волшебный напиток поможет вам познать себя. И, обретя в себе человека, обрести целый мир».

Как это? Как это познать себя и — чего там? — обрести целый мир? Буддизмом пахнет. Или чем-то подобным. Насчет «обрести в себе человека» так это они загнули. Чего тут обретать, когда я... Кто я? Виктор Михайлович посмотрел на свой хвост, пошевелил им. Шевелится, «пи-пи». Нет, не человек... А что есть человек? В голове завертелось «звучит гордо», «должны быть прекрасны и лицо, и одежда, и душа, и мысли» и даже «человек — царь природы». «Пи-пи» вам, а не царь. Сиди теперь, хвостом обмахивайся. Так, спокойно, Витя. Перечитай еще раз. Ага: «...поможет вм познать себя». Познали... Что же получается, я — крыса? Полная «пи-пи», «пи-пи». Да у меня высшее образование!

Диплом о высшем образовании и место в министерстве Виктор Михайлович получил в придачу к молодой жене, тестю-ректору и семейному однокомнатному гнезду в новостройке. Жить для себя лет через двадцать? Не те времена. Он сумел убедить свою тихую жену избавиться от первой беременности, а потом и от второй. После чего она вернулась к родителям. Квартиру оставила ему, не захотев затевать тяжбу по разделу имущества. И Виктор Михайлович, наконец, вкусил прелести жизни без обязательств перед кем-либо.

После смерти отца он отвез мать в деревню, к ее сестре. Пусть старухи вместе живут, им же веселее будет. Мать не сказала и слова. Собрала свои вещи, кое-какую мебель раздала по соседкам. Книги забрали в школьную библиотеку. С собой взяла альбомы с фотографиями, старые письма и люби-

мую папину чашку, с нарисованной внутри веткой красной смородины. Все оставшееся барахло Виктор Михайлович вынес на помойку. И переселился в родительскую квартиру. Все же две комнаты, а не одна. Центр города. Однокомнатную стал сдавать. Ездить в деревню к матери было недосуг. Три часа туда да три обратно. Считай, половина выходного угроблена. А там и вовсе тоска. Родни много, никого толком не знает. Только и был у них, что в детстве, еще до школы. Да вот когда мать отвозил и потом, на девятый по ней день. На похороны не успел, отдыхал в Турции.

Домой после поминок Виктор Михайлович вернулся с коробкой старых писем. Так и стоят теперь на антресолях. Тетка сказала, что мать до последнего дня их перечитывала. Там и его письма домой. Три. Из деревни, где гостил последний раз перед школой, из пионерского лагеря на Черном море и открытка из Праги. Мать ее всем показывала, гордилась, что сын может мир посмотреть. А вот он... Он не хранил ее писем. Все эти приветы от братьев-кумовьев вкупе с описанием дневных забот не интересовали Виктора Михайловича. И он выбрасывал письма сразу — почти не читая.

Нет, его жизнь однообразной и пресной назвать было трудно. Чего стоило одно продуманное на несколько шагов вперед построение карьеры. Как, кому и когда, а главное, что сказать. К месту пошутить, оказать услугу. Или просто скромно стерпеть начальственный разнос, а потом еще извиниться перед шефом. Итог трудов — место заместителя начальника отдела министерства в 34 года.

Виктор Михайлович вскочил с кресла и забегал по комнате. Ему казалось, что вот-вот, через пару минут все образуется. Но результатом беспорядочных метаний была еще раз ушибленная задняя лапа и обкусанные когти на передних. Обрести человека... обрести человека... Как это сделать? Когда-то мать говорила, что и за луковый хвостик уцепившись можно попасть в рай. Где ж этот хвостик найти?

Виктор Михайлович снова побежал по комнате. От окна к двери и назад. Нашел! Вот, писал же он матери. Есть вещественное доказательство. И даже назвал ее «дорогой мамочкой». Стало быть, любил. Правда, дальше было написано только «пришли мне сандалии. Витя», но все же от факта не отопрешься. Ага, что там еще? Серегу Болшева, конечно, подсидел. Где ты, высоколобый, теперь, ау! Но руки Серый на себя не наложил, работу другую нашел, семья осталась при нем. Так что, может, он благо сотворил, выжив Болшева из министерства. Если подумать, то и женщинам с Виктором Михайловичем везло. Так бы матерями-одиночками были, косые взгляды на всю жизнь обеспечили себе и детям. Но он их от этих глупостей оберег, некоторые потом и замуж вышли. А эту, последнюю, так и вообще не тронул. Не успел. Но должно зачесться. Должно-о-о-о. Что еще? Ну, макулатуру и металлолом собирал? Собирал. Правда, у соседки из общего коридора батарею стащил. Для ремонта хранила. Так ремонт когда еще будет, а его класс первое место занял. Помог коллективу? Помог. А тот случай, когда нищему кучу денег отвалил, почти половину выигрыша в казино? Шеф затащил, отказаться неудобно было. Но фортуна не обманула, выдала по полной. Там же, в казино, половину выигрыша пропил, а половину в метро отдал слепому парню с обожженным лицом. Правда, заставил его в жмурки играть, но выигрыш тот получил честно. Кажется, все. Должно хватить.

Виктор Иванович опять уселся в кресло и стал ждать. Он ждал и прислушивался к себе — вдруг перемены уже начались. Ну, конечно, он зря волнуется. Крысой-то за ночь стал, а тут всего ничего времени прошло. И потом, он тогда чай пил. Взгляд его левого глаза нашел на столе чашку. Из нее до сих пор свисала ниточка с ярлычком. Значит, пакетик еще там! Вот, пи-пи.

Надо было, пи-пи, оставить еще на одну чашку. Может, и шерсти поменьше бы выросло, и легче бы назад в себя вернулся. Жаден. Но попробовать стоит. Он вскипятил чайник, залил сухой и сморщенный пакетик кипятком и уселся ждать. Вода стала сначала светло-желтого цвета с травяным запахом, потом позеленела и запахла тиной и, наконец, стала мутно-коричневой жидкостью с запахом гнилых яблок. Но нельзя сказать, чтобы Виктору Михайловичу этот запах был отвратителен. Наверно, для обратного превращения он как раз подходил. Чашка была осушена до дна. После минутного размышления следом за чаем был съеден пакетик с ниточкой и ярлычком. Ни опьянения, ни головокружения, ни тяги ко сну. Шерсть на месте, хвост, пи-пи, тоже. Усидеть Виктор Михайлович не мог. Он снова побежал, теперь уже по двум комнатам, коридору и кухне. Дыхание участилось, глаза покраснели. Но процесс очеловечивания все не начинался. И если раньше ему хотелось плакать, то сейчас по самый кончик лысого хвоста Виктора Михайловича заливала злость. Он шипел, клацал зубами и в прямом смысле лез на стену. Потом стал биться об нее головой. Биться до состояния полного отупения. Наконец упал.

Он пришел в себя вечером. Болели голова, руки и ноги. Так было и после первой чашки чая, подумал он. Надежда на то, что с ним начали происходить долгожданные изменения, толкнула к зеркалу. Но оттуда на него смотрело существо, по-прежнему мало похожее на человека. Голова была разбита, темная струйка уже засохшей крови шла от круглого уха до заплывшего правого глаза. Левый смотрел с жадным интересом. Интерес, впрочем, исчез быстро, возникла тоска. Что же это? Почему?

Или луковый хвостик оказался гнилым? ...Большая серая крыса медленно прошла в комнату и легла на диван. Передними лапами обхватила морду, задние поджала к брюху. Она хотела только спать, спать, спать. И никогда больше не просыпаться. Последней ее мыслью, перед тем как уйти в спасительный сон, было: «Обрести в себе человека невозможно. Потому что место есть только для крысы…»

Тосканское розовое

Ив любила розовое вино. Мало кто понимал это ее пристрастие. Жить во Франции и любить розовое? Понятно, если бы красное. Или белое. Но розовое, прованское, которое только на пикнике под барбекю и идет? Все это несколько отдавало плохим вкусом. Вот если бы она сказала, что обожает розовое шампанское, никто бы не возразил. Ну и пусть. Она совершенно не собиралась объяснять им, что розовое вино самое «честное», ошибиться в нем гораздо сложнее, чем в любом другом. И цена вполне соответствует качеству. Что до качества вина из Бандоля, то сомнений оно у Ив не вызывало. Чуть пряное, темно-розовое, оно оставляло приятное ягодное послевкусие. А рыжеватый отблеск в глубине полного бокала напоминал рыжинку ее темных волос. Так говорил ей... Совсем не важно, кто ей это говорил и говорил ли вообще. Не потому она ждет официанта, которому вино заказано, что кто-то когда-то что-то сказал, а потому, что именно такое любит. Есть возражения? Нет.

Официант возник за ее плечом.

— Синьора, я весьма сожалею, но заказанное вами вино закончилось. Мы ожидаем его поступления на днях. Вы позволите рекомендовать вам другое вино?

— Вот не предполагала, что мне нужно резервировать для себя вино на неделю вперед, — сказала Ив, обернувшись на голос. Она успела заметить

взгляд чуть наклонившегося к ней молодого человека. Надо сказать, весьма откровенный взгляд. Впрочем, вырез ее платья был тоже не монашеским, и грудь в его обрамлении выглядела весьма привлекательно. «Да, мальчик, смотри. Смотри на эту роскошь, следуй за указателем главной дороги в виде золотого крестика (прости меня, Господи!). А куда он заведет — решать не тебе».

— Так что вы рискнете мне рекомендовать?

— Сеньора предпочитает розовое прованское вино. Но тосканское розовое не хуже. Вы останетесь довольны, уверяю.

— Хорошо. Но, если оно мне не понравится...

— ...Вы можете за него не платить, — закончил фразу официант. И добавил, что их заведение заботится о своей репутации.

— Приятно слышать. Я тоже. Надеюсь, что не разочаруюсь в тосканском.

Официант удалился. Ив от нечего делать стала смотреть в окно. Машины, пешеходы, немногочисленные пока туристы. Во Флоренции их наплыв будет позже. Вечером ресторанчики и кафе заполняются в основном местной публикой. Семьи, друзья, влюбленные пары. За окном остановилась, похоже, такая вот пара. Мужчина лет тридцати с небольшим и молодая женщина. Оба черноволосые, кареглазые. Она, улыбаясь, что-то быстро говорит и вот уже смеется, он слушает и смеется вместе с ней. Потом обнимает ее за плечи и целует. Взгляд мужчины встречается с взглядом Ив. Ресницы чуть дрогнули, но подругу целовать не перестал. Молодец. Наконец они заходят в ресторан и выбирают столик через один от того, который занимает она. Выбирает он, усаживая подругу спиной к Ив. «Да, шито белыми нитками. Что тебе нужно? Смотреть? Ну, смотри. Смотри в зеленые глаза. Ведьмины глаза. Так называл их когда-то... Какая разница теперь, кто их так называл».

Официант приносит вино. Цвет малиново-розовый, нежный. Запах приятный, легкий. И на вкус хорошее. Разворачивается во рту как бутон.

— Я заплачу за него, — говорит Ив.

— Рад был угодить вам, синьора.

— Почему?

— Синьора очень красива.

— Я знаю. Это повод?

— В Италии, да.

«Улыбается. Бог с тобой. На, лови улыбку-бабочку с краешка розовых, некрашеных губ». Она не пользовалась декоративной косметикой и почти никогда не носила украшений. Красивой женщине все это не нужно. Уже неважно, кто ей это говорил и говорил ли вообще.

Официант подошел к столику, занятому влюбленной парочкой. Интересно, считается, что она влюбленная, если таковым является только один из партнеров? Явно это женщина. Она совсем не замечает взглядов, которые бросает в сторону Ив мужчина. Что-то говорит ему и, взяв сумочку, поднимается с места. Носик пошла припудрить. Или зачем-то еще, но «припудрить носик» все же приятнее звучит. Мужчина продолжает делать заказ официанту и что-то спрашивает у него, глядя на Ив. Тот коротко оглядывается и отвечает на вопрос. Через пару минут перед мужчиной стоит бокал розового вина. Подруге заказано белое. И десерт. Клубничное мороженое. Взгляд поверх бокала, легкий кивок. «Хочешь так? Ну что ж, почему бы и нет? Пей вино и смотри, как пью его я. Почувствуй, как оно просачивается между губами, становясь от этого теплее, как наполняет рот и течет в горло. Да, правильно. Ты чуткий. Тебе многое не надо объяснять. Как тому, кто когда-то так же говорил о ней...»

— Синьора, еще вина?

— Да, пожалуй. И еще принесите немного холодной телятины.

Тем временем молодая женщина вернулась к своему другу. Потянулась через стол, чтобы поцеловать его, и испачкала майку мороженым. Расстроилась, конечно. Мужчина взял салфетку и стал вытирать пятно. Но рука его двигалась медленно, скорее размазывая десерт по ее груди, чем аккуратно собирая его. При этом смотрел он вовсе не на пятно, а, через плечо своей спутницы, на Ив. Хорошо, что подруга не видела его лица. Когда-то Ив сама не хотела смотреть на ласкавшего ее мужчину. Скорее всего, он так же смотрел и на свою жену, и на других женщин, которые были с ним в постели. Зачем ей это знать? Это не прибавило бы ей счастья и уверенности в себе. Ей было хорошо. Да и ему тоже. Он так и сказал: «Дорогая, нам ведь было хорошо вместе?» Фраза на все времена. Подводящая черту подо всем, что бы ни связывало двух людей годы или неделю. Что возразишь, если все так и было? Только и могла сказать: «Конечно, милый». И улыбаться, улыбаться... Сара Бернар умерла бы второй раз, разумеется, от зависти, увидь она эту сцену.

«Сколько можно цедить бокал вина? Ей пора идти. Завтра утром она улетает домой. Нужно сложить вещи и постараться выспаться. Или хотя бы уснуть. Чаевые официанту, оплатить счет… что еще? Ах, да. Кивнуть итальянскому мачо. Чао, дружок».

Ив прошла между столиками, накинула плащ и вышла на улицу. Скоро будет совсем темно. До отеля десять минут ходьбы медленным шагом. Быстрым — пять-шесть. Хочется скорее закрыть за собой дверь номера и избавиться от уличного шума. И душ. Горячий душ.

В номере Ив сбросила туфли, кинула на кровать плащ, сняла платье, трусики и отправила их к плащу. Босиком прошла в ванную, подбирая руками волосы и закалывая их на затылке. Смуглая, с медовым оттенком, ее кожа была упругой и нежной. Вода из душа струйками стекала по узким плечам, прямой спине, крутому изгибу бедер, который подчеркивал тонкую талию. Украшением полной высокой груди были два чуть смотрящих вверх розовых соска. «Он говорил ей, что попался на эти «крючочки»... Врал. А может, и нет. Какая теперь разница?..»

Она закрутила кран с горячей водой и теперь стояла под холодной, обжигающей тело. Именно обжигающей. Мурашки, покрывшие кожу, быстро исчезли. Если представить себе, что из душа льется кипяток, то станет даже жарко. Эффект плацебо. Все в этой жизни заранее известно, все повторяется. И сегодняшняя встреча с парочкой в ресторане тоже не была случайной. Стоило ей приехать во Флоренцию, стоило... Мучиться пять лет, стараться размазать в памяти ту жгуче-яркую неделю. И размазывала, как мужчина клубничное мороженое по груди спутницы. Мучительно содрогаясь оттого, что заново переживала. Переживала или пережёвывала? В сущности, ее ситуация была так похожа на подсмотренное общение этой пары в ресторане. Она любит. Он ласкает ее, целует и ищет взгляд другой женщины. «Нам ведь хорошо, дорогая?» — «Нет, милый, плохо. Очень плохо. И не надо обманываться».

Ив вышла из душа, набросила на себя пушистый халат. Вещи соберет завтра, их не так много. Похоже, поездка пошла ей на пользу. Не те бесконечные, всплывающие в памяти картины прогулок, поцелуев в подземных переходах, на мосту, в музее и объятья ночей. Нет. Эта встреча в ресторане. Она была необходимой ей точкой. «Дайте мне точку опоры?..» Так бери, вот она. И поворачивай свой мир в нужную сторону.

«Да, еще тосканское розовое».

Пожалуй, оно ей понравилось.

Тонкие игры вкуса.

То, что надо.

ИЛЬЯ МИРОНОВ

Путь к свету

* * *

Плыл по небу розовый грач,
улыбался забавам святых…
Он не Бог там и не палач,
он — юпитер в лучах золотых,
он — кудесник, несущий свет,
он — дающий тепло и уют,
он — блуждающий меж планет
светофор, освещающий путь...
Ежечасно тысячи душ
устремляются в небо, к нему:
с кем-то выпьется розовый пунш,
а кого-то отправят во тьму,
где, вслепую, в кромешной мгле,
им блуждать, может, тысячи лет,
вспоминая свой путь на земле,
зря казавшийся цепью побед…

За окном забрезжил рассвет,
сон прервали солнца лучи…
Всем вопросам моим в ответ
хлопотали на поле грачи…

* * *

Землю укроет мгла,
в ней растворится день…
Не сохранить тепла
в безверия суете…
Землю укутает дым,
огненных скважин след:
застит глаза молодым,
гнет тех, кто стар и сед…
Землю заполнит грязь,
вырвавшаяся из бездн:
ненависть и неприязнь
сеет кара небес…
Землю затопит зло:
в нем растворится крик

тех, кому повезло
вглядеться в Христа лик…
И захохочет князь
ужаса и могил:
нас рассмотрев в нас,
он без труда победил…
Только в немой тиши
ребенка раздастся смех:
рано князь поспешил
затменье принять за успех…
Рассеется злобы дым,
откатится зла потоп,
заблудших возьмет поводырь
и к свету опять поведет…

* * *

Этих чисел безликих в ряду,
По невысказанной безысходности
Я, понурившись, тихо бреду
В направлении к модулю совести…

И чем ближе к исходу пути,
И чем больше познания скрытого,
Тем труднее мне силы найти,
Тем яснее мне суть непрожитого?

Суть бессмысленности суеты,
Суть надуманности величия,
Суть отчаянности у черты,
Суть финального безразличия…

АНАСТАСИЯ КУЗЬМИЧЕВА

Логикой сердце не мучая

* * *

Садится небо на карниз
И, тяжелея, постепенно
Нисходит темнота степенно
И звезды сбрасывает вниз.

За дверью бродят холода,
Простуженно чихает ветер.
И на вертящейся планете
Все как обычно, как всегда.

И пахнут снегом вечера
И расползается по насту
Закат густой, лилово-красный,
И начинается вчера…

* * *

Я сижу на парапете
Между домом и пивной.
Рядом пахнет даже ветер
Свежескошенной травой.

Детство, вырастив вопросы,
Побежало за другим.
Жизнь — период сенокоса
И разбрасываний игл.

В поле зреющих ответов
Виден дом мой в два окна.
Кто же кроме парапета
Мне не даст сойти с ума?

Кем бы я наверно ни был,
Я на запах оглянусь.
Парапет, пивная, небо
Дом и скошенная грусть.

Совет

Поговори с моим разумом
Тихо шепни мне на ушко
То, что хотя мы и разные,
Свет наших душ не потушен.

Логикой сердце не мучая,
Пробуй к нему достучаться.
Я ведь способна на лучшее,
Может быть, даже на счастье.

* * *

Когда сжигали идолов публично,
Наверно, я горела ярче всех.
В меня попали обгоревшей спичкой —
Я вспыхнула и улетела вверх.

Я знала, что так будет, я сломалась.
Использованный идол — просто хлам.
Среди всего я взбалмошная малость,
Что как сквозняк струится по ногам.

* * *

Лягу на пол я и руки раскину.
Вот мне чего не хватало с тех пор как умею ходить.
Робкий сквозняк осторожно щекочет мне спину.
Мысли врастают в подножие стен. Паутинная нить
Гладит мне руки. Я выпала из промежутка
Между тобой и собой. Потолок. Он похож на тебя:
Выше меня, беззащитен, как снег. И как шуткой
Злой ты доводишь до слез. И однажды они ослепят
Гордость твою. Ведь в сравнении с небом сломаться
Можешь в любую минуту. А я просто встану. Уйду.
Вечер капризен. Я буду исправно стараться
Вновь отводить от тебя и меня слов случайных беду.

* * *

Ветер клен качает
С тенью на снегу.
Днями и ночами
От себя бегу.
И не в радость кухня,
И не в отдых сны
В голове лишь рухлядь,
Свалка до весны.
Делом бы пробиться
Сквозь бетон мечты,
Улыбнуться лицам,
Выстроить мосты.

Лысый клен скучает
И скрипит — зимой.
Но весна грачами
Греет остров мой…

ЖАН Д'ОРМЕССОН

ЭССЕ

Любить стало слишком просто

Мы живем в мире, где стало легко перемещаться на любые расстояния, где все большее число людей страхуется, добровольно или принудительно, от всевозможных рисков нашего существования и где прежние запреты и табу отступают перед натиском нашего критического ума. Все это не благоприятствует любовным чувствам.

Возьмем, например, безопасность нашей жизни. Мне могут возразить, конечно, что современная наука — это, наоборот, само воплощение опасности современного существования. Все на самом деле сложнее. Наука обеспечивает безопасность нашего существования на ближайшее будущее, но она же угрожает ей с позиций более отдаленного будущего. Все происходит так, будто мы променяли все свои повседневные, хронические болезни — на один огромный опасный нарыв, грозящий прорваться в неопределенном будущем; будто все страхи и помехи нашего существования, сметенные прогрессом, заменились одним-единственным Страхом — политическим, научным, эсхатологическим; этот огромный нарыв, этот Страх — Бомба.

Влияние этой гипотетической бомбы из будущего на нашу сегодняшнюю повседневную жизнь заслуживало бы отдельного изучения. Фильмом «Хиросима, любовь моя» уже был как бы задан статус любви атомной эпохи — любви, отданной в залог, окрашенной в цвета вероятного конца света.

В свете этого конечного ужаса все в нашем повседневном существовании становится проще и определеннее. Если избитое сравнение научно-технического прогресса с договором, заключенным с дьяволом, может открыть нам сегодня еще одну свою сторону, то вот она: удобства текущего времени куплены нами ценой будущей катастрофы. Сегодня, пока, в нашем существовании много комфорта и немало удовольствий — если, конечно, не принимать в расчет растущей тревоги. Бесспорно, случаются и разорения, и самоубийства, мы иногда позволяем себе даже немного страдать, но отдельные личные драмы, во всяком случае, на Западе, явно отступают перед зыбкой дальней перспективой катастрофы общей, универсальной (от которой можно, впрочем, пока отвести взгляд).

Сущность нынешнего века и состоит, возможно, в добровольном принятии человечеством будущего самоуничтожения в обмен на сегодняшнее уничтожение единичных рисков, случайностей — и даже времени и расстояния. Быстрее, дальше, с меньшими расходами, с меньшей опасностью: назначение современной техники состоит в том, чтобы избавить человека от ограничений, которые налагаются на него местом рождения, временем, природными стихиями — огнем, водой, — разными случайностями.

В этом мире, подстрахованном и унифицированном, мы не хотим больше рисковать. Любовь, вероятно, можно отнести к удовольствиям (я лично так не думаю), но сильное чувство, в любом случае, — это небезопасная авантюра. Оно может нарушить отлично налаженные ритмы жизни, принятые единообраз-

но всеми. Все сегодня достаточно богаты, чтобы не помирать с голоду, но не настолько богаты, чтобы не зависеть от чиновника, работы, расписания. Жизнь не трудна, но до ужаса предсказуема; мы даже можем поехать куда нам хочется — но только на 15 дней отпуска; поездка на Таити сегодня не более далекое путешествие, чем в долину Шеврез всего лишь век назад. В нашем мире, где некуда бежать, где все заранее расписано, где вам возмещают расходы, если идет дождь, — в этом мире всепоглощающее чувство неуместно. Все слишком определенно, все идет слишком быстро, и все слишком близко.

«Любовь, — писал Пруст, давая ей блестящую формулировку, — это когда сердце остро воспринимает расстояние и время». Я не знаю лучшего определения страстного чувства. Оно делает очевидным то, что сделали бы «боинги» с Тристаном и Изольдой, Элоизой и Абеляром, дав им возможность облететь земной шар — через полюса и на соответствующей скорости — за несколько часов. Такие темпы и такие широты не дают возможности проявить и доказать силу своего чувства. Вот господин де Норпуа в «Поисках утраченного времени» удивляет всех и становится нам почти симпатичен, когда мы узнаем, что уже несколько лет он ездит в Рим один-два раза в месяц, чтобы повидать любимую женщину. Сегодня расстояния не представляют препятствия для самых посредственных чувств. Современная идея отправить в путешествие молодую девушку — чтобы помочь ей излечиться от страсти — это замена (к сожалению) силы ее целомудрия мощью реактивного двигателя.

Дистанции физические, дистанции социальные… И в том, и в другом случае сила любви прямо пропорциональна тем препятствиям, которые предстоит преодолеть. Дени де Ружмон очень верно указал в своей работе «Любовь и Запад» на две характерные ее черты в нашей цивилизации: любовь должна быть разделенной, и она должна быть несчастной. Если ей мешает не физическое препятствие (расстояние, тюремные стены, Геллеспонт — для Леандра и Геры), то обязательно моральное: он или она священник или монахиня; их семьи враждуют (Ромео и Джульетта); социальное положение любящих слишком различно (излюбленная романная антитеза индустриального века: он — рабочий, она — из буржуазной семьи, либо он — из буржуазной семьи, а она — дочь герцога). Всякой страсти сопутствует борьба, кровь, пропасть, разделяющая, например, Химену и убийцу ее отца. Что осталось от всего этого в наши дни? Светские фотографы, многотиражные журналы с красотками на обложках, упадок старинных фамилий — и вот наконец цепи разорваны, стены разрушены. То, что сверхзвуковой самолет сделал с физическими расстояниями, — эволюция нравов сделала с дистанциями социальными. Препятствия уничтожены — чтобы спасти любовь, — но вместе с ними ушла и любовь. Англичане говорят в таких случаях, что «вместе с водой выплеснули и ребенка».

Об этом свидетельствует нам и кино. Красивый фильм Брессона «Дамы Булонского леса», поставленный по рассказу Дидро, удивил нас следующим несоответствием: реалии того времени (например, одежда) заменены на современные, а чувства остались прежними. Отсюда и наше удивление по поводу людей в современных куртках, поступков которых мы уже не понимаем. То, что ошеломляло тогда — то есть порождало страсти, — в наши дни сводится к материальным проблемам. Итак, препятствия перестали быть серьезными, и — о чудо диалектики души! — чувства тоже перестали быть серьезными.

Правда заключается в том, что современная любовь слишком комфортно существует в съежившемся мире, обклеенном этикетками и гарантиями со всех сторон. Любить стало слишком легко. В Америке вообще нет никаких проблем: здесь просто разводятся с появлением очередного любовника. И все знают, что супружеская любовь — это всего-навсего вопрос юридический. А вот в романе мадам де Лафайет принцесса Клевская любит господина де Немура, он тоже любит ее, и ее муж умирает как раз вовремя. Нет, она его не отравила, и господин де Немур не заколол его кинжалом, он не покончил жизнь самоубийством, и

принцесса даже не изменила ему. Но, в определенном смысле, несколько сложном для современного понимания, — в смысле, незаметном на первый взгляд, все же в его смерти виновна была их любовь. И этого достаточно для двух влюбленных, которых ничто больше не разделяет — ни их ранг, ни личные обстоятельства, ни даже светские условности, — чтобы никогда не соединиться и даже не желать этого.

Оскар Уайльд говорил, что единственный способ избавиться от искушения — это поддаться ему. И вот мы, научившись уступать своим страстям, действительно от них избавились. Защищая в литературе, кино, личной жизни величие любовного чувства, мы превратили его в повседневный пустяк, который не поражает нас и не требует от нас смелости; мы сделали из любви прихоть.

Любовь, ставшая столь поверхностной, угасает сегодня не только в высоких своих проявлениях, но — парадоксальным образом — и в самых низких, то есть в проституции. Эта процветающая индустрия, «оборотный капитал» которой ежегодно составлял во Франции, по скромным подсчетам, солидную сумму в 150 миллиардов, находится сегодня под серьезной угрозой. Причиной здесь не юридические преследования, которые никогда не были слишком суровыми (тысячи тонких, но крепких нитей связывают закон и его орудие, полицию, с одной стороны, — сутенеров и их девиц, являющихся, в определенном смысле, их ценными подручными, — с другой). Причина здесь в другом — в той легкости, с которой сегодня удовлетворяются телесные потребности. Я не хочу сказать, конечно, что все вступают в беспорядочные связи. Часто даже бывает так, что у нас не вступают в связь с человеком именно потому, что любят его, или, наоборот, любят его — потому что не находятся с ним в связи, — таков наш «последний выстрел» в защиту достоинства любви. Но что касается платного визита девушки, то это, чаще всего, просто порочный каприз, а никак не физиологическая необходимость, — ни для кого. Кто угодно — красавец или урод, богатый или бедный, умный или глупый — имеет множество возможностей удовлетворить свои желания. Гораздо большая проблема стоит перед нашими одинокими — и, говорят, многочисленными — обездоленными женщинами. И как решать эту проблему — мужской проституцией?..

Можно смело утверждать, что подавляющее большинство клиентов наших «работниц панели» — люди с психическими отклонениями или специфическими запросами. Но я говорю это не для того, чтобы их осудить. Констатируем только, что, поскольку продажная «любовь» продолжает пользоваться большим спросом, — то есть опасения, что развитие такой ситуации повлияет на общую эволюцию нравов. Сегодня дамы высшего света составляют серьезную конкуренцию «дамам полусвета», а эти, в свою очередь, — «дамам панели».

Впрочем, я сильно сомневаюсь, что куртизанка как таковая может вообще исчезнуть. В давние времена это считалось женской профессией, как война — мужской. Я вовсе не уверен, что (вопреки этому возвышенному морализму, моду на который ввела мадам де Бовуар) продажных женщин больше не будет. В истории неоднократно наступали периоды общей распущенности нравов, но продажные женщины пережили их все. Я скорее могу себе представить, что эволюция нравов еще не сказала своего последнего слова: ведь, по давно известным законам спроса и предложения, обесценившийся товар стараются снова поднять в цене. Может наступить сильнейшая обратная реакция, которая вернет воздержанность настоящей любви и цену — «любви» продажной.

Учитывая всевозможные хитросплетения человеческой истории, я не считаю невозможным и еще один резкий ее поворот — возврат в обыкновенной чистоте нравов и возвышение целомудрия и воздержания. В будущем может случиться, что наши 16-летние внучки, погрязшие в пороке, скатывающиеся все ниже и ниже, вдруг почувствуют, что жизнь становится бессмысленной. Возможно, они заметят, что физическая любовь — такая же мода, как и мода на все прочее, и что

не стоило бы придавать ей столько значения, если бы вокруг нее не устраивали такой шумихи. И тогда их собственный опыт подвигнет их, ради последующего поколения, на полный переворот в области взаимоотношений. Тогда приблизятся времена, когда любовь вновь обретет свою цену, и вновь возникнут препятствия перед теми, кто отважится любить, несмотря на трудности и опасности. И пусть вернутся в нашу жизнь эти оковы, верования, предрассудки и страдальцы — чтобы вернуть нам любовь!

И еще — верните нам спасительную слепоту! Любовь всегда была ребенком с завязанными глазами. Наученный, постаревший, любопытствующий, пресыщенный ли, — этот ребенок всегда бескомпромиссен. Слишком много книг, фильмов, психологических исследований — словом, слишком много рассказанных нам историй сводилось к тому, что любовь плохо кончается и поэтому должна быстро заканчиваться. Каждый знает сегодня, что любовь проходит и уходит; что Ромео не напрасно хотел умереть молодым — иначе он изменил бы Джульетте; что Тристан и Изольда обязательно забыли бы друг друга.

И тут меня осеняет внезапная мысль: а не переписать ли заново все, что я уже здесь сказал? Я утверждал, что любовь исчезает потому, что мы слишком много занимаемся ею физически, — а не наоборот ли: мы поступаем так, потому что знаем, что любовь быстро проходит, и хотим хоть на время забыть об этом? Мы все же верим в любовь, но знаем, что она быстро проходит. И тогда — все позволено.

В наше время, когда молодые люди сами называют себя распущенными и даже немного ненормальными, они кажутся мне, наоборот, удручающе разумными, отягченными здравым смыслом. В них есть и нежность, и серьез, и чувство ответственности — никогда ранее брак не заключался столь обдуманно. Игра слов: поскольку брак по расчету уходит в прошлое, то теперь брак по любви становится расчетливым. Телесные страсти утоляются встречами, но наши сердитые молодые люди при этом не забывают все время страховать свою жизнь. Они, чаще всего, ужасно серьезны, а те несчастные, которых считают абсолютно несознательными, на самом деле страдают от переизбытка сознательности: они боятся, что сильное чувство нарушит их покой, — они устраивают свою жизнь так, чтобы оно вырождалось в цинизм и легкие связи. Они знают, что в любом случае любовь недолговечна. Они могут быть отличными мужьями — потому что они чувствуют себя нормальными членами общества, у них серьезный характер, они способны на нежность — в глубине души, и дух времени научил их ответственности. Мошенники и порядочные граждане, «битники» и обремененные чувством долга отцы семейств — все они имеют одну общую черту: они слишком трезвомыслящие. И все чувство, на которое они способны, поэтому будет задушено ими в случайных гостиничных номерах — под грузом слишком трезвого сознания.

Любовь покидает нас, потому что любить стало слишком легко. А мы покидаем ее, потому что видим ее в слишком резком свете.

О маленькие мраморные Эросы, забавные Амуры с луком и стрелами, завяжите нам глаза, чтобы мы могли меньше видеть и больше любить.

Современные снобы

Мода и снобизм — два тирана, от которых мы отрекаемся только после их падения. Вот поэтому всегда проще рассуждать о вчерашнем снобизме, чем о снобизме сегодняшнем. А если уж мы вовсе не замечаем своего снобизма, — то это просто наше ослепление.

Какова же сегодня эта невидимая очевидность? Чего мы за собой не замечаем?

Задать вопрос — значит уже на него ответить. Мы явно ослеплены нашим «прогрессом» в экономике, науке, технике, пресловутых гуманитарных науках и, конечно, — в культуре. Мы ослеплены всем этим — значит, здесь и кроется снобизм.

Этот новый снобизм развивается по тем же законам, что и классический социальный снобизм, но с современной опытностью и утонченностью. Каждый из нас знает, что социальный снобизм — это пустая оболочка в чистом виде, которую можно заполнить в равной степени и поочередно самыми разнообразными содержаниями, — и даже вовсе противоположными. Здесь суть не важна — важно уметь себя подать.

Сноб начала века [20-го], который ранее высокопарно изъяснялся и посещал светские салоны, вдруг принялся, к году 1925-му, грязно ругаться и кинулся посещать народные балы на улицах Лапп и Бастилии. Сегодня новый снобизм проходит тот же цикл — только ускоренно.

Поразительный пример метаморфоз технического снобизма — отношение к телевидению. Снобы превозносили его до небес, когда ни у кого еще не было телевизора. Через некоторое время, когда телевидение уже успешно распространялось, — его с презрением отвергали; затем его заново для себя открыли. Подобные параллели можно было бы провести почти со всеми объектами мира техники, которые нас окружают.

Надо обязательно подчеркнуть, что снобизм начинает развиваться только в том случае, когда предмет не используется по прямому назначению либо если начисто отсутствует вкус. Так, автомобильный гонщик никогда не будет автомобильным снобом. Не является снобом психолог, структуралист или даже революционный марксист. Никогда не бывает снобом тот, кто начинает дело, — это всегда бывает тот, кто идет за ним следом, — часто против собственных взглядов и даже интересов; здесь-то и видна магическая сила снобизма.

Из всего сказанного становится очевидным, что «землей обетованной» слепого снобизма должна стать область культуры. Можно даже задаться вопросом: не служат ли все разновидности социального снобизма подножием для снобизма интеллектуального и культурного? Его можно описать восхитительной формулой — фразой одной дамы, у которой спросили после спектакля ее мнение о пьесе. «Я не знаю, — ответила она, — я еще ни с кем не разговаривала». В этой формуле содержатся все основные характеристики подлинного снобизма: подчинение своего личного мнения существующей системе взглядов; вторжение чужеродной действительности между личностью и ее мнением; жесткое давление извне; отречение от собственной мысли и вкуса.

Во всех областях культуры и искусства этот нео-снобизм уже произвел страшные разрушения. О нем можно сказать просто: он заставляет человека делать вид, что тот любит то, чего не любит, и наоборот — что он не любит того, что на самом деле любит. Исключительно забавно, грустно и в то же время утешительно бывает наблюдать, как с течением времени наши новые снобы открещиваются от «новых» объектов своего снобизма, когда те становятся старыми объектами, потому что предстали наконец в своем истинном свете. Правдивость суда потомков — это не что иное, как конец снобизма, который успел все собой пометить и

исказить. И тогда очень скоро обнаруживается, что Антониони и Пазолини создали не только шедевры, но и «липу»; что «Письма» Лакана не унесут за собой в небытие «Боги жаждут» и что «Волосы» очень быстро наскучат зрителям, чего не скажешь о театре старика Альфреда де Мюссе — театре, который якобы последние 70 лет только и делает, что умирает, хотя и продолжает жить…

Надо опасаться всех этих неизбежных зигзагов нового снобизма. Сегодняшний снобизм — а может быть, вчерашний? — это снобизм в технике, в трудновоспринимаемой и абстрактной культуре, в «революционных» преобразованиях всех видов и жанров. Но поскольку он плохо различим, — может быть, его уже нет? Это заблуждение. Надо остерегаться сегодня, завтра всех проявлений «снобиссимо новиссимо», о которых мы мало что знаем, поскольку сами в него погружены. И только завтра мы, возможно, наконец разберемся в своем сегодняшнем снобизме.

Гимн книге

П**редмет** почти священный, который за последние несколько тысячелетий сумел изменить наш мир, — это Книга. Она не существовала всегда — миллионы лет прошли без нее. Через несколько тысячелетий, возможно, ее опять не будет. Но, во всяком случае, между изобретением огня — и грядущим царством роботов и информатики она направляла и еще будет направлять нашу жизнь.

Война, мир, смерть, знание, красота, безумие, наслаждение, любовь, культ абсолюта — все записывается на ее страницах. Книга и ее производные — географические карты, газеты, марки — это бесчисленные носители разнообразных смыслов, которые суть сама история. Они сплавлены с ней в единое целое. В сегодняшнем мире, покоренном и переделанном людьми, книга по-прежнему учит нас мечтать и придает нам силы.

Мы читаем — чтобы учиться, узнавать, понимать. Но мы читаем также — чтобы мечтать. Другой мир, не повторяющий этот здешний, рождается из литературы, особенно из романа, который за последний век, даже количественно, приобрел необыкновенный размах. В нашей общей и личной мифологии Одиссей, Гаргантюа, Дон-Кихот, Гаврош, Сванн стали — благодаря этому чуду романа — такой же реальностью, как Цезарь, Клеопатра, Александр или Карл Великий. Словно Бог — великий Романист вселенной — передал свои бразды романистам земным, которые создают свои миры и в этом уподобляются богам. И мы живем в мирах книжных так же, как в мире реальном.

Вместе с музыкой, живописью, танцем Книга хранит и дарит — среди этого мира, с его автомобилями, бетоном, техническим прогрессом, — Идею величия и красоты. Есть, конечно, немало книг посредственных. Но есть и такие, которые уводят нас за привычные границы нас самих и с которыми нам трудно бывает расстаться: как хотелось бы, чтобы они никогда не кончались, чтобы они уносили нас за собой — всегда!

В нашей цивилизации, огрубевшей от отупляющей музыки, звучащей отовсюду, от раздражающего — большей частью — телевидения, именно чтение и письмо остаются теми видами деятельности, которые более всего прочего способны поднять человека над повседневной суетой. Каждый из нас может вспомнить летнее утро или зимний вечер, когда в компании с Фабрицио дель Донго, Скарлетт О'Хара, Кандидом или Федрой мы проникались насквозь этим счастьем — читать, уносясь в неизведанные миры…

Для самообразования, для развлечения, для узнавания и размышления — книга незаменима. Говорят, ее вытесняет сегодня компьютер и зрительный образ. Я признаю всяческие достоинства за новым царством техники. И при этом

надеюсь, что роль книги далека от ее завершения. Гораздо более, чем зрительный образ (весьма сильный, но, может быть, и слишком сильный), книга дает простор плодотворнейшим играм воображения, воспоминаний и мечтаний. Ее можно выбрать, отложить, опять взять, найти забытую фразу, которая оставит потом долгий отзвук в сердце. Если информатика предлагает готовые ответы, то книга — неожиданные вопросы, их-то главным образом и ищут в книгах. Образ на экране навязывает себя зрителю. Повествование в книге, напротив, дает волю читательскому воображению. В противоположность телевидению, книга требует от своего читателя активного сотрудничества, которое возвышает душу и является залогом внутренней свободы.

Пока существуют книги, люди, которые их пишут, и люди, которые их читают, — еще не все потеряно в этом мире, который мы так любим, несмотря на все его беды и печали.

Перечитывая «Тартюфа»

О**чень** многие книги быстро оказываются забытыми. И лишь некоторые продолжают жить в памяти людей. Потому что они выше моды, выше всего преходящего и случайного, потому что они говорят о том, что длительно и постоянно в нашей жизни; они переходят из века в век и находят себе все новых читателей в каждом поколении. Их-то и называют классическими.

«Тартюф» Мольера — это пьеса, разоблачающая лицемеров, лжецов, мастеров пускания пыли в глаза. И конечно, ей сразу же не повезло. Напрасно Мольер писал королю: «Я полагал, что окажу немалую услугу всем честным людям Вашего королевства, если напишу комедию о лицемерах и выведу должным образом на чистую воду все изощренные уловки эти людей без чести и совести». Он вынужден был бороться пять лет за право сыграть «Тартюфа» для публики. Это потому, что лжецы и лицемеры «владеют искусством придавать благородный вид своим низменным намерениям и никогда не простят тому, кто выставит их перед всеми в истинном свете».

«Тартюф» — комедия, но такая, в которой комическое идет об руку с трагическим. Еще Мюссе говорил о Мольере: «…мы смеёмся над его пьесой, — а надо было бы плакать».

Мольеровская пьеса вполне соответствует и тому определению, которое Дюма-сын дал хорошей книге вообще: «Хороший роман — тот, который увлекает нас при чтении и заставляет задуматься, когда чтение окончено».

Не только характер главного персонажа — пишет Эмиль Фаге в своих «Литературных этюдах», — но «само действие, атмосфера пьесы таковы, что мы явно ощущаем неизбежность плохого конца и понимаем, что в реальной жизни все это в самом деле кончилось бы плохо». (Подчеркнуто им.)

Что поражает прежде всего в действии, в построении этой зловещей комедии — это момент, когда Тартюф появляется в ней. Практически неизвестны другие случаи, когда главный персонаж комедии или трагедии появлялся на сцене так поздно. Большинство героев классического театра — Альцест в «Мизантропе», Сид у Корнеля, Атали у Расина — вводились в действие с первого акта, и часто даже — с первой сцены. Тартюф же «выжидает до последнего» — до третьего акта, второй сцены. Словно опасаясь сбросить маску раньше времени, он старается оттянуть время своего вторжения в действие: он фигурирует всего в 10-ти сценах из 31-й и в 290 стихотворных строках из 1962-х. Мало того, что он скрывается за кулисами так долго, насколько это вообще возможно в пьесе, — даже когда он появляется, он остерегается произносить длинные монологи, в которых мог бы себя невольно выдать. Он ограничивается короткими репликами и убийственными словечками.

Впрочем, и во все время своего отсутствия Тартюф умудряется постоянно присутствовать в пьесе. На протяжении первых двух актов, когда его еще нет на сцене, мы слышим, как его поклонники поют ему дифирамбы, подготавливая почву для его появления. Мадам Пернель превозносит его до небес, а Оргон — тот прямо творит себе из него кумира:

Его наперсником стал этот проходимец.
Такими окружен заботами любимец,
Каких любимая желать бы не могла…
Что он ни натворит — «он совершил деянье»,
Что ни сморозит он — «изрек он прорицанье»…

(*Здесь и далее перевод М. Донского)*

Конечно, люди со здравым смыслом — Клеант и особенно Дорина с ее грубоватым и острым языком — знают, какие честолюбивые замыслы скрываются на самом деле под маской Тартюфа. Но ослепление Оргона зашло так далеко, что он намерен во что бы то ни стало отдать свою дочь Марианну за Лицемера.

И вот во второй сцене третьего акта, когда действие уже в полном разгаре, на авансцене появляется наконец Тартюф в сопровождении некоего Лорана — это второстепенная фигура, одна из продажных душ его свиты. И первые же слова Тартюфа — они хрестоматийно известны — долженствуют подчеркнуть величие его души и служить назиданием всем прочим:

Лоран! Ты прибери и плеть, и власяницу.
Кто спросит — отвечай, что я пошел в темницу
К несчастным узникам, дабы утешить их
И лепту им вручить от скудных средств моих.

Литературная и социальная значимость этого персонажа — Лицемера — сразу бросается нам в глаза. Уже говорилось, что Мюссе и Фаго задавались вопросом, действительно ли Тартюф является комическим персонажем. Но еще современник Мольера Ла Брюйер задавал себе тот же вопрос. А Сент-Бёв еще более верно, на мой взгляд, резюмировал в нескольких точных словах поступки и характер этого персонажа: «…эти строки «Лоран…» — самый восхитительный выход для персонажа, который только можно придумать, — драматичный и комичный одновременно».

Далее следует вполне логичное сцепление событий. Почтенный Оргон обнаруживает — с большим опозданием, — что эта высокодуховная личность, этот учитель нравственности — мерзавец и преступник и что он сам своей неосторожностью отдал себя ему в руки. Оргон, с глаз которого спала пелена, хочет выгнать Тартюфа из своего дома, и тогда Лицемер, которому более нечего терять, являет себя во всей красе. Сопровождаемый господином Лоялем (отменной канальей, несмотря на данное ему имя)[1], Тартюф жестко объявляет тому, кто продолжает считать себя хозяином этого дома:

Смотрите, как бы вас не выгнали из дому!
Нельзя по-доброму, так будет по-худому:
Дом — мой, и на него я заявлю права.

И если бы вмешательство свыше не воспрепятствовало Тартюфу продолжать чинить вред, — его ловкость и хитрость, а также наивность его противников, конечно же, привели бы его к победе.

---

[1] Loyal (*франц.*) — честный, преданный, верный.

Эпоха, в которую жил Мольер, была временем всесилия духовенства; вот духовенству и пришлось взять на себя этот груз — воплотить собой Тартюфа. Но талант и мужество автора «Тартюфа» были нацелены не столько на духовенство как таковое, сколько на лицемеров и лжецов — вечных как мир.

Мольер — гений и своего, и нашего времени, и поэтому нам легко представить себе его Тартюфа прикрывающимся — не традиционными ценностями, конечно, — чем-то весьма почитаемым в сегодняшнем мире: набожной демагогией, ханжеским равноправием, лицемерно преувеличенной заботой о правах человека. Они и есть истинные наследники тех фальшивых добродетелей, которые выставлялись напоказ г-ном Перефиксом, парижским архиепископом, аббатом Рокетом, епископом Отена и всем этим Святым Братством — людьми большого веса и высокого ранга, безупречной репутации и показной нравственности, которые были врагами Мольера и стали его мишенью.

Роже Кайуа: между воображением и логикой

З**наток** мифов, социолог, собиратель культовых масок и заклинаний, мечтатель, охотник за бабочками и коллекционер камней — все это Роже Кайуа: так что же движет им и заставляет писать книги? То, что сохраняет целостность вселенной Роже Кайуа, — это некая сквозная линия, которая пересекает и смешивает воедино все его интересы, не имеющие, на первый взгляд, реальной связи между собой. Поэтому и название его последней книги именно таково — «Соприкосновения». В «Соприкосновениях» автор прикасается к проблемам времени и образам ада, к научной фантастике, лунным камням, миру символов. Сюрреализм, периодическая система Менделеева, темы лабиринта и шахматных расчетов — все это оставляет свой след в пейзаже, изображаемом Кайуа, и превращает этот пейзаж в огромную карту мысленного мира, пересекаемую разными линиями — изобарами мечты, изотермами эмоций и неожиданных толкований, — что и оправдывает полностью это название — «Соприкосновения».

За всеми этими причудливыми ходами на шахматной доске воображаемого мира проступает, однако, точный и жесткий аналитический ум Кайуа: наивность явно не его конек. Везде и всегда его очарованное воображение сдерживается строгим рассудком. Воображаемое пересматривается и корректируется у Роже Кайуа его же требованием логических связей и соответствий. Это как бы Андре Бретон в подчинении у Менделеева.

За этими играми — воображения с наукой — нелегко следить. Но тем, кто не пожалеет усилий, эти игры обещают ошеломляющие и плодотворные впечатления.

От Древнего Китая до Жюля Верна и Уэллса — таков диапазон, в котором Роже Кайуа находит то, что захватывает и удерживает его: перепутаница сновидений, ловушки времени и пространства, парадоксы истории. В «Соприкосновениях» — сто новелл с оригинальными сюжетами. Например, это история тибетских лам, которые купили компьютер, чтобы быстрее произвести перепись девяти миллиардов имен Бога, составляющих Вселенную, и которые вдруг видят, как при этом на небе начинают гаснуть звезды. Или еще — рассказ о группе американских ученых, которые возвращают время назад, чтобы не дать возникнуть Советскому Союзу. Им удается перехватить Ленина, возвращающегося в пломбированном вагоне в Россию. Октябрьская революция не совершилась. Но когда эта команда вновь оказывается в нашем времени и возвращается в Вашингтон, —

она видит над Белым домом… флаг со свастикой. Потому что в истории не было также ни Красной армии, ни Сталинграда…

Читаешь «Соприкосновения» с дрожью волнения, любопытства, интеллектуального наслаждения и просто удовольствия, а порождено все это как чарами воображения, так и беспощадной ясностью видения мира.

Мишель Мор: история забытого солдата

М**ишель** Мор из тех писателей, кто не мелькает постоянно на эстрадах и кто абсолютно неспособен пускать пыль в глаза. Этой своей твердостью и талантом он заслужил уважение и восхищение целой плеяды читателей своих произведений, где вкус к традициям сочетается со вкусом к жизни — которая бывает то скорбной, то полной очарований, либо той и другой вместе.

Его последний роман, «Могила де Ла Руэри», — это и историческая биография, и взгляд, брошенный в собственное прошлое.

Ариан, маркиз де Ла Руэри (произносят «Ла Руари») — бретонец родом, как и сам Мишель Мор. Он родился в Фужере, пограничном городе Бретани, в 1750 году. Поступив на службу во Французскую гвардию, маркиз живет широко: делает долги, волочится за танцовщицами. Любовная страсть толкает его в западню, но он сумел быстро из нее выбраться; затем он дерется на дуэли с Бурбон-Буссе. И вот новые идеи — идеи свободы — влекут его в Америку, где уже слышатся громовые раскаты восстания колоний против англичан — и где можно заработать славу!..

Когда война окончена и его франкский корпус распущен, полковник Арман получает звание генерала от самого Вашингтона.

Судьбы еще двух персонажей, среди многих прочих, постоянно скрещиваются с судьбой маркиза, и все трое — бретонцы: один из них Шатобриан, чья великая тень появляется на каждом повороте жизненного пути маркиза, а другой — сам Мишель Мор.

В каждый момент повествования — будь то война, театр, Париж, Нью-Йорк, эмиграция, убежище — автор присоединяет к этим давним событиям опыт собственной жизни. В этом смысле книга представляет собой как историческое повествование, так и собрание авторских воспоминаний и размышлений: приключения маркиза де Ла Руэри, необычные сами по себе, служат автору еще и поводом вспомнить свою молодость. Переход из одного временного регистра в другой происходит изящно и просто.

Ни Шатобриан, ни де Ла Руэри, ни сам Мишель Мор, повествующий об их приключениях, не являются горячими приверженцами «новых идей», хотя двое первых испытали не себе их влияние. Но вот бывший полковник повстанческой армии в Америке — маркиз сейчас яростно бросается в борьбу против Революции у себя дома, и еще более — против светских реформ духовенства. С ним бок о бок сражаются товарищи, каждый из которых достоин отдельной биографии…

Задержимся на мгновение перед очаровательной фигурой Терезы де Моэльен, дочери шевалье де Тронжори — советника парламента Бретани; она приходилась двоюродной сестрой маркизу де Ла Руэри. Шатобриан, конечно, не мог в свое время не заметить ее в Комбурге, на свадьбе своей сестры Жюли; Тереза затем появится во всем блеске своей красоты в «Посмертных мемуарах» Шатобриана.

Нетрудно представить, какую жизнь пришлось вести де Ла Руэри с его соратниками в лесах Бретани на тяжких путях шуанов. Все их вожди окончат жизнь

трагически: Тальмон — на гильотине, и его голова будет пригвождена к воротам его дома; Буашарди будет предан и убит в самый день своей свадьбы, и голова его вознесется на острие копья. Арману де Ла Руэри не посчастливится погибнуть в бою: он умрет в своей постели от удара при известии о казни короля.

Позднее, намного позднее, на его грубом могильном камне, с трудом найденном, выбьют надпись: «Верность обернулась для него злом». А тогда, через несколько часов после его смерти, его тело было завернуто в знамя и тайно похоронено.

В повествовании есть и романтические героини, и обязательный предатель. Арман де Ла Руэри верил, что имеет доброго друга в лице доктора Шеветеля, отец которого выхаживал в Комбурге больного Шатобриана-ребенка. Но Шеветель оказался предателем. Тело де Ла Руэри было им найдено и извлечено из могилы, а отрубленная голова трупа была брошена к ногам возлюбленной маркиза. Так адская машина тотального террора, породившего затем и отвратительные преступления нашего времени, была уже запущена историей…

Тереза де Моэльен, в которую были влюблены все поголовно, взошла на эшафот с великолепным бесстрашием. Она не позволила палачу обрезать себе волосы. (Тереза даже оставила прядку на память одному из своих поклонников.) Она сама подняла рукой свои великолепные пряди, подставив палачу белоснежную шею…

А Шеветель, менявший по очереди свои политические убеждения, — он был роялистом, якобинцем, сторонником императора Наполеона, приверженцем вернувшихся к власти Бурбонов и Июльской монархии, — этот презренный Шеветель сделал прекрасную карьеру. Он представлял собой нечто между Моле (которого так ненавидел Шатобриан и о ком писал Селест де Шатобриан: «Он поклялся в верности всем режимам сразу — настоящим и будущим») и омерзительным Тюрлюром, воплощенным на сцене Клоделем. Чтобы дать логическое завершение всей этой истории, Шеветель женится на Ла Флери, которая была ранее любовницей Марата и… маркиза де Ла Руэри.

В своей «Могиле де Ла Руэри» Мишель Мор, мне думается, хотел вернуть дань уважения тем забытым солдатам, которых немало было во Франции за всю ее долгую историю, — таких, как Кадудаль, Россель — герой Парижской Коммуны 1871 года, — Бассомпьер, генерал Жуо, Эли де Сен-Марк…

Человек с семью жизнями

Жан-Франсуа Деньо прожил множество параллельных жизней, и в каждой из них, без труда и словно играючи, он дошел до вершины. Сам он говорил, что у него семь жизней.

Жан-Франсуа Деньо был полной противоположностью кабинетным интеллектуалам — его вдохновляла только деятельность. Как только представлялась возможность, он ехал в Ливан, в Боснию, в Сомали, в Афганистан. Он должен был держать руку на пульсе времени везде, где шли сражения. В нем жили Дон-Кихот, Сирано и герой его собственного «Человека, который хотел быть королем».

Но царством его было море. Но его могиле смело можно было бы написать просто: «Жан-Франсуа Деньо, моряк». Уже больной, он в одиночку отправлялся в плавания, от которых его друзей бросало в дрожь. В моей памяти хранятся наши с ним путешествия по Средиземному морю, где мы были одни, и он, управляя своим судном, пересказывал мне ирландские саги о призраках и вечной любви.

Как рассказчик он не имел себе равных. Своими мемуарами, романами, новеллами он привлек к себе множество читателей. Между морем и литературой он написал небольшую очаровательную книжку, которая до сих пор остается «библией» всех начинающий мореходов, — «Море — оно круглое». На ее стра-

ницах бродят компанией морские истории, британские и средиземноморские впечатления, полезные советы и шутки. А в конце есть даже несколько уморительных страниц на оригинальном морском сленге — его называют «морским кайлом», или Pidgin English. Это язык без грамматики, фонетики, артиклей и времен — без всего, но который может оказаться полезным читателю в том маловероятном случае, если он вздумает прогуляться вблизи Соломоновых островов. В этом морском «бардачке» перемешаны записи из бортового журнала, морские песенки, технические советы и счастливые воспоминания, — в общем, есть чему посмеяться и о чем помечтать. Эта книга из той же плеяды, что и чудесные «Морские инструкции» или «Негр-нарцисс» (которым сам автор был очень доволен).

В этом человеке фантазия всегда примешивалась к реальности. Его можно было слушать без устали. Он умел делать жизнь прекраснее, поднимая ее над нею самой. Это был грустный и мечтательный принц, который снимал звезды с неба, чтобы осветить себе жизнь. И нам тоже.

Скандал любой ценой

Я не помню, кому принадлежит это высказывание — Жюльену Грину или Грэхему Грину. Но смысл его приблизительно таков: без скандала нет литературы, и призвание искусства состоит в том, чтобы порождать скандал.

Я тоже верю в это свойство искусства — кому-то неудобное и в чем-то даже опасное, — которое помогает пробудить людей от их благополучной спячки и встряхнуть этот мир. Ведь человечество знает не так уж и много средств, чтобы сдвинуть с места историю и заставить ее идти вперед. Деньги, мифы, религии — и даже тщеславие! — не раз, и с разным успехом, уже сыграли в ней свою роль. Но с течением времени самые смелые ходы становятся рутиной.

Призвание литературы и искусства состоит в том, чтобы, не давая нам передышки, вновь и вновь бросать вызов нашей самоуспокоенности. Так, всю историю поэзии и живописи, начиная с «проклятых художников» 19-го века, можно определить одним знаменитым словом — тем, которое Дягилев бросил Кокто: «Удиви нас!»

В наш век гласности и средств массовой информации взрывная сила скандала возросла в десятки и сотни раз. Но скорость, с которой он теперь способен распространяться, — подобная раковым метастазам — содержит в себе его же гибель. Он истощает чувствительность публики и соответственно обязывает своих «актеров» и «режиссеров» усиливать прежние и изобретать все новые и новые эффекты, способные расшевелить публику — все более и более пресыщенную…

Сегодня уже не знают, чем и удивлять… Одни идут все дальше — в том же направлении; другие, наоборот, пытаются вернуться назад, чтобы привлечь к себе внимание старомодным лепетом. Литота, намек, фальшивая наивность, описания урчаний в животе — все это лишь формальные изыски для набивания себе сверхцены. Ведь самое трудное в эпоху перенасыщенности всем — это привлечь к себе внимание. Бернард Шоу, например, предлагал в насмешку такой современный вариант «Федры» наоборот. Студент грешит со своей матерью — это скандал, но и слава. Затем он узнает, что она всего-навсего его мачеха — это разочарование и стыд. Он убивает себя…

В ужасах, жестокости, глупости, утонченности — во всем этом мы достигли предела. Как подняться над ним, чтобы найти себе место для жизни в этом мире: между очередной шоу-звездой, последним — абсолютным — видом оружия, последним массовым кровопролитием, еще какой-нибудь чудовищной дрянью — всем, что отнимает у нас веру в свои силы, в возможность изменить что-то к лучшему?..

Нам нужно все нового и нового? А нашему миру — уже нет. Страх, возмущение, скандал становятся повседневным делом. В соответствии с этой дивной

диалектикой — которую помогает создавать каждый из нас — мы отныне живем в рутине скандала.

В наш век «прогресса» подлинные открытия бессильны нас поразить: все, что требует долгих усилий и терпения, присущего гению, — отвергается изначально. Настоящие ученые остаются безвестными. Зато шарлатаны имеют все шансы обратить на себя прожектор скандала — для этого нужно только кричать громко и целить далеко. И плевать на ученые сообщения и кабинетные изыскания!..

На что можно сегодня еще поднять массы — как не на святую борьбу за увеличение заработной платы? Ну, например, на манифестацию в честь «летающих тарелок», на митинг за юридическое признание телепатии, на стачки в защиту чего-нибудь вроде пятого измерения!..

За отсутствием достойных тем скандал занимает наше внимание темами недостойными, жестокими или нелепыми. И этот минотавр — скандал — пожирает сегодня много народу! Грустно. Эта грусть вполне оправданна, когда видишь, сколько энергии возмущения задействуется попусту, — и все ради того только, чтобы заполнить чем-то страницы книг или малый экран.

Придет день, когда скандал будет действительно нужен, настоящий скандал, — но кто тогда в это поверит и захочет по-настоящему возмутиться? В конце концов, мы просто устанем от скандалов. Кто и что тогда пробудит общество от смертельно опасной летаргии? Начнем же кампанию за экономию наших душевных сил и за разумную эксплуатацию скандала в искусстве и СМИ. Я признаю мобилизующую силу скандала — поэтому прибережем его для тех случаев, когда он действительно нужен!

Бальзак — поэт реальности

Что имеют в виду обычно, когда говорят о «бальзаковском» романе? Прежде всего, произведение впечатляющего объема, потребовавшее много труда. Остроумный пустячок в несколько десятков страниц, автобиографический набросок, язвительный эскиз — в них нет ничего общего с понятием «бальзаковский». Бальзак — это прежде всего каторжный труд и огромный литературный монумент — 80 шедевров, созданных за двадцать лет, — и еще изобретенный им изумительный прием — «возвращение героев».

Ритм его работы был поразителен. Чаще всего он ложился спать в часов шесть вечера, наскоро ужиная в постели. Затем в полночь вставал, надевал халат, поглощал огромное количество кофе и работал до полудня или даже дольше. «За двенадцать часов можно исписать чернилами много бумаги, — писал он Лоре Сюрвиль, — и через месяц такой жизни обнаруживается, что сделано уже немало».

И столь упорная работа не заканчивалась на самой рукописи. Корректуры Бальзака на гранках стали легендой — от них у современных издателей волосы на голове встали бы дыбом.

Бальзаковский роман — это еще и реалистический роман. Объект изображения — реальный мир. И потому, естественно, Бальзак — потрясающий наблюдатель. «Я был наделен большим даром наблюдательности, — писал он госпоже Ганской, — потому что мне невольно пришлось пройти через разного рода занятия». Как позднее Пруст, он неутомимо засыпал своих друзей вопросами, требуя даже самых незначительных уточнений. «Мне нужно знать, — пишет он Зюльме Карро, — название улицы, по которой вы выехали на площадь Мюрье, и где жил ваш жестянщик; затем название улицы, отходящей от площади Мюрье (…); затем название ворот, открывающих выход к собору».

И все же свести всего Бальзака к объективному романисту-реалисту было бы грубой ошибкой. Он сам говорил о себе: «Когда мне наблюдать? Мне едва хватает

времени, чтобы писать». Бодлер, бывший прекрасным критиком, не ошибался на его счет: Бальзак прежде всего поэт. Он жил воображением. «Всякий фантазер, — говорит Клод Руа, — прежде всего внимательно смотрит». Бальзак смотрит очень внимательно. Но ключ его творчества не в наблюдении, а в воображении.

Известно, что Бальзак бросался в самые безумные предприятия: разработку серебряных рудников на Сицилии, заброшенных еще римлянами; выращивание ананасов в Виль-д'Авре; ввоз 60 тысяч дубов из Польши — чтобы обеспечить шпалами французские железные дороги. Эта страсть к предпринимательству — чаще всего убыточному — идет от почти болезненной гипертрофии воображения. «Для Бальзака, — рассказывал о нем Теофиль Готье, — не было будущего: все было только настоящим (…) любая идея была столь живой, что в чем-то становилась уже реальностью. Если он заговаривал об обеде — говоря, он уже обедал».

Та же сила воображения, которая несет ему разорение в практических делах, делает его всемогущим в литературе: «Вернемся к действительности — поговорим о Евгении Гранде». А в самом конце жизни: «Позовите Бьяншона!» — это доктор, но только из его «Человеческой комедии»…

Как утверждают учебники по истории литературы, Бальзак является переходным звеном между романтизмом и реализмом. Но Бальзак — это великий поэт. Поэт реального мира. Он не просто «составляет конкуренцию (по избитому выражению) гражданскому состоянию». Он также, и преимущественно, последователь Господа Бога. Он творец, который сначала создает свое творение в воображении, — прежде чем воплотить его в действительность.

Всякий большой романист, бесспорно, берет и от реализма, и от поэзии, от наблюдения и от воображения. Позднее, через полвека после Бальзака, который провел нашу литературу от романтизма к реализму, другой романист проведет ее от реализма к натурализму. И Золя, тоже хороший критик, скажет о себе: «Я не археолог, я всего лишь художник. Я смотрю и наблюдаю, чтобы творить, а не копировать».

«Склонность к мифотворчеству, — писал Томас Манн о Золя, — возвышает его вселенную до сверхъестественного». Он мог бы, даже с большим основанием, сказать это же о Бальзаке.

Огурец с видениями

Я бы хотел писать, как Александр Виалатт. Представивший его книгу Жан Лоран прав, говоря, что Виалатта следует отнести скорее к малым писателям, нежели к геркулесам литературы. Да, в этом блестящем стилисте проглядывает клоун. Даже переводя Кафку, он превозносил в нем комический талант… Виалатт не претендует быть ни психологом, ни социологом, ни метафизиком. При этом в нем достаточно смелости, веры и даже глубины. Но главное его оружие — это живущий в его словах смех, которым он утверждает комизм нашего мира. (Боже правый, посылай нам иногда, для разнообразия, таких клоунов — вместо мыслителей!..)

Вот как Виалатт описывает Наполеона. «Идея назваться Наполеоном могла прийти в голову только человеку исключительному. Она обрекала его либо на славу, либо на посмешище. Получилась слава… Чем была бы история без Наполеона? Бедной вдовой. Изысканной, с лисьим боа вокруг шеи (несколько потраченным молью). Этакой властной престарелой дамой. В черном крепе, с лорнетом и остро выступающими берцовыми костями. С высокопарной речью. С костлявыми руками… А с Наполеоном ей не пришлось слишком воображать о себе: главой семьи был он… Она нашла себе подходящего мужа. Конечно, она обманула его в старости — все-таки она женщина. Но как хорошо они пожили в свое время!..»

Наверное, так и надо писать хроники времен ушедших и настоящих. Когда молодые люди — мечтательные и категоричные — обнаружат, в числе прочих,

мемуары Миттерана, Виалатта и мои, — держу пари, что хроники Виалатта будут иметь у них больше веса. Они найдут там сочно выписанные картины эпохи и общества с портретами их типичных персонажей, а разные регионы Франции предстают там перед нами как живые. «Овернь производит министров, сыры и вулканы. А нет ведь ничего более лысого, чем вулкан…». Или: «К Провансу, замечтавшемуся на вершине утеса, деловые люди присоединили Лазурный берег — с его пляжами, отелями, казино… И теперь Прованс поставляет лунный свет, а Лазурный берег заставляет нас за него платить…»

Среди вещей — впрочем, редких, — которые Виалатт, не наделенный академическим умом, все же принимает всерьез, оказался язык, его грамматика и орфография. Против аргументов Виалатта в их защиту, на мой взгляд, невозможно устоять. «Говорят, нужно упразднить грамматику. А было бы жаль. После верховой езды и садоводства грамматика является наиболее привлекательным видом спорта. К старости нужно приберечь для себя какой-нибудь порок. Вот я и присоединяюсь к мнению Одиберти, что наша орфография все-таки слишком проста. Гораздо интереснее было бы усложнить ее правила. Ведь находят же возможность усложнить себе игру любители бильярда, регат или бега в мешках. Если любишь язык — любишь и его трудности».

Александр Виалатт не страдал иллюзиями на свой счет. Поэтому-то его и запомнят. Он дал свое определение женщине, которое идет вразрез со многими общеизвестными определениями: «Женщина восходит к самой античности. Она увенчана короной — высоким шиньоном. Поэтому она штопает носки и учит детей катехизису». Ей-богу, пусть читающие это женщины не обижаются. О мужчинах сказано не лучше: «Мужчина — это мыслящий тростник. Точнее — задумчивый тростник… Или даже мечтатель…Точнее — этакий мечтательный корешок-козелец… Будем совсем откровенны: мужчина — это сонный гриб, огурец с видениями; у каждого из этих козельцов — свои заскоки…»

У Виалатта есть, например, еще одна формулировка, которую не забудешь и которая может служить исчерпывающим ответом тем занудам, которые неустанно задаются вопросом: для чего нужна Французская академия? — «По-настоящему нам нужно только излишнее».

Я говорил себе, читая Виалатта, что писатель такого типа противопоказан телевидению и радио. Его аллергией на mass media и объясняется его малоизвестность. И он не единственный, кто живет в мире, чуждом вездесущему телеэкрану. Мало сказать, что телевидение составляет конкуренцию литературе. Оно лишает ее самой ее сути. Ведь что нужно СМИ? — Только сюжет. То, что можно пересказать и о чем поговорить. Литература же имеет то преимущество, что может быть самоценностью, удовольствием — сама по себе. Удовольствием легким или нелегким — как музыка, исполненная на флейте или на органе; удовольствием-открытием, удовольствием-любопытством или удовольствием-ужасом. Неважно. Но обязательно удовольствием. Мне кажется, что чтение Виалатта — среди всего нашего житейского ужаса и убожества — это и есть и малое, и большое удовольствие.

Кино и литература

Наш век — в смысле искусства — это век кино. Как век массовой культуры, он породил коллективность в искусстве — и в самом творчестве, и в его восприятии. Как век науки, он породил искусство для «технарей». Как век публичности и пропаганды, он создал искусство не столько намека, сколько захвата, давления, и даже, в некотором смысле, насилия.

Одно из любимых лакомств критики всех стран мира, укореняющаяся тенденция, столь зачаровывающая всех, — это «беременность» литературного образа кинематографичностью.

Опасность романтической литературы, с точки зрения моралистов классицизма, заключалась в том, что она давала простор мечтам, давала возможность совершить побег из этого мира. Порок кинематографа, с точки зрения наших уважаемых психосоциологов, состоит в том, что он предлагает, и даже навязывает, определенный зрительный образец и обязательное отождествление с ним нашего мысленного образа, — и этим закрывает нам путь в мир воображения.

Какими бы прочно установившимися и строго очерченными ни были архетипы литературы, они не могут и не хотят быть чем-то иным, кроме как побуждением нас к самостоятельному строительству образов в нас самих. Литературное произведение — это воззвание к воображению читателя и его активному сотворчеству. А классическим становится то произведение, которое позволяет воображению развернуться в разных направлениях и давать читателям, по мере смены эпох, разные ключи к одним и тем же данным. Таким образом, классическое произведение может менять свое значение для сменяющихся поколений читателей, и его величие идет именно от потенциального богатства различных его интерпретаций. В этом смысле герой романа — это лишь форма для заполнения нашей энергией. Герой экрана, напротив, это форма нашей пассивности. Он дан нам полностью готовым — фигура, рост, цвет, одежда, звук голоса, а завтра, возможно, и запах, — и мы ничего не можем в нем изменить. Что разделяет литературную Терезу Декейру Мориака и экранную Терезу Декейру в исполнении Эммануэль Рива — так это грубая материализация, которая навязывает всем нашим пяти чувствам образ «ne varietur», который никто и ничто уже не сможет отретушировать.

Она была разной — для автора, для нас, для многих других, — такой, какой ее делало изменяющееся время. Но отныне она будет такой, какой ее отформовал экран, — и навечно. Навечно? Да, но в то же время — Тереза Декейру больше не будет хрупким видением в наших многообразных представлениях о ней — у нее голос и глаза, походка и фигура Эммануэль Рива. Она отождествила себя с Терезой для нас — и мы переносимся в ее жизнь и проживаем ее «по доверенности». Но именно потому, что героиня обрела эту материальность и эту жизнь, наступит момент, и скоро наступит, когда ее наряды станут старомодными, когда ее походка, выражения любви и ненависти покажутся устаревшими и, может быть, смешными. И тогда материальность этого тела, вместо того чтобы способствовать отождествлению и доверию, будет, наоборот, мешать восприятию ее образа. Возможно, ею еще можно будет восхищаться, — но не сопереживать.

Кино еще слишком молодо, чтобы это свойство старения, которого избежали Антигона и Андромаха, Марианна и Одетта Сванн, стало явно заметным. Но как массовое искусство, техническое искусство, искусство-шок, — кино не избежит этого проклятия, которое является оборотной стороной его могущества. Как раз тогда, когда романист видит, наконец, материальное воплощение своих грез и когда жизнь, реальная жизнь, поселяется в них, — их постигает судьба всех живущих — смертность. Дети слова и воображения, они жили вечно в гибких умах читателей. Устремившись в тело, они вынуждены разделять печальную судьбу старых платьев, пожелтевших фотографий, неверной походки — этого неизбежного движения всего к износу и дряблости. Такова эта чудесная сегодняшняя жизнь многих героев: завтра она может обернуться их похоронами.

Патрик Бессон, или Слава повесы

Э**тот** лентяй написал уже полсотни книг, многие из которых малозначащи, но некоторые — просто превосходны. В течение долгого времени на вопрос: «Что есть интересного среди наших молодых писателей?» — я отвечал: «Патрик Бессон». У него было больше таланта, чем у других, и, может быть, больше чем у кого-либо из них вообще. У него особая манера быть «не

здесь» и ничего всерьез не касаться. Это отсутствие везде, доходящее до отвержения самого себя. При этом в его неопределенности и размытости есть убийственная точность. Это почти абсолютная пустота, из которой возникают в его книгах ошеломительные вещи…

Я прочел его «Бульвар Аристид-Бриан, 28». Это воспоминания детства, но под соусом «брессон». То есть «сдвинутые» и совершенно очаровательные. И вот уже готова еще одна книга, она называется «Состояние духа». И знаете что? Это то же самое, но только увиденное взглядом постарше. Потому что в 21 год взгляд уже не столь свеж, как десятью-двенадцатью годами раньше. Состояние духа скверное, конечно. Но все равно это так же здорово.

Он презирает искусство и музеи. Он ни во что не верит, в том числе и в себя. Он отвергает мир вокруг себя — и собственную персону вместе с ним. Его излюбленная игра — быть никем, так как «быть — это быть собой, а себя я презираю». К этому самоосуждению он возвращается беспрестанно: «Моя жизнь как молодая утопленница, вокруг которой я суечусь, не зная, как вернуть ее к жизни». Или короче: «Мои секреты просты: ни жизни, ни работы».

Вот в чем его действительно нельзя упрекнуть — так это в самомнении. Он не любит себя — и от всего сердца.

Вокруг Патрика Бессона вьются целые гирлянды людей: писателей, коммунистов, юношей — молодых и не очень, — девушек… Многих из них можно узнать в его книгах по деликатным, но точным намекам.

Но вдруг меня посетила мысль: этот Патрик Бессон, которого я всегда представлял себе молодым человеком, догоняющим жизнь и плюющим в нее, — не должен быть так уж молод.

Действие «Состояния духа» должно происходить где-то в начале 70-х, когда автор служил в Первом полку спагов. Вот это да: Брессон в спагах! (Но в военной службе было и хорошее.) Так что сейчас [в 2002 году] он, должно быть, перевалил за пятьдесят — это уже не желторотый птенец. И я задаю себе вопрос: приближающаяся старость, которая уже сует свой костлявый нос в его жизнь, — что она сделает с нашим «плохим парнем», так презиравшим жизнь, когда он был молодым?..

Тень ответа на этот вопрос можно обнаружить в его же «Состоянии духа». На одном из обедов на улице Кассини, в обычном кругу сильно декольтированных буржуазок и подвыпивших писателей, присутствует и принцесса Каролина. Два приятеля — Эрик и Патрик — отказываются сесть рядом с этой «мымрой». А в конце обеда мы видим, как Франсуа-Мари (догадываетесь, кто это?) ласкает под столом ногу этой принцессы. И тут же, с этой абсурдной страстью желать того, что сами же презирали, Эрик и Патрик сожалеют о том, что дали навязать себе роль, которой на самом деле им не хотелось. «Что и будет характерно, через пару десятков лет, для нашей литературной жизни: сожаление о том, что другие занимают места, от которых мы отказались из боязни их не получить».

Старение повесы, у которого было столько таланта в молодые годы и столько еще остается, будет очень интересным.

Могила Эдит Пиаф

Под сенью Эйфелевой башни Эдит Пиаф как-то бросила свои знаменитые строки:

Нет, ни о чем,
Я не жалею ни о чем:
Ни о добре и зле,
Что причинили мне, —
Гори оно огнем!..

И тогда, — повествует «Франс суар» (а может быть, «Пари пресс»), — один священник, у которого были, несомненно, весьма своеобразные понятия о раскаянии и покаянии, встал и выкрикнул, что это великолепно и что она совершенно права. Вот так.

В этих ее коротких строках содержится очень многое. Мы живем в мире инженеров, журналистов, певиц и кюре. И он представляет собой одну теплую компанию — то, что принято называть обществом, культурой, цивилизацией, духом времени. Рожденная в более чем скромной среде, долго бедствовавшая, затем осыпанная золотом, обложенная мужчинами, покрытая дифирамбами и лестью прессы, осаждаемая толпой, благословленная духовенством, — мадам Пиаф напоминает нечто вроде старых благородных гончих, ставших предметом роскоши и длящих свою карьеру еще и еще сезон под клич «улюлю»; она вполне представляет свое время.

Оговорюсь сразу: я восхищаюсь Эдит Пиаф. А кто ею не восхищается? Мои 15, 20, 25, 30, 35 лет прошли под знаком ее натуралистической романтики, ее наивного отчаяния, ее прекрасных рук, черного платьица и непокорных волос. Наш современный Вийон[1] — я думаю, это она и есть. Я слышу как сейчас старенькое сельское пианино — Боже, как это было давно! — бренчащее:

Любовь моя, — навек твоя!
В глазах твоих — таких больших —
Я вижу только нас двоих.

«Любовники одного дня», «Возможно, такова любовь» — я вынужден согласиться со всеми, что это, и правда, очень хорошо. Возможно, даже прекрасно. Более чем где бы то ни было в песнях Пиаф есть и любовь, и поэзия. Нам гораздо лучше мечталось на постели «любовников одного дня» или перед телефоном, «который больше не зазвонит», чем над поэтичными интимными и немного пожелтевшими листками N.R.F. Для меня, как для многих, наши вёсны и наши любови пронизаны этим сильным хрипловатым голосом, поющим о безнадежности чувств.

Эдит Пиаф вошла при жизни — полумертвая, умирающая, почти умершая, но еще живая — в этот воображаемый музей, где уже заняли самое сокровенное место в наших душах генерал Де Голль и Брижит Бардо, отодвинув в тень Мальро и Мориса Шевалье, — и почетное место в нашей современной национальной мифологии. Нам, французам XX века, еще посчастливилось видеть посреди пейзажа из стальных конструкций и печатной бумаги эти восковые фигуры — но полные жизни и такие привлекательные: они оживляют наш технический мир своей поэзией — ослепительной, резкой, почти великой и совершенно волшебной.

Когда они исчезнут — увы, статуи тоже умирают, и самые большие оказываются самыми хрупкими, — когда они исчезнут, мы почувствуем себя одинокими вдовцами этих священных идолов.

Говоря только о Пиаф, надо признать, что есть нечто ужасное и почти непристойное (мне самому немного стыдно говорить об этом) в этом общем ожидании ее смерти. «Я хочу слышать Пиаф, пока она не умерла!» Буржуа, как и народ, всегда не прочь поглазеть на смерть своих героев — на гильотине ли, на сцене ли… Каждый из зрителей ожидает втайне (я уверен), что однажды вечером, под действием особого, напряженного внимания, Эдит Пиаф упадет, не допев, на глазах у тысяч зрителей — глазах, расширенных от ужаса, восторга и признательности. За ней наблюдают, подсматривают, оценивают ее температуру, давление, подмечают покрасневшие белки глаз, подбивают суммы счетов за лечение… Еще немного — и начнут заглядывать в рот, заворачивать веко… И она поет — уже

---

[1] Франсуа Вийон – гениальный бродячий поэт эпохи средневековья. (*Прим. пер.*)

не с больничной койки, а из могилы… Говорят, испанцы имеют вкус к кровавым зрелищам — тогда парижане испытывают страсть к остановке сердца, инфарктам, поражениям молнией и некрофагии.

Бедная Пиаф! Странное зрелище являет она в одной упряжке со своими почитателями. Отдав им столько голоса и самой жизни, заложив даже собственную смерть, она вправе требовать от них взамен создания ее мифа. И они не отказывают ей в этом — ни зачарованные буржуа, ни обращенные священники. Палачи и зеваки становятся сообщниками и мистификаторами. Возможно, потому, что она уже немолода, что она никогда не была красива, и потому, что перестала быть опасной для сильных мира сего — с тех пор как незаметно обрела официальный статус? Если Лиз Тейлор или Брижит Бардо собираются сменить любовника, — их оскорбляют, им угрожают. Но Пиаф — другое дело: ей позволяется не только формировать молодых людей и, любя, продвигать их — ее даже поощряют к этому, словно это нечто вроде экзамена на бакалавра искусств для скаута. Как мадам Жозефина Бейкер воспитывает маленьких негритят, китайчат, индусов в своем владенье Миланд — так мадам Эдит Пиаф «запускает» молодых боксеров и певцов в небосвод «звезд».

Бедная Пиаф! Вы — бедная великая дама песни, бедная добрая маленькая женщина, маленькая черная мушка с Вашим бесподобным мужеством, искренностью, умением взять нас за живое, с Вашими моментами истины и стремлением к абсолюту! Скажите, легко ли быть превращенной в миф нашими вечерними газетами, обезумевшими буржуа, прогрессивными моралистами — всеми теми, кто платит за то, чтобы увидеть, как Вы умрете?

Боже меня упаси от упреков и от «фарисизма», как, впрочем, и от «парижизма». Каждый имеет право делать то, что считает нужным, — мне было бы неловко отказывать кому-либо в этом праве. Но мораль соглашательской мистификации и переноса мифа в область святынь мне так же чужда, как и все прочие. И я вижу виновных: это все мы — по ту и по эту сторону сцены.

Простите меня, дорогая великая Эдит Пиаф, за то, что я здесь написал. Все, что аморально, некрасиво и неприлично в Вас, — это другие, не Вы. Пресса, публика, общество, народ имеют таких звезд, каких заслуживают. И я не уверен, что мы заслужили Эдит Пиаф. Потому что в конечном счете Эдит Пиаф — это прекрасно.

Что я думаю о парижанках

Что я думаю о парижанках? Честно говоря, я их почти не знаю. Мои секретарши — румынки, моя мать почти не выходит из дому, у меня нет младшей сестры, а моя дочь Элоиза тоже ничего не может сообщить мне о них: ей всего шесть лет. Впрочем, я знаю двух-трех прекрасных домашних хозяек, но, к сожалению, это мужчины…

Мне кажется, что сегодняшняя парижанка — это классическая южноамериканка. Есть в ней, как ни странно, и что-то швейцарское. Я не имею в виду, конечно, счет в швейцарском банке, — это чаще может быть парикмахерский салон в Бале, лыжный инструктор в Зармате, клиника в Женеве, — в общем, помесь Альп с Андами.

Есть в Париже, конечно, австрийки (графини), цыганки, ливанки и канадки. Все больше появляется итальянок и англичанок… Характерный признак сегодняшней парижанки — это то, что она не родилась в Париже; есть и другие признаки: иностранный акцент, прокубинские симпатии, греческие нравы. Одним словом, многие иностранки стали великолепными парижанками по той простой причине, что все парижанки — иностранки.

Мало сказать, что парижанка стала очень культурной, — она просто помешана на культуре. В идеале она должна иметь диплом факультета восточных языков

или женского политехнического института. Накидки из змеиной кожи (непосредственно на свою кожу), простенькие одежки, почти ничего не прикрывающие, крест на груди — верные признаки кандидатки наук по русскому языку, физике или химии. Моделями работают светские молодые девушки, но у светских молодых девушек ограниченный круг знакомств.

Конечно, главное для них — это заглатывать жизнь большими кусками, символизировать собой радость жизни. Как весело, как бесшабашно живется, бегается по пляжам, прыгается с самолета — на яхту в широтах Антигуа. В Израиль? Почему бы нет? В Россию? Можно и в Россию. Кашмир? И туда тоже. Но еще лучше — Афганистан и Сикким, все так таинственно-таинственно, вот уже и до Китая недалеко, и до полной загадок жизни Индии…

Нет больше слуг во французской ливрее, венецианских люстр, анфилад салонов — вместо этого в их жизни есть смесь белого и черного, много рационализма, но с примесью фантазии и оттенков индивидуальности во всем… всевозможные оригинальности — крашеные яйца, металлические безделушки, сплав шведской эротики и комфорта. Что еще? Ах, да! Как она, парижанка, общается? Где она принимает друзей? Ну конечно — в бистро! Неважно где, в каком-нибудь уголке — забавном или даже хамоватом. В свитерке — неважно в чем. А вечером надевается что-нибудь непредсказуемое, с каким-нибудь пустячком — но чтобы выделиться! — и вперед, на улицу Пренсес, на премьеру Лозе, Лелюша или Пазолини.

Есть, таким образом, опасение, что Париж в один прекрасный день переместится в Лондон. Хотя нет, такого не может быть — ведь в Лондоне уроженка Бразилии никогда не сможет стать парижанкой!

Конец гуманизма?

Со времен Иисуса, Сократа — и до Каласа, Дрейфуса и далее человек чувствует себя плохо в своем мире. Его распинали, жгли, вешали — и слишком часто несправедливо. Ветхозаветные времена изобилуют ужасами, новые времена — не лучше. Взять хотя бы известных всем прекраснодушных особ, специализировавшихся на гуманизме: царь Давид мог быть злодеем; греки времен Перикла калечили своих рабов; Жан-Жак Руссо бросал своих детей. Через всю историю проходят преступления и попрания справедливости, резня, беженцы, костры и концентрационные лагеря. Самое трудное во всем этом — отличить палачей от жертв: чаще всего это одни и те же лица.

Все периоды мировой истории — Римская империя, Византия, Китай, власть католической церкви, законная монархия, национализм, социализм — внесли в нее свой вклад мерзостей и беззаконий. Строго говоря, им нечем похвастаться друг перед другом. И все же было нечто, что не переставало слабой искрой мерцать в этой долгой ночи: это была мысль о человеке, его правах, его достоинстве. Была инквизиция — но был и Христос. Были Нерон и Калигула — но был и Марк Аврелий. Были чудовищные преступления и Варфоломеевская ночь — но были Святой Людовик и святой Венсан де Поль. Главное — была надежда на человека: пусть все было далеко не совершенным, но оно *могло* стать таким, все *должно* было стать таким — завтра… Ради этого — в числе прочего — совершались революции; всегда находились гуманисты, волнующиеся за человечество в своем малом уголке и вздымающие руки к небу — в позе немного забавной, но достойной восхищения.

То, что происходит с человеком сегодня, не связано с тем, что он чувствует себя плохо, — он никогда не чувствовал себя хорошо. Дело в том, что он вообще никак себя не чувствует. Как редингот, который больше не носится, — он вышел из моды.

Одна из отличительных черт нашего времени — это диктат культуры над человеком. Сам человек при этом выходит из моды, устаревает. Сегодня заговорить о

человеке как центре культуры, о гуманизме в культуре — лучший способ вызвать у наших патентованных интеллектуалов едва сдерживаемый философский смех.

В 1917 году в своем трактате «Проблемы психоанализа» Фрейд похваляется тем, что «нанес самолюбию человека третье унижение — после Коперника и Дарвина».

И действительно: по системе Птолемея, человек был центром вселенной. После Коперника и Галилея он оказался в зыбком пространстве, которое более не вращается вокруг него: он может сколько угодно исследовать и покорять планеты — они уже не принадлежат ему по праву. На вершине науки и человеческого могущества астрономия нанесла первый удар по антропоцентризму.

После пространства то же произошло и со временем: история, как и пространство, оказалась отчужденной от человека. Дарвин резко положил конец шести тысячам лет общения человека с его Творцом и заменил их генеалогией — длиннейшей и постыдной, — по которой человек оказывался всего лишь приматом, младшим кузеном обезьяны.

И вот уже психоанализ Фрейда, вслед за запретом человеку владеть пространством и временем, отказал ему в абсолютном праве управлять самим собой, — в котором человек всегда был так наивно уверен. Так что 1917 год — год двух революций, Февральской и Октябрьской — останется в истории, помимо прочего, годом, в котором еврейским пророком было выписано свидетельство о победе над человеком как состоятельной личностью.

Одним из ключевых моментов этого унижения является отказ признать за человеком свободную инициативу в мышлении и ответственность за свои мысли. Долгое время величие человека заключалось в его свободе. Хозяин себе и окружающему миру, человек сам был источником, началом, импульсом. Человек оставался центром мира — во всяком случае, духовного. Все эти последующие его «перевоплощения» сделали из него некую случайность, продукт, производное. Вы воображаете, что сами думаете, сами говорите, сами выбираете и решаете? Чистейшее заблуждение! Человек — лишь жертва сил и структур, стоящих над ним.

…Что это — нас вернули во времена Гольбаха, Гельвеция, Тэна, к некоему старому позитивизму? Нет, в современной мысли появился новый элемент, более тонкая диалектика: человек объявляется ныне пленником самого себя и собственных творений.

Он пленник своей истории, языка и — сущий парадокс! — собственной свободы. Все послевоенное время проходит под знаком экзистенциализма, идеи свободы. Но эта свобода до безобразия напоминает анекдот про пьянчужку, который бесконечно ходит кругами возле решетки — такими обносили деревья в Париже — и восклицает наконец: «Ах, прохвосты! Они заперли-таки меня снаружи!» Именно это имел в виду, но в более академических выражениях, Жан Бофре, когда писал о свободе по Хайдеггеру: «Свободы у нас никто не отнимает, но такой свободы, которая скорее обладает нами, чем мы — ею».

В самой своей «свободе», в самых интимных своих проявлениях человек более не принадлежит себе. Его опора содержится не в нем самом — где-то в другом месте. И не надо искать эти опоры в примитивных постулатах детерминизма прошлого: сегодня человек подчиняется уже не материальным вещам, не своим животным инстинктам. О, все намного благороднее: это Бытие, Свобода, Язык — такие заглавные буквы можно рассеивать понемногу везде. Человек не порождает эти концепты сам. В лучшем случае он — точка пересечения неких идей, носитель вложенной в него готовой идеи или ее передатчик. В конечном счете даже возникает вопрос: а стоило ли человеку отказываться от Бога — чтобы заменять его чем вздумается?..

Современным человеком якобы управляют скрытые силы. Наши пресловутые «гуманитарные науки», искусство не имеют ничего общего со здравым смыслом и жизненным опытом — столь модными в веке 18-м. Вся современная мысль больна поиском неких подспудных основ бытия, философией *низа*, который надлежит

извлечь на свет божий. Психоанализ, марксизм, структурализм воплощают собой — одно пуще другого — эту философию низа, по которой человек управляется разными абстрактными понятиями: социальными классами, экономическими отношениями, инфраструктурами, несовершёнными поступками, тиками, мудрыми высказываниями, отвращениями, системами познаний — всей этой невидимой глубинной реальностью, но весьма значимой и настоятельной, которую необходимо выявить осознанием, анализом, археологическими раскопками.

Вся эта розыскная работа осуществляется с помощью еще одного ключевого понятия нашего времени, помешанного на свободе, — это *система*, *теория*. Возможно по наследству от Гегеля, все сегодняшние знания настойчиво стремятся в систему, подгоняются под какую-нибудь теорию. И все эти «системы», сталкивающиеся, как воюющие королевства, на наших глазах, претендуют *каждая* на овладение *всей* мыслью, всеми областями культуры.

Говоря прямо, речь идет о различных проявлениях тоталитаризма, чтобы не сказать терроризма, которые борются между собой и грозят удушить человека: тоталитаризм марксизма, тоталитаризм экзистенциализма, структурализма, психоанализа… Всё огулом должно быть подчинено данному тоталитализму. Так, мы могли видеть марксистскую математику, биологию, живопись; экзистенциалистские романы — и такие же ночные клубы. Психоанализ атакует искусство и политику. На достижениях и крайностях модного структурализма мы тоже долго не задержимся — нам предложат очередную теорию. После великих и прекрасных иллюзий дадаизма и сюрреализма дух теории стал одерживать победу за победой. «Отсутствие системы, — писал Тристан Цара, — это тоже система, причем самая симпатичная». Увы! Человек гибнет под грузом систем — и далеко не самых симпатичных.

Философия низа, тоталитаризм теорий… Есть и третья составляющая современной культуры — ее надо искать в авторитете *формализма*. Что такое формализм? Скажем только — и немного грубо, — что формализм отдает предпочтение организации элементов сообщения перед содержанием сообщения. Его идеал — в математике, где, по известному высказыванию, никогда не знаешь, о чем идет речь: яблоках или грушах; отвернутых кранах; поездах, встречающихся в пустоте; воображаемых бабушках, которые уносятся на пушечных ядрах, чтобы вернуться более молодыми, чем их внуки… ни о том, насколько все это верно…

Все усилия гуманитарных наук, одержимых математикой, сводятся к выработке такого языка, который стал бы выражением абстрактной логики. Ролан Барт ясно высказался на этот счет: «Литература есть лишь язык, то есть система знаков. Ее суть не в сообщении, а в самой этой системе». Уже Витгенштейн, один из отцов современной философии языка, заявлял: «Не задавайтесь смыслом, занимайтесь употреблением». То есть смысл имеет сама организация значащих элементов, а не раскрытие содержания означаемого целого — структура, а не суть.

Ау! Мы видим здесь торчащее ослиное ухо нашей «ученой» литературы, презирающей сюжет, историю из жизни, низкую тематичность — и полной преклонения перед языком как таковым. В ней язык не служит тому, чтобы поведать что-либо о мире и человеке, но довольствуется сам собой и возвращается к самому себе — в чем-то вроде бреда, о котором могут дать представление, например, такие фильмы, как «Человек, который лжет» Роб-Грийе, современная живопись или романы Солерса.

Этот конец творения как такового — в отсутствии всякой отсылки к реальности: оно не желает и не позволяет ссылаться ни на что, кроме себя самого или другого произведения. Этим и объясняется современный мир культуры, все более похожий на закрытое собрание китайских мандаринов, все более непрозрачный для повседневных нужд, все более загражденный от них словарем и синтаксисом — увы, неодолимыми.

Этим же объясняется отчасти, почему та или иная картина Пикассо не относит нас к окружающему миру — к его стульям, гитарам, быкам, женщинам: он явно привязывается к такой-то картине Мане или к «Менинам» Веласкеса.

В общем, культура не отражает жизнь — она отражает себя. В крайнем случае, по известному высказыванию О. Уйальда, который находил в небе отражения картин Коро, это природа подражает искусству. Но дело-то в том, что человек — это не только культура, это еще и природа. И вот, будучи плодами человека, сокровищами человека, — литература, искусство, наука, культура «плевать хотели» на самого человека: они работают теперь на отрицание смысла его жизни и на его уничтожение.

Однако, прыгая козликом с возгласами «Человек!», «Человек!», рискуешь оказаться бесповоротно за рамками современной культуры. Занять место в культуре эпохи чертовски трудно. Доброе, красивое, правдивое — не в счет. Нужно то, что «клеится» к эпохе. Я уже говорил о моде. Но ее недостаточно. Здесь нужно то, что называется «духом времени», культурным тождеством. От этого никуда не денешься. Так, например, у романтизма были свои крайности, но классицизм уже не годился в 1830 году. У романтизма были и свои достоинства, но он умер в 1880 году.

Заставить культуру нашего времени вернуться к человеку будет трудной задачей. Я думаю, что она это сделает, но столь обходными путями, что их трудно предвидеть. Что мне кажется вероятным, так это что ее нельзя спасти просто добрыми чувствами, благородным негодованием, воззваниями к высоким принципам или к традициям гуманизма. Особенно того гуманизма, что был свойствен некоему папе римскому, у которого были слишком скверные понятия для такого большого друга человечества: например, он отправлял детей в угольные шахты, а взрослых — в соляные…

Нужно вообще избегать широких жестов и воздевания рук. Мне кажется, было бы хорошо научиться смеяться громче, чем другие. Умение найти то смешное и безобразное, что есть в любой навязчивой теории, могло бы здесь здорово помочь.

Многие современные философы связывают, по примеру Фуко в его «Словах и вещах», смерть человека — со смертью Бога. Человек «убил» Бога — теперь пришла очередь убийцы; он уже в агонии, а отделившийся от него язык уже стережет его последний вздох, чтобы захватить его место. Да будет мне позволено, смеха ради, рассказать по этому поводу маленькую историю. Некая набожная душа с ужасом читает на стене надпись мелом: «Бог умер». Подпись — Ницше. Она вытирает надпись и пишет на этом же месте: «Ницше умер». Подпись — Бог…

У человека жизнь еще труднее, чем у Бога. Человеку можно причинить много зла, но разложить его, убить — трудно: этот маленький зверек слаб, но вынослив. Его не уничтожили ни Бог, ни бичи Господни, ни мистики, ни тираны, ни потоп, ни чума… Он устоит перед наукой, перед бомбой, перед теориями, машинами, перед Мальтусом, прогрессом, перед Ницше и его сверхчеловеком.

Я предвкушаю иногда, каким жестоким будет пробуждение формалистов (талантом которых я восхищаюсь) и прочих пророков конца человека. Столь же жестоким, какое они сами предрекают «старым» гуманистам, прибегающим в непонятном порыве сочувствия к изголовью больного человечества. Мы узнаем всех этих гуманистов — взволнованных, не столь усыпленных, как можно было опасаться, крепких, прижавшихся друг к другу в прочных и чуть лицемерных объятиях — их объединил общий ужас перед структурализмом: вот Франсуа Мориак, неблагодарный праправнук инквизиции; вот Роже Гароди, духовный сын коммунизма, правда, забывчивый; вот Жан-Поль Сартр, немного растерянный, но все такой же моралист. Вероятно, он устал валять в грязи «экзистенции» и «свобод» этих негодных гуманистов и вспомнил, что он сам гуманист. Он-то, как философ истории и в глубине души христианин, и займет достойное место в этой галерее фамильных портретов — со специальной табличкой, которая делает ему честь: «Главный гуманист: он отказался от Нобелевской премии из любви к человечеству».

Перевод с французского
Елены Чижевской.

Димчо ДЕБЕЛЯНОВ: «Чтоб радость пробудить в чужой печали»

Димчо Дебелянов — классик болгарской поэзии, один из наиболее ярких и трагических ее представителей. Родился 28 марта 1887 года в Копривштице, детство провел в Пловдиве. С 1904 г. жизнь и творчество Димчо Дебелянова связаны с Софией, где впервые были опубликованы его стихи в журнале «Современность». В 1907 году Димчо Дебелянов поступил на историко-филологический факультет Софийского университета. С этого времени и в течение последующих девяти лет поэт активно сотрудничал с журналами «Современник», «Новый путь», «Оса» и др. Димчо Дебелянов писал не только стихи, но и прозу, и рецензии, и сатирические фельетоны, которые публиковал под псевдонимами Аз, Амер, Тафт, Сулбатьор и др. В 1914 году, с началом мировой войны, Димчо Дебелянов, как и многие его современники, попал под призыв и был отправлен на фронт, где погиб в октябре 1916 года.

В своем творчестве Димчо Дебелянов говорит от лица обреченного поколения, чья молодость пришлась на время мировой войны. Как на поэта, на Дебелянова оказали влияние его соотечественники — Пенчо Славейков, Пейо Яворов, и зарубежные современники — символисты Поль Верлен, Валерий Брюсов, Александр Блок и др., чьи произведения он читал в оригинале, владея французским и русским языками. В своих поздних произведениях Димчо Дебелянов преодолел влияние символизма и пришел к традиционной поэтике.

Лучшие произведения Димчо Дебелянова по праву могут быть причислены к шедеврам мировой поэзии. Лирические интонации Дебелянова близки к интонациям Лермонтова, Тютчева, Блока. В подборке новых переводов представлены наиболее значимые произведения поэта, охватывающие весь период его творчества.

Иван Голубничий

ПОЛЕТ

Par delà le soleil, par delà les éthers*.
Ch. Baudelaire

От мерзости дней, суеты повседневной,
Блажен, кто достойно свой дух отвратит,
Порвет он вериги постылые гневно
И в небо пылающим вихрем взлетит.

Там, жаждущий смерти, бесстрашно и твердо
Над вечным покоем свершая полет,
Средь звезд повстречается с молнией гордой,
И, царственным счастьем убитый, падет.

---

* За солнцем, за эфирами. *Ш. Бодлер.*

* * *

Вернуться бы к родительскому дому,
Когда закат смиренно догорает
И ночь, неслышно расточая дрему,
Несчастных и скорбящих обнимает.
Как бремя, бросив черную усталость,
Что дни тебе лихие завещали, —
Ты робким шагом потревожишь радость
Тому, кого любили здесь и ждали.

Старушка-мать обнимет у порога,
И ты, склонивши голову, утонешь
В ее улыбке, ласковой и строгой,
И будешь звать ее, как звать на помощь…
И в дом вернешься, после дальних странствий
Последний твой приют неразделенный,
Шепча слова неслышные в пространство,
В икону взгляд уставив утомленный:
Вернулся, чтоб заката дожидаться,
Ведь солнце краткий путь твой исчерпало…

О тайный вопль прозревшего скитальца,
Что Родину увидел запоздало!

МОЛИТВА

Закрой уста мои рукою,
Когда в скитаниях мятежных
Душа потребует покоя
И затоскует безутешно;
Рукой своею охрани мя,
Чтоб в вечных муках и страданьях
Не осквернить святое имя
Нечистым словом отрицанья!

ПИСЬМО

День тихо в дальний край отчалил,
Принесши зной и благодать,
И ночь пустынную оставил
На город слезы проливать.
Сегодня ночью посвящаю
Печаль тебе я навсегда,
И, озаренный, вспоминаю,
Как в первый раз услышал «Да!».

ЧЕРНАЯ ПЕСНЯ

Умираю и опять рождаюсь —
Противоречивая душа.
Днем неутомимо созидая,
Ночью начинаю разрушать.

Позову ли день светло-смиренный —
Ураган над морем загремит.
Бури ль пожелаю — и мгновенно
Всякий шум затихнет, в тот же миг.

О заре пылающей мечтаю,
О заре слепящей, неземной,
И весной, как в осень, умираю,
Осенью воскреснув, как весной.

И в бесстрастном времени сгорает
Жизнь моя — упавшая звезда,
Грезу о прощении теряя
В пустоте великой навсегда.

СИРОТСКАЯ ПЕСНЯ

Если сгину на войне я,
Кто ж заплачет обо мне-то —
Мать скончалась, о жене я
Не подумал. Друга нету.

Это сердца не тревожит —
Сиротой познал я беды,
И в утеху мне, быть может,
Смерть дождется здесь победы.

Тяготясь своей судьбиной,
Все добро неся с собою,
Я богат своей кручиной
И несбывшейся мечтою.

Скоро я уйду в безвестность —
Так же, как пришел, бездомным,
Но спокоен, словно песня,
Та, что лучше и не помнить.

* * *

Шумит поток в долине где-то,
Тревожа память давних дней, —
По этой тропке неприметной
Я шел когда-то рядом с ней.

Шел дождь неслышно, безучастно,
Но нас объял восторг немой
Перед волной большого счастья,
Перед влюбленною весной.

Но пусть несказанными будут
Слова, печальны и горьки,
О том, что мы познали чудо
И снова стали далеки.

СМЕРТЬ

Лишь тихо веет ветер ароматный,
А мир, завороженный, крепко спит.
Лежат просторы дали необъятной,
И светлый ангел сон на них кропит.

Последний возглас дня, что умирает,
В невидимые волны упадет…
Крыло меня святое осеняет,
И сладкий голос в даль меня зовет.

На беспредельном небе звезд бессчетно,
Что призваны на этот пир святой.
И вот уже душа в восторге кротком
Уснула в бесконечности златой.

ОТДОХНОВЕНИЕ

Ты приди, и влюбленно, и чутко,
Дорогая, меня разбуди,
В час, когда пробуждается утро
На затерянном в бездне пути;
Ты приди и болезненно-нежно
Ароматы разлей над душой,
И о счастье далеком, безбрежном
Сладкозвучную песню запой.

Пробужденный тобою, я встану,
Прогоню омертвляющий сон,
И с тобою, зарею желанной,
Голубою мечтой вдохновлен —

Устремляясь к созвездьям небесным,
Смело глядя на диск золотой, —
Полечу над равниной и бездной,
Полечу над печалью и тьмой.

О, тогда лишь желанным явленьем
Сновиденья мои разгони
На лазурной заре, без смущенья,
И полночный мой сон не брани.
Но покуда лучи не пробились,
Пусть хранит примиряющий сон
Заплутавшего в темных глубинах,
В черных безднах застывших времен.

ОТОШЕДШАЯ

И молодость, и белые цветы
Вечерней страсти жара не познали.
Идет она в сиянье красоты,
Чтоб радость пробудить в чужой печали;
В ее очах восторженные грезы,
Как две новорожденные звезды,
И две младые, жаждущие розы
Раскрылись ярко на ее груди.

Однажды ночью, посмотрев едва,
Она меня на встречу пригласила,
Но, грешные отвергнувши слова,
Моя душа невинность сохранила,
Ведь в ней томилась в чистом сне блаженном
Весна, цветами белыми полна —

А ныне всяк взирает с сожаленьем:
Они цветут, но отцвела она…

Перевод с болгарского
Ивана Голубничего.

Терпи, мужайся, верь
*Письма Василя Витки**

Несколько слов о моем деде

Мой дедушка, Василь Витка (Тимофей Васильевич Крысько) прожил долгую жизнь: он родился в 1911 году и умер в 1996 году. Таким образом, ему привелось жить в трех странах — в Российской империи, в Советском Союзе и в независимой Беларуси.

Мне повезло, что дед прожил так долго: он был со мною на протяжении целых тридцати трех лет. И в каком-то очень важном, может быть, самом важном смысле остается со мной до сих пор.

За свою жизнь дед успел чрезвычайно много: он был прозаиком, поэтом, педагогом, автором пьес, повестей и эссе. Кто в Беларуси не знает созданного им журнала «Вясёлка»? Несколько поколений белорусских детей училось читать по его «Роднаму слову», и практически все вступали в мир поэзии с помощью его сказок («Вавёрчына гора», «Дударык» и др.). Вовсе не случайно он был награжден Международным почетным дипломом имени Ханса Кристиана Андерсена и занесен в список великого датского сказочника — список, включающий лучших сказочников всех стран и народов. Этот диплом дед спрятал и никогда о нем не говорил. Помню, как я, девочка-подросток, удивлялась: почему? Это же его заслуга, его достижение, почему бы и не упомянуть об этом при случае? Приятно же! Дед качал головой: «Это неинтеллигентно».

Это был один из основных критериев его жизни — интеллигентно или нет. Я ничуть не удивилась тому, что в «Сказе пра Лысую Гару» дед — один из немногих положительных персонажей: по его понятиям, интеллигентность диаметрально противоположна суетности. Отсюда — полное отсутствие интереса к дачам, машинам, мебели и прочим атрибутам «красивой» жизни, каковой она виделась советским людям, в том числе и некоторым писателям. Отсюда же, от этого строгого, даже сурового кодекса интеллигентности — брезгливое презрение к интригам и сплетням. И еще — тихая повадка, никогда не повышаемый голос: интеллигентное поведение включает деликатность и вежливость. Дед никогда не злословил и никому не завидовал.

Эта планка интеллигентности, которую дед ставил перед собой (да и передо мною — с самых ранних лет), зиждилась на нескольких твердых бытовых опорах: ежеутренняя прогулка в парк (там дедушка в любую погоду кормил птиц), ежедневный труд писательства, ежедневное чтение (книги до сих пор хранят его аккуратные комментарии на полях), ежевечернее слушание классической музыки. Да, еще много времени занимали ответы на письма: ему писали белорусские школьники и академик Лихачев, деревенские учителя и великие советские педагоги Сухомлинский, Шаталов и Амонашвили. Он отвечал на письма по мере поступления, и нередко сельский второклассник получал его ответ прежде академика.

На похороны деда съехалось огромное количество учителей со всей страны. И столько же студентов — в основном педагогических специальностей.

Деду был свойствен неиссякаемый, какой-то не по возрасту молодой интерес к жизни. Когда на волне перестройки писателей в одночасье лишили льгот, в том

---

* Дается в авторской редакции.

числе пользования «лечкомиссией», я позволила себе посетовать по этому поводу. Дед нахмурился: «Какое это имеет значение? Посмотри лучше, какие события в стране происходят!» Последняя его запись в дневнике — накануне смерти — касалась нового средства против рака. Дед радовался, что оно спасет людей. Назавтра его не стало.

Именно на примере деда я поняла, что такое — интеллигент, и в частности, что такое — белорусский интеллигент его поколения: крестьянский сын, поверивший в то, что просвещение и образование — единственное, что может спасти мир. Уже будучи студенткой я впервые задумалась о том, где же учился мой интеллектуальный дед, читавший, казалось, все на свете и не допускавший ни одной стилистической, речевой или письменной ошибки. Узнала — лишь в деревенской школе и в Бобруйской профтехшколе. Все остальное — самообразование вплоть до смерти: за неделю до страшного дня (пятого июля 1996 года) дедушка попросил принести ему Бродского и Венедикта Ерофеева. Это при том, что был он человеком явно классического, просвещенческого толка.

Письма, отобранные для публикации из его огромного эпистолярного наследия, в первую очередь, показательны с точки зрения становления этого первого поколения белорусской интеллигенции «из крестьян», с точки зрения тех «методик жизни», которые создали и первоначальный мир белорусской литературы, и самого белорусского писателя как особый, уникальный тип человека. Публикуемые письма (всего их сохранилось 256, и сегодня печатается лишь небольшая их толика) относятся к периоду Великой Отечественной войны. В те годы молодой журналист и начинающий писатель Тимох Крысько (на фронт он не попал по состоянию здоровья) жил в Москве, где работал в белорусском издательстве, в газетах «Савецкая Беларусь», «Раздавім фашысцкую гадзіну» и «Партызанская дубінка».

Читать эти письма следует с «поправками»: каждому советскому человеку было хорошо известно, что переписка (особенно в военные годы) активно перлюстрировалась, потому о многом не писали, в лучшем случае — намекали. Адресаты читали между строк. Так, в одном из писем есть краткая подчеркнутая пометка в скобках «1937 год». Она никак не расшифровывается, но в памяти семьи было живо воспоминание о том периоде: тогда моего деда уволили из газеты за «недоносительство», и он вместе с семьей переехал в Пуховичи, где работал сторожем. Его друг, поэт Рыгор Лыньков, пересылал деду стихи, нуждающиеся в переводах на белорусский язык, печатал их под своим именем и пересылал в Пуховичи полученные за них деньги. Именно из-за дамоклова меча цензуры в письмах нет, например, упоминания о трагической гибели Янки Купалы, произошедшей в той же гостинице, где жил и мой дед. Да разве только этого... О многом можно только догадываться.

И напоследок — об адресатах писем. Это эвакуированные в Курган жена и дети. Моя бабушка Ольга Григорьевна (1911—1993) в пору их знакомства с дедом (1936 год) была актрисой Театра рабочей молодежи (ТРАМ). Ее карьера была уничтожена войной, и бабушка отдала всю жизнь созданию особого — тихого и чуткого — микроклимата в доме. Уверена, что дед вряд ли смог бы написать свои книги без ее молчаливой помощи. Мой отец, Виссарион Тимофеевич, в письмах «Вилик» (1937—2008), всю жизнь проработал хирургом-травматологом, не уйдя из практической медицины даже после защиты диссертации. Папа оставил интересные мемуары, которые еще ждут своего читателя. Моя тетушка, Наталья Тимофеевна («Наталка»), профессиональный редактор, живет в Москве.

В письмах отражен временной «участок» с августа 1941 года по август 1944-го. В них проступают и «красная линия» жизни автора и его семьи, и — что не менее, а, возможно, и более важно, — «красная линия» ценностей первого слоя белорусской интеллигенции. К сожалению, ушедшего из жизни, но, по счастью, не ушедшего из памяти.

Юлия Чернявская

1941

24 октября

Моя родная, моя хорошая Олюська[1], мои дорогие деточки! Сегодня меня беспокоит и волнует одна мысль — переехали ли вы, добрались ли вы здоровыми и как там устроились. Я пишу тебе, моя милая, моя сердечная Люсинька, надеясь, что, может быть, получу от тебя письмецо и ты мне напишешь, дашь о себе, о детках весточку. Я нахожусь в Ивановской области, гор. Вязники. По этому адресу до востребования напиши мне, родная, пару слов. Не знаю, сколько мы здесь пробудем, но говорят, что дней 10—15, может, и больше. Может быть, и успеет прийти твое письмо, такое для меня долгожданное. Я по-прежнему работаю в редакции газеты. Возможно, что на долгое время для работы мы переедем в Горький или Чебоксары. Но пока переедем, хотелось бы получить от тебя весточку. А в дальнейшем я уже буду знать, где ты, и писать тебе, родная, регулярно. Недели две назад я из Тулы послал тебе в Курган 300 рублей, на имя Папы. Вчера выслал тебе 200 руб. Получила ли ты их? И в дальнейшем все, что смогу, все, что у меня будет, буду высылать вам. Только бы вы были здоровы, сыты и одеты.

Я работаю вместе с Кузьмой Чорным, подружились мы с ним, даже спим на одной кровати. Хороший это, сердечный человек. Ты ведь его хорошо знаешь. Привет тебе от него. Его жена и дочь в Саратовской области, живут в деревне.

Олинька моя дорогая, Люсинька моя хорошая. Обо мне не беспокойся. Смотри за собой, за детками. Как бы мне хотелось взглянуть на вас, мои родные, мои милые, прижать вас крепко-крепко и расцеловать. Будем ждать этого счастливого момента, бог даст, придет это радостное время, когда мы опять будем все вместе. Эту надежду я лелею как самое чистое, самое заветное в душе.

Родные мои, счастье мое, старайтесь пережить, перетерпеть эти тяжелые испытания. Сейчас каждый человек, стиснув зубы, напрягает все свои усилия для спасения своего счастья, своей Родины. Горе сплотило людей, объединило их великой силой.

Люсинька милая, любимая моя, целую тебя, всю, всю, всю… Как целовал когда-то. Милая моя, хорошая. Тяжело. Вспомнил — слезы не дают писать. Как люблю я тебя, родная моя, моя терпеливая. Целуй деточек. Поговори с ними обо мне. Смотри, милая, жалей их, будь умницей.

Целуй за меня всех родных наших. Сердечный им привет.

Твой Тима.

10 декабря,Чебоксары

Родная моя Олюська, мои милые деточки!

Пишу тебе по этому адресу на счастливый случай. Может быть, ты не выехала. Потому что на все свои письма к тебе в Курган я не получаю ответа. Оленька, напиши мне по адресу: Чувашская АССР, гор. Чебоксары, редакция газеты «Красная Чувашия», комната № 20. И еще по адресу: Чкаловская область, гор. Богуруслан, редакция райгазеты, сотруднику редакции «Советская Белоруссия», мне. Мы находимся в Чебоксарах, но, возможно, переедем в Бугуруслан. Поэтому напиши на оба адреса. Родная, моя хорошая, дай мне весточку о себе, о детках. Целую вас, мои милые.

Ваш Тима.

22 декабря, Чебоксары.

Люсинька, моя милая, моя хорошая, мои родные деточки Вилик и Наточка, мои дорогие родные папа, мама и все-все!

Какой у меня сегодня счастливый день! Я получил сегодня, Люсинька, от тебя твои два письма. Какая это для меня радость. Родная моя, только сейчас я

---

[1] Олюська, Люсенька, Оленька — О. Г. Крысько, жена Василя Витки (1911—1993).

смогу спокойно и уверенно работать и жить, узнав, что ты, моя милая, моя хорошая, моя терпеливая Олюська, устроилась с деточками, нашла теплый угол, внимание и заботу родных. Передай, Люсинька, маме, папе и сестрам мое сердечное спасибо, мою душевную благодарность. Я им буду многим обязан за тебя, моя любимая, за наших деточек. Поцелуй их всех за меня.

Оленька моя, обо мне не беспокойся, я живу хорошо. Тепло одет, хорошо питаюсь. Старайся сохранить свое здоровье и здоровье деток. Буду тебе помогать чем смогу. Сегодня выслал тебе двести рублей. При первой получке вышлю еще. Главное, что я теперь уже буду знать твой адрес. А то я отсюда уже писал тебе даже на твое старое место в Куйбышевскую область, думая, что вы не смогли выехать. Ты, наверно, уже получила и мое второе письмо, посланное через Казань. Это туда (потерто. — *Ю. Ч.*) на белорусский митинг, и я передал его Кузьме Чорному, чтобы он оттуда переслал его тебе, надеясь, что так ты его скорее получишь. Насчет переезда из Чебоксар еще не решено. Возможно, мы здесь останемся и будем работать, а будем уезжать — я тебе сообщу. Так что пиши мне в Чебоксары по старому адресу.

Пимен Панченко и Максим Танк работают в редакции одной из фронтовых газет. Также Михаил Логинов, Гурский, Стахович, Крапива, Кучар, Бровка, Кузьма Чорный работают со мной вместе. Я с ним очень сдружился. Это замечательный душевный товарищ. У Максима Танка — сын. Я, кажется, писал тебе об этом. Люба[1] живет в Саратове. Адреса ее не имею. Помню, что в одном из писем еще из Болхова я тебе указывал его, если ты письмо получила. О Генечке[2] и Грише[3], о Соне[4] мне не удалось ничего узнать. А Ганя[5] ведь в армии, еще в Гомеле мы получали от него открытки. Я просматривал все списки эвакуированных, правда, лишь в Куйбышевскую область, но никого из родных не нашел. А тебя с детками нашел, и ваш адрес. Хоть я и знал, что вы уже выехали, а как-то радостно было читать и смотреть на ваши родные имена. Олинька, деточки мои, поздравляю вас и всех родных с новым наступающим годом. От всей души целую тебя, моя родная. Поцелуй Вилиньку и Наталочку, поговори с ними обо мне. Твой Тима.

1942

14 февраля, Москва

Оленька, родная моя, милая!

Вот я уже полмесяца в Москве, а от тебя все нет и нет весточки. Очень беспокоюсь, здорова ли, здоровы ли мои милые Вилинька[6] и Наталочка[7]. Родная моя, пиши мне почаще, пиши по одному, по два слова, и я буду счастлив, что хоть на расстоянии буду разговаривать с тобой, с детками. Сейчас у нас очень много работы. Красная Армия уже вступила на территорию Белоруссии. Придется работать день и ночь. И осознание этого только радует. Скорее бы на родную землю. Ты поймешь мое настроение вот по этому маленькому моему стихотворению:

Горкі вырай
Мой родны, сіратлівы дом —
Бязлісты вяз с пустым гняздом!

---

[1] Люба — Любовь Скурко, жена Максима Танка.

[2] Генечка — Геня Лынькова, сестра О. Г. Крысько, жена писателя Рыгора Лынькова. Расстреляна фашистами у п. Старые Дороги вместе с двухлетней дочерью Аленкой.

[3] Гриша — Рыгор Лыньков, друг Василя Витки, писатель. Погиб на фронте.

[4] Соня — Софья Анищук, сестра О. Г. Крысько.

[5] Ганя — Гавриил Анищук, муж Софьи Анищук.

[6] Вилинька, Вилик — Виссарион Крысько, сын Василя Витки (1937—2008).

[7] Наталочка, Наташа — Наталия Крысько (Гавриловец), дочь Василя Витки (род. в 1939 г.).

Але ўжо ловіць прагны слых
Ваш лёт, далёкія буслы.

Зазелянеў магутны вяз,
І зноў вясна склікае нас.
Бывай, мой вырай — шлях пакут,
І я за птушкамі ў свой кут!

Высылаю тебе два номера газеты. В одном из них мой стих «Судны дзень». С ним я выступал в Москве по радио. Стихотворение получило очень высокую оценку.

Оленька, милая моя, хорошая! Если бы ты знала, как мне хочется видеть тебя и деточек. Но пока надо работать, делать все для того, чтобы очистить от немчуры нашу Беларусь. И тогда мы опять будем вместе, вместе будем делить и горе, и радости.

Писал ли тебе Михась Лыньков? Он брал твой адрес. Когда он узнал, что ты писала, будто видели Ханну Абрамовну[1], он очень обрадовался. Это вселило в него потерянную надежду на то, что она все же жива и ушла из Минска.

Милая моя, хорошая Люсинька! Хоть и неудобно мне часто повторять один и тот же вопрос, но это очень волнует — получаешь ли ты от меня деньги? Из Казани я тебе послал четырьмя переводами 1700 р. Если получила ты их, то очень хорошо. Постарайся, родная, поддерживать себя и деточек. А я буду при малейшей каждой возможности присылать вам и в дальнейшем.

Родная моя, скоро надеемся быть на родине, на Белоруссии. Часть наших товарищей уже выехала устраивать жизнь в освобожденных районах Витебщины. Крепись, моя хорошая, моя терпеливая, и жди нашей счастливой встречи. Крепко-крепко целую тебя — как целовал и как буду еще целовать. Целуй моих милых, моих хороших деточек. Сердечный привет всем. Твой Тима.

23 февраля, Москва

Люсинька, моя родная, моя милая.

Я получил твое письмо с известием о болезни Вилика. И сразу тебе не мог ответить. Я все еще никак не могу прийти в себя, отделаться от этого тяжелого чувства.

Боже мой, как нам спасти, поддержать здоровье нашего мальчика. Сколько ему, моему милому Вилиньке, уже пришлось вынести. Тот первый раз — воспаление легких, и вот опять.

Олинька, милая, хорошая, родная, прошу тебя, умоляю — не скрывай ничего от меня о его болезни. Почему ты не писала?

Родная моя, не жалей для деток ничего, все, что есть, все, что можешь достать, — отдавай им. Старайся поддержать, сохранить их здоровье до того момента, когда мы, бог даст, опять будем вместе с тобой страдать за них, радоваться вместе с ними.

Как мне хочется быть с тобой, родная, в эту тяжелую для тебя минуту, вместе с тобой ухаживать за моим мальчиком.

Люсинька, сообщи мне, хватает ли вам хлеба, сколько ты получаешь, есть ли у вас белый хлеб? В Москве все это есть, даже печенье. И когда я, бывает, получаю по карточке его, то оно мне в горле застревает, как вспомню, что моим деточкам, может быть, черного хлеба не хватает.

Милая, хорошая, родная, ты не обижайся на мои глупые советы, я знаю, ты умнее и практичнее меня, но, добрая, сердечная моя, смотри, чтобы деточки были не голодны, чтобы они были в чистоте. Пусть не в роскоши. Ее сейчас не может

[1] Ханна Абрамовна — Х. А. Лынькова, жена писателя Михася Лынькова. Расстреляна фашистами у п. Старые Дороги вместе с сыном Марком.

быть, но чтобы чисто они жили. У вас ведь тесно, много людей, поэтому сейчас, когда возможны всякие эпидемии, надо беречься. Надо беречь, Люсинька, то, что нам с тобой дороже всего на свете, наше будущее — наших деточек.

Милая моя, хорошая, родная. Пиши мне почаще, пиши мне каждый день хоть по одному слову, и я буду рад, я буду с тобой разговаривать через сотни километров.

Милая, хорошая, терпи, мужайся, верь, что скоро встретимся. Я в это верю и только этим и живу. Уже освобождаются первые районы и города нашей Беларуси. И может, вслед птицам и мы полетим в свой край.

Люсинька, целую деточек. Поговори с ними обо мне, обо всем.

Крепко целую тебя.

Сердечный привет и поцелуй Арону[1]. Привет и поцелуй Еве, Любе, Нехаме, Славе[2]. Целуй за меня маму и папу. Теперь они стали для меня еще дороже, потому что моих, наверно, уже нет в живых. Ничего о них не знаю[3]. Твой Тима.

25 февраля, Москва

Оленька, моя хорошая, моя родная.

Видимо, у тебя нету конвертов, что ты так мало пишешь мне. Посылаю тебе конверты.

Пиши мне, моя милая, моя любимая, что с Виликом. Люсинька, теперь за ним надо очень следить. Смотри, не давай ему пить сырой воды. Я очень беспокоюсь о его здоровье. Всем, чем можешь, старайся поддерживать его. Ничего не жалей.

Вчера приходил Леша Зарицкий. Он служит в армии. Видел Юрку Лудько. Он работает в военной газете. О Вите с дочкой ничего не знает[4]. Она была с театром в момент войны в Барановичах. Конечно, выехать она имела полную возможность и, видимо, выехала. Но где она — Юрка не знает.

Вчера написал письмо Хвядосу Шинклеру. Он с семьей находится в Свердловске. Работает там телеграфистом.

Гурский, Пимен, Глебка и Кучар выехали из Москвы поближе к Белоруссии, где будут выпускать новую белорусскую газету. Вчера ходил к Михасю Лынькову. Он мне говорил, что получает письма от Анищука. Спрашивал, получаю ли я от него, потому что он дал ему мой адрес. Он где-то находится под Москвой в Армии. Я уверен, что о семье он ничего не знает. И если мне придется увидеть его, буду ругать на чем свет стоит. Почему он не спасал детей. Может, и не виноват он, но я всегда, когда вспоминаю его, думаю о нем со злостью и раздражением.

Оленька милая. Обо мне ты не беспокойся. Я жив, здоров. Хорошо питаюсь. Если бы ты и деточки были так обеспечены питанием, я был бы очень счастлив. Часто я думаю, может быть, если бы вы были на старом месте, в колхозе, то лучше были бы обеспечены, а главное — получали бы хлеб, молоко, картошку.

Да, еще мне говорил Лыньков, что написал тебе письмо. Он с нетерпением ждет — подтвердится ли слух о семье. Сперва он лишь радостно воспринял твое известие о том, что кто-то видел Ханну Абрамовну, а теперь говорит, что, наверно, это очередной обманчивый слух, который уже повторяется не впервые.

Оленька, моя милая, моя хорошая, героиня моя, страдалица, крепись. Пиши мне. Пиши почаще. Целую тебя. Целуй за меня моих Вилиньку и Наталочку. Передай мой низкий поклон папе и маме, всем родным.

Твой Тима.

---

[1] Арон — зять О. Г. Крысько, муж ее сестры Любови.

[2] Ева, Люба, Нехама, Слава — сестры О. Г. Крысько.

[3] Вся семья Василя Витки выжила, кроме отца, Василия Максимовича Крысько, замученного фашистами в тюрьме.

[4] Вероятно, речь идет о подруге О. Г. Крысько по совместной работе в театре Вите Брайчевской. Она пережила войну.

1 марта, Москва

Люсинька моя хорошая, моя любимая.

Почему ты не пишешь — что с Вилинькой? Беспокойство о нем не покидает меня ни днем, ни ночью. Скорее бы от тебя, родная, получить весточку. Что все же говорят врачи? Как его там лечить, как спасти его здоровье? Бедный мой мальчик, сколько ты перенес. Как вспомню все — слезы давят горло. Ведь когда мы уезжали, у него болела ручка. А ты, Люсинька, даже и не написала мне, зажила ли она. Не болит ли сейчас?

Как мне тяжело, мои милые, мои хорошие, без вас одному. Может, вы этого не замечаете. Хоть и трудно жить вам, а все же в семье родной, всем вместе легче перенести невзгоды, а мне невозможно найти ни духовного равновесия, ни опоры. Все хорошее только впереди, в будущем. И в той вере, что живет во мне, в той моральной чистоте перед тобой, Люсинька, перед вами, мои деточки, которую я сохраняю в себе, как самое дорогое, заветное, святое для меня. Это — мой Бог, высшая сила, поддерживающая и спасающая меня в самые трудные и тяжелые минуты.

Хай адгэтуль далёка
Да жаданага шчасця,
Вобраз твой яснавокі
Мне пакуты не засцяць.

Скрозь нягоды ў жыцці,
Скрозь нязнаныя мілі,
Покуль жыў — буду ісці,
Толькі б вочы свяцілі.

А пагаснуць — тады
І скрозь цемру ісціму,
Адшукаю сляды
Да спусцелай хаціны.

Па сузлінкам маршчын,
Па цяплу тваёй ласкі
Прачытаю ўспамін,
Боль мінулае казкі.

Да, Люсинька, родная, милая, настоящую цену жизни узнаешь только тогда, когда ее теряешь. Ее цену я хорошо сейчас знаю. Может, помнишь, Люсинька, о симфонии Чайковского (в Белостоке мы с тобой слушали). И вот теперь, когда я ее опять услышал, я понял ее, как понимаю самого себя: через страдания — к радости, к жизни! Только после испытаний увидишь и познаешь силу настоящего счастья быть человеком, жить, мыслить, любить!

Целую тебя, моя хорошая. Целуй деточек. Твой Тима.

6 сакавіка, Масква

Мая родная, мая харошая Оленька!

Сёння ты мяне ўзрадавала добрай вестачкай. Сёння я атрымаў ад цябе пісьмо, у якім ты пішаш, што Вілічак наш паправіўся. Гэта для мяне вялікая радасць. А то я вельмі непакоіўся за яго здароўе. Добра, што ты атрымала грошы, што я пасылаў з Казані. З Масквы я таксама табе ўжо трохі выслаў.

Учора бачыўся з Аркадзем Куляшовым. Ён працуе ў адной з армейскіх газет. Прыязджаў у Маскву ў камандзіроўку, паехаў на некалькі дзён да сям’і ў г. Уральск. Там сабраліся ўсе пісьменніцкія сем’і — Крапівы, Чорнага, Броўкі (*нрзб. — Ю. Ч.*). У гэтым горадзе працуе наш Віцебскі тэатр. У гэтым жа горадзе памёр і пахаваны Змітрок Бядуля. Яшчэ ў пачатку зімы. Сям'я яго жыве там жа. З Максімам Танкам бачуся кожны дзень, абедаем у адной сталоўцы. Ён перадае табе сардэчнае вітанне, просіць пісаць яго Любе. Напішы ёй. У іх ужо вялікі сын

Максім. Адрас: Саратов, Рождественская, 7, кв. 4. Любови Андреевне Скурко. Целую тебя, моя любимая, пиши. Целуй деточек. Твой Тима.

8 сакавіка, Масква

Люсінька мая родная!

Вітаю цябе з тваім жаночым святам. Сёння сустрэў Алеся Стаховіча. Ён ездзіў да сям'і. Яна недзе ў Чкалаўскай вобласці. Ён сказаў, што там у вашым краі кепска жывецца, што харчаванне каштуе нечувана дорага. Мяне гэта вельмі занепакоіла. Як вы жывяце і завошта? Я ў цябе, мая харошая, шмат разоў пытаўся ўжо пра гэта, але ты не пішаш. Вядома, што не пра ўсё льга цяпер пісаць, але ж з большага, так, каб я зразумеў — можна. Бо ты ведаеш, што мне ўсё думаецца, што жывяце ў вялікай нястачы.

Цалую цябе і дзетак. Ціма.

10 сакавіка, Масква

Оленька!

Як з выраю чакаюць людзі першых птушак, так я чакаю ад цябе вестак. Пішы мне, мая харошая, як можна часцей. Пішы кожны дзень. Я проста зайздрошчу Кузьме Чорнаму. Ён амаль штодзень па некалькі пісем атрымоўвае — то ад дачкі, то ад жонкі, а я — адно пісьмо на месяц.

Пасылаю табе паперы — пішы, родная. Прышлю яшчэ канвертаў і адкрытак, бо, мусіць, з-за таго, што не на чым пісаць, і не пішаш.

22 марта, воскресенье, Москва

Оленька, моя милая, моя родная.

Вот сегодня уже девять месяцев, как мы с тобой расстались. Помнишь, мы даже не простились. Я побежал тогда к Лыньковым. Мы было решили, чтобы ты осталась у них. Через полчаса я прибежал с Геней на вокзал, чтобы забрать тебя. Геня очень обрадовалась, что ты остаешься вместе с нею. И все торопила меня. Но когда мы прибежали — поезда уже не было. Как мы жалели! А назавтра я увидел, что жалеть нечего. Хорошо, что ты уехала дальше. И хорошо, что я с тобой, моя любимая, моя хорошая, не простился. Потому что это прощание всегда бы мучило меня. Твои глаза и то невысказанное чувство, которое всегда светится во взглядах людей в минуты тяжелых расставаний, преследует их, не дает им покоя, пока они вновь не встретятся, — это мучило бы меня все эти месяцы. А так — я твердо верю — мы встретимся. И радость встречи, радость будущего дает мне, приносит часто те мгновения, когда вызываешь в памяти все лучшее, все хорошее — и радуешься, как будто опять переживаешь, чувствуешь их заново.

Помнишь, Люсинька, в сентябре 1939 года мы с тобой тоже не смогли проститься, потому что не думали о расставании. Расставаться перед неизвестным, расставаться в ту тяжелую минуту, когда не знаешь — вернешься ли ты, — это страшно. Каких бы люди веселых улыбок ни вызывали на своем лице, как бы ни подбадривали друг друга, каждый из них в такие минуты говорит не то, что думает, высказывает не то, что чувствует. И самое сокровенное, интимное остается несказанным. О нем знает только тот, кто почувствовал его в своей душе. Вот почему я готов избегать минут тяжелых разлук. Зато как волнуешься, какое радостное чувство наполняет сердце, когда ждешь встречи.

Я навсегда запомнил, Оленька, когда в 1939 г. я переступил порог и увидел тебя. Тебе трудно было ходить и еще труднее волноваться. И вот ты, запыхавшись и как бы стыдясь своей неуклюжести, своей беременности, обняла меня. Пусть в такие минуты говорятся самые простые слова, или пусть они даже совсем не говорятся, но счастье встречи от этого нисколько не уменьшается. Счастье встречи! Минута, когда люди без слов знают, что над ними день, что перед ними опять дорога, залитая солнцем, что над ними «граюць, граюць сосны, між небам і зямлёю, як струны вечныя віяланчэлі». Так, Люсинька. Меняются условия, проходит

время, но сущность чувств всегда остается. Всегда они чисты в своей первородности, как будто только что открытые. Почему я вспомнил стихотворение, которое писал о тебе и для тебя три года назад? Потому что именно эти самые волнения испытал я уже тогда. И они никогда не забудутся. Достаточно затронуть их, и они гудят, как те сосны, натянутые между небом и землей. Радость встречи, радость того, что человек ждет, на что надеется — вот что дает мне силу в эти дни, вдалеке от тебя, моя хорошая, моя любимая. Ведь часто человеку становится радостно оттого, что он принял желаемое за действительное. И тогда счастливый чудак в лютый январский мороз бежит по улице и вещает всем прохожим:

— Слыхали? Жаворонки прилетели!

Так давай же, Люсинька, будем ждать их и верить, что они действительно прилетят. Хорошо?

Твой Тима.

26 марта, Москва.

Моя любимая, моя родная Люсинька, мои милые хорошие Вилинька и Наточка!

Пишу сегодня вам письмо и открытку. Что скорее дойдет. Оленька, ты просишь, чтобы я тебе посылал в письмах бумаги. Я тебе, моя милая, посылал и бумагу, и конверты, и открытки. Видимо, ты ничего не получила. Получили ли детки книжки, я им посылал книжку-малышку и про зоосад. Как только что-нибудь еще найду — обязательно пришлю. Получил я письмо от Шинклера. Он с семьей в г. Свердловске. Работает телеграфистом. Возможно, что мы его вызовем к себе на работу. В день выхода из Минска я был у него, сидели в щели до вечера, не надеясь, что останемся [*живыми*]. А вечером пошли. Я нес его дочурку. И все время мне казалось, что вот несу Наташку, прижимаю ее к груди. Они тоже ничего не взяли. Думали, переночуем и возвратимся. Хотя, что все это вспоминать, лучше не надо. Будем думать о будущем. Будем думать о времени, когда, как птицы, полетим в свои края. Гнезда наши разрушены. Будем вить новые. Помнишь, Оленька, в Пуховичах, на нашей избушке трагедию семьи ласточек? Когда мы смотрели на их хлопоты, на их старания и сочувствовали их горю, мы не думали о себе, но мы видели в их горе, в их хлопотах человеческую жажду и стремление к жизни. Счастье познается через горе. Не было бы страданий, и человек не знал бы, что такое счастье.

Так будем и мы, Оленька, как те ласточки, лепить, хлопотать и бороться за радость жизни, за счастье жить в своем гнезде под ясным теплым солнцем.

Целую тебя. Целуй за меня деточек. Сердечный привет всей семье. Пиши, Люсинька. Ведь я в Москве от тебя получил только три письма. Пиши, родная, хоть по слову в день. Твой Тима.

29 марта, воскресенье

Оленька, милая, хорошая.

Сегодня у нас выходной день. Но в общежитии очень холодно. Я пришел в редакцию. Сижу — пишу вам открытки. Тихо. Тепло. Светит солнце. Даже немного прогревает. Тает снег. Но мороз все еще держится. Вот так посижу, подумаю о вас, поговорю с вами и возьмусь за работу. Готовлю статью для «Известий» о нашей газете, о партизанской борьбе в Белоруссии. Позавчера была напечатана статья Кузьмы Чорного. А перед этим статья Михася Лынькова. Читаешь ли ты «Известия»? Если нет, то я тебе буду высылать те номера, где печатаются наши товарищи. Сейчас собираю материалы о том, что делается в Минске, и готовлю статью для своей газеты. А делаются там жуткие вещи. Вообще город почти весь разрушен. Население разбежалось по деревням в поисках куска хлеба. Но наша Беларусь уже знает, что приближается Красная Армия, что близится день возмездия. Эта весть, как теплое весеннее солнце, согревает надежду и душу народа. Греет и радует она, хоть на дворе еще суровый зимний холод.

Тима.

3 апреля, пятница

Моя родная, моя хорошая мамочка!

Я тебе посылал открытки и бумагу, чтобы ты мне чаще писала. Посылаю тебе бумагу и на газетах, ты, когда их получаешь, не разрывай обертку, а снимай, и тебе будет очень много хорошей бумаги. Люсинька моя. Письма твои идут ко мне почти полмесяца. И вот я пишу эту открытку и думаю. Посылаю зимой, а ты, наверно, получишь ее весной, когда будет и здесь, и у вас тепло. У нас все еще держится холод. А ведь послезавтра — Пасха. Помню, бывало, в деревне уже мы по зеленой траве бегали, катали мяч. О Юрке я тебе писал. О семье своей он ничего не знает. Леша Зарицкий в Москве. Недавно возвратился из поездки к семье в Уральск. Аркадий Кулешов, Максим Танк в Саратове, перевели туда на работу в газету. Так что он сейчас вместе с Любой и сыном. Адрес Любы я тебе сообщал. Лыньков меня часто спрашивает — пишешь ли ты. А что мне отвечать. Подвели старика — обрадовали напрасно.

Тима.

4 апреля, суббота

С добрым утром, Оленька!

С утром — потому что вот только что пришел на работу. 9 часов. И пока еще не сошлись люди, я пишу тебе, очень хочется поговорить с тобой, моя родная. Слушал я на днях 7 симфонию Дм. Шостаковича, видел автора. Очень молодой, скромный человек. Симфонию он писал в осажденном Ленинграде. Ты, видимо, в центральных газетах читала об этом событии. Недавно мы всем коллективом вместе с писателями сфотографировались. Заодно я снялся отдельно. Когда будет готова карточка — сразу же вышлю вам, чтобы не забывали, что есть на свете такой птицелов Дидель, — и почаще ему писали. Целую тебя, моя любимая. Целую моих милых деточек. Сердечный привет всем.

Твой Тима.

5 красавіка, нядзеля

Оленька!

Ну, вось і Вялікдзень. А вясны ўсё яшчэ няма. А можа, яно і лепш, што так. Мусіць, і прырода спрыяе нам. Няхай *(нрзб.)* фрыцы памерзнуць, паспытаюць яшчэ і нашай вясны. Яны ж яе вельмі чакаюць. Пратрубілі ўсяму свету вушы аб тым, што вясной будуць наступаць. Тапелец заўсёды хапаецца за саломіну, але, калі хочаш, каб ён утапіўся, не выратаваўся, то падай яму самую гнілую, самую трухлявую саломіну — няхай хапаецца. Так, мусіць, паступае на гэты раз і разумная прырода, заключыўшы саюз з чалавекам. Мая харошая, мая мілая! За гэтыя дні я атрымаў ад цябе два пісьмы і адкрытку. Для мяне гэта вялікае шчасце. Пішы, мая Оленька. А то так доўга ідуць пісьмы, што, пакуль прычакаеш, — годам здаецца. Атрымаў адкрытку ад Славы. Яна просіць, каб даведаўся пра Валодзю[1]. Паведамі мне яго прозвішча, яна не напісала. А я, прызнацца, не ведаю. Толькі ёй не кажы, а то пакрыўдзіцца.

Твой Ціма.

6 красавіка, панядзелак

Дзень добры, Оленька!

І праўда, дзень вельмі добры. Прыгравае сонца. Сушыць вуліцы. Усё бліжэй да вясны. Учора ў нас быў выходны дзень. Для мяне заўсёды гэта самы пакутны дзень. Не знаю, куды час дзець. І вось сеў я на трамвай: паехаў — куды павязе. Завёз ён мяне вельмі далёка, на ўскраіну горада, туды, дзе, можа, і не здарылася быць. І астаўся вельмі здаволены. У Маскве ёсць такія прыгожыя мясціны, што не налюбавацца. Учора я бачыў цэлыя вуліцы, скрозь абсаджаныя дрэвамі.

[1] Владимир — муж сестры О. Г. Крысько Славы.

А ёсць і проста, едзеш і раптам сярод вуліцы — лясок. У гэтым раёне нават вуліца адна завецца Мар'іна рошча. Праўда, на ёй як раз ніводнага куста, ні дрэўца. Але некалі, мусіць, быў і сапраўдны лес. Так у вандраванні і мінуў мой дзень. А ноч не вельмі была прыемнай. З поўначы да самай раніцы не давалі спаць адольфавы малойчыкі. Нашы гарматы б'юць іх, нашы лётчыкі нямала на той свет заганяюць, і ўсё ж — лезуць. Закрыўшы вочы, лезуць на сваю пагібель. Усю зіму было спакойна, а з пачаткам вясны *(нрзб.)* кожную ноч пачалі лезці. Толькі прывыклі мы ўжо: стараемся не заўважаць. Але калі непакояць, то не вельмі прыемна. Оленька, цалую цябе, мая мілая, цалуй дзетак.

7 красавіка, аўторак

Добры дзень, Оленька!

Учора я атрымаў ад цябе адкрытку, у якой ты пішаш, як нашы дзеткі зубраць мае вершы. Чаго добрага, вы мяне яшчэ класікам зробіце і будзеце вывучаць кожны мой верш. Оленька, ты пісала гэтую адкрытку 7 марта. Няўжо яна ішла цэлы месяц? Большасць тваіх пісем я атрымоўваў праз два тыдні. Чаму ж яна так доўга вандравала? Сёння раніцай я атрымаў 200 грам масла. Добра паснедаў і вось пішу табе. Ёсць у нас сталовая, але яна выдае толькі абед. Праўда, абед па цяперашнему часу нядрэнны. А снеданне і вячэру даводзіцца самому арганізоўваць. І ўсё ж мне, мусіць, лепш, чым табе з дзеткамі. Атрымоўваю я на дзень поўкіло хлеба, ды яшчэ к абеду даюць грам 200. Сюды-тады па картачцы даюць масла, сялёдцы. І вось сёння ўзяў я гэтае масла і думаў — сорамна мне яго есці. Трэба дзеткам. А як ім паслаць, як перадаць? І я, стары хрэн, ем і не чырванею. Оленька, мая мілая, мая любімая, цалую цябе, цалую маіх Віліка і Наталачку. Мацуйцеся. Даўно ўжо я не пасылаў грошай. Днямі атрымаю і вышлю.

19 красавіка, нядзеля

Мілая, любімая Люсінька! Ну вот, масквічы дачакаліся вясны. Сёння ўжо на сонечных вуліцах можна сустрэць апранутых па-вясноваму людзей. Усё менш і менш (*нрзб.*) зімовыя паліто, многія надзелі плашчы, многія вышлі ўжо ў касцюмах. Нават і я скінуў свае ватныя штаны і фуфайку. Надзеў свой пінжачок беластоцкі. Праўда, вельмі замусолены і патрапаны яшчэ за мінулыя лета і восень. Але шынелі (*нрзб*), якая мне асталася ад Арона ў спадчыну яшчэ ў Гомелі, і ботаў, пашытых мінулай вясною ў Болхаве каля Арла, усё яшчэ не скідаю і, мусіць, не скіну яшчэ доўга. Я пісаў табе, што купіў касцюм, але адзець яго — трэба бацінкі. Ды наогул, гэта мяне і не цікавіць. Можа, калі і спатрэбіцца ва ўрачыстую, шчаслівую хвіліну. Люсінька, учора я сніў сон — бачыў цябе, дзетак. І такое рослае жыта, з такім буйным коласам, што і ў жыцці не бывае. І яшчэ — многа, многа цукерак. Прачнуўся — і ўсё яшчэ здавалася, што гэта і праўда. І ўвесь дзень мне было так прыемна, лёгка і радасна на душы. Мілая, харошая, любімая мая! Цалую цябе і ўсіх.

22 апреля, среда

Оленька милая, хорошая моя!

Сегодня ценным письмом я высылаю тебе справку Правления Союза Советских писателей. С этой справкой надо пойти в Горторготдел. У них есть специальный приказ Народного Комиссара торговли за № 37 (запомни №) о снабжении писателей и их семейств. Только обязательно ссылайся на этот приказ. Хотя они, видимо, сами хорошо знают приказы своего наркома. Такие справки Правления Союза писателей разослали всем семьям московских белорусских писателей.

Договорись, милая Люсинька, и потребуй (вежливо, конечно), чтобы они обеспечили тебя одеждой. Они должны прикрепить тебя и деток к закрытому магазину, и если есть столовая — тоже пусть прикрепят — будешь получать на дом. К тому же члены Союза писателей получают продовольственные карточки по рабочей категории (600 грамм хлеба). Поэтому выясни, в соответствии с этим

ты должна, видимо, получить другие карточки. Одним словом, Оленька, пойдешь и сама подробно ознакомишься с этим приказом Наркома и выяснишь, что полагается.

Обязательно, Люсинька, сделай все. Я ведь знаю, что ты у меня настойчивая, милая, хорошая, и если захочешь — все сделаешь.

Оленька, такую справку Кузьма Чорны тоже послал жене. Это он все выяснил и меня надоумил все это сделать. Милый, сердечный человек. Горжусь, что он считает меня своим другом. Оленька, читала ли ты мое стихотворение, посвященное ему? Он очень доволен был и рад за такие искренние слова любви. Это он мне рассказывал об алешыне (ольха), что растет где-то между Слуцком и Тимковичами. И у которой он всегда любил, когда шел домой из Слуцка, посидеть, помечтать. Мы ведь земляки — случаки. Поэтому очень близок и понятен нам и свой пейзаж, и язык, и человеческие характеры, свойственные нашему Слуцко-Копыльскому государству.

Милая моя, хорошая, любимая моя, писательская женушка, целую тебя.

Целуй деточек. Поговори с ними обо мне. Оленька, карточки вышли очень хорошие, постарайся, чтобы они сохранились.

Твой Тима.

1 мая, Москва

С праздником, с первым майским днем, мои родные!

Сегодня у нас чудесный солнечный день. Я встал в 6 часов. И первой мыслью мелькнуло: какая погода? Все эти дни стоял холод. И вот в первый день мая опять солнце, опять весна. Хоть сегодня и рабочий день, а как приятно, что наш май, как всегда, солнечный, светлый.

Милая, хорошая, любимая, вчера я от тебя получил письмо, в котором ты пишешь об угрозе наводнения. Правда, открытку, писанную позже, я получил раньше, чем письмо, и уже из нее узнал об этом. И это меня беспокоит. Не сила стихии, не наводнение, а то, что вам надо переселяться, куда-то перетаскивать опять все. В который раз?

Вчера Совнарком выдал нам, белорусским писателям (отныне и я так громко именуюсь), первомайские подарки. Кило колбасы, полкило масла, полкило сахару, 300 грамм икры, коробку консервов, коробку хорошего табаку и пол-литра водки. И представь — все бесплатно. И еще нес я все это домой и все время думал — как бы я был счастлив, если бы передать эти продукты моим деткам. Кузьме Чорному, как всегда, везет. Приехали из Уральска, из театра Дарский и Ильинский — артист, и вот Кузьма перешлет семье подарок. А я беспомощно опускаю руки — и больно, и обидно. По почте не принимают. Можно послать только при удобном случае, через приезжающих или отъезжающих. С горя вчера выпил пол-литра, чтобы глаз не мозолил, лег в кровать и до поздней ночи все думал, все перевернулось в голове, перемешалось, но сознание было ясным и прозрачным, как и чувства. А думал я об одном — о своей вине перед тобой, моя любимая, моя родная. Я вспоминал многое. И все подтверждало, что виноват. Виноват за то, что ты всегда в десять раз больше страдала, терпела, чем я. Терпишь и сейчас больше, работаешь больше, бьешься как рыба об лед, чтобы продержаться, вытерпеть, выстоять тяжелую годину. А я здесь подарки получаю.

Люсинька, любимая! Мне трудно даже передать словами эту свою обиду на себя, эту самую большую вину перед своей совестью. Слова не нужны. Они тоже беспомощны. Мне кажется, что как только мы дождемся нашей желанной встречи, я не уступлю тебе больше ни капли той лямки, которую надо будет тянуть нам. Я говорю о лямке не в отрицательном смысле, а с сознанием того, что как бы тяжело ни было нам вновь строить и создавать разрушенное немецкой сволочью, мы опять, с еще большим подъемом переживем радость творчества. И мы с тобой, Олинька, впрягёмся, но только вместе, изо всех сил — но только вместе. Побеждать — только вместе! Люсинька, милая, обнимаю тебя, крепко-крепко

прижимаю к сердцу, целую тебя... В добрый час! Скорее бы в действительности, а не в письмах. Целуй деточек. Привет всем. Твой Тима.

14 мая, Москва

Олюська милая!

А от тебя с нового места все нет и нет весточки. Если ты телеграфировала мне о своем переезде 2 мая, то я сравнительно быстро получил телеграмму — 4 мая. Правда, я уже писал тебе в день получения телеграммы, что почта перепутала даты и вместо мая поставила март. Эти все дни я жду от тебя весточки. Считаю дни. Вот уже полмесяца — письмо мне обязательно должно быть. С Кургана тоже всегда почти полмесяца шло. А может, с нового места мне еще дольше придется ждать. Поэтому, Люсинька, почаще мне пиши.<…>

Люсинька! Помнишь ли ты один из летних вечеров в Пуховичах, когда наши детки уже спали, а мы вышли с тобой и сидели на скамеечке возле клумб, потом долго ходили. Кажется, в этот вечер не было нами ничего особого сказано, но он останется в моей душе на всю жизнь. Я физически ощущаю его. Я всегда, когда о нем вспоминаю, чувствую свежий запах маттиолы. Маттиола! Почему я пишу о ней, думаю? Потому что я вообще не знал, что есть на свете такой цветок. Это ты открыла его название, его тайну, что он радуется своему счастью только ночью, когда никто не видит. Он тоже похож на нас, мы тоже с тобой никогда не любили показывать, бравировать, щеголять, хвалиться. Вот почему я навсегда запомнил эту ночь. Я тогда не сказал тебе этого, потому что понял все это позже и, может быть, по-настоящему — сейчас. Но тогда, в ту ночь, я знал, что ты думаешь именно о том, что и я. Вот мы уже родители, спят наши дети. Но какое счастье любить и понимать, что тебя любят, и нам тоже хотелось, как наивным, беззаботным подросткам, вновь и вновь переживать, перечувствовать юность, которая всегда живет и будет жить в душе человека, как самое заветное — первое счастье. Люсинька моя любимая, ты прости мне, что в такой суровый час пишу тебе о своих чувствах, которыми сыт, согрет и обут не будешь. Милая, родная, в этом мое — несчастье. В мирное время писать о войне. Помнишь «Баладу пра салдата»? А во время войны жить и радоваться воспоминаниями о маттиоле.

Целую тебя. Твой Тима.

17 мая, воскресенье, Москва

«Весна была весною даже в городе». Помнишь, Люсинька, кажется, так начинается «Воскресение» Толстого. Наше сегодняшнее московское воскресение тоже так началось. Сегодня удивительно жаркий, настоящий майский день. Уже на бульварах выросла высокая зеленая трава, распустились листья на деревьях. И вот как будто вдруг нагрянула весна. Все эти дни лили дожди, не переставая, правда, очень теплые, и, видимо, это они ускорили приход весны. А то все казалось, что она запаздывает. Хотя где ее в городе увидишь, заметишь ее постепенное приближение? Все эти приметы непонятны горожанам. Весна всегда ставит их перед фактом, когда вдруг надо снимать пальто и галоши и надевать легкий костюм. Вот и все, что представляет человек, не знающий прелести природы. В этом отношении я просто тебе завидую, Олюська. Правда, тебе некогда об этом думать. Это мне, праздному философу, только могут казаться важными такие мысли, о которых тебе пишу. Ты, Люсинька, милая, хорошая, прости меня. Вот и перед этим я послал тебе большое письмо о чем? О маттиоле! Может быть, ты уже прочла его и обиделась, что я часто вместо того, чтобы написать тебе о себе конкретно, как живу, ем, сплю, работаю, пишу тебе о таких отвлеченных мыслях… Люсинька, не обижайся на меня. Это мои чувства к тебе, мои мысли о тебе, воспоминания — все лучшее, все самое возвышенное и чистое, чем я живу, как думающий и мыслящий человек. Вот почему мне так хочется высказать тебе все-все, чтобы мне стало легче, чтобы это не забылось никогда между нами. Я тебя знаю, родная моя, как бы тебе физически тяжело ни было сейчас, ты нуж-

даешься в этих минутах хорошего и чистого откровения между нами, как нуждаюсь и я. Когда мы были с тобой вместе, то, о чем я так теперь часто пишу тебе, тонуло, терялось в будничной жизни. Но разве мы не стремились и тогда к этому духовному откровению. Эти минуты были. Мы их не называли словами, но они определялись чувствами. Вот почему я написал тебе письмо о маттиоле.

Люсинька, вчера я получил твое последнее письмо из Кургана. Значит, тебя вынудили ехать. Это меня обидело. Но сразу же возникли и другие мысли. А если в деревне лучше. Смотри, Люсинька, сама. Если бы не это, второе, то имела бы право отказаться. Боюсь одного, что тебе тяжело, ведь ты не работала на хозяйстве. Правда, это здорово, но тяжело...

Люсинька милая, родная, хорошая. Как бы я хотел вместе с тобой разделить все тяжелые работы, выпавшие только на тебя, на одну. Но старайся, родная, даже если *(нрзб.)*, не забывать меня. Жить со мной духовной жизнью, которой дорожу я, нашим счастьем, которое мы познаем сейчас с тобой только через несчастье, через испытания, и учимся познавать по-настоящему друг друга. Я всегда буду виноват перед тобой хотя бы за шутки, которыми когда-то отделывался в Белостоке — кто к чему приставлен! Ты ведь обижалась, Люсинька, не за шутку, а за то, что это, хотя и говорилось шутя, воспринималось где-то глубоко-глубоко в душе, как унижение или попытка подчеркнуть какое-то превосходство моральное. Правда? Может быть, поэтому, когда ты читала «…» (ты писала мне об этом) ты думала о наших отношениях. И может быть, и об этом думала. Олюська, родная, любимая, это хорошо, что ты думала, думать надо. Но этого мало — надо влиять на душу человека, знать его. Ты меня знаешь, и я теперь с благодарностью вспоминаю, как ты поднималась надо мной, как более сильный и выносливый характер и душа, подчиняла чему-то высшему, и с трудом поднимался, а поднявшись, радовался и думал о тебе только хорошее, понимая, что это только благодаря тебе (1937 год!). Сейчас я чувствую, что ты и в этом испытании — герой, а я посторонний наблюдатель. И только, Люсинька, прости мне эту дурацкую философию. Посмейся надо мной. Разбираешь ли ты мой почерк? Видимо, только ты одна и разбираешь его. Часто я сам не могу прочитать, что написал.

30 мая, Москва

Олюська милая, мои милые детки!

Я рад, что опять с вами установил связь, а то очень беспокоился за вас, не зная, как вы устроились. Теперь мне стало спокойно на душе — в колхозе вы не пропадете. Раз есть у вас хлеб, картошка, молоко — жить можно припеваючи. А главное, мне кажется, Оленька, что Вилику и Наточке будет, пожалуй, лучше, чем в городе. Только вот тебе, моя родная, тяжеловато. Далеко ходить. Проси, Люсинька, чтобы тебя как-нибудь устроили в самом колхозе. А если не устроят, что ж, тоже не унывай, старайся не отставать от колхозниц, постигай все премудрости этого труда — пригодится. Когда поедем на родную землю, мы с тобой заведем свое хозяйство. Построим на Слутчине свою хату и будем жить, как старосветские помещики. Я все более убеждаюсь, что мы с тобой, с детками должны обязательно пожить в деревне не как дачники, а как настоящие колхозники.

Что у нас нового? Приехал из Уральска Вольский. Его направляют завлитом Театра оперы и балета, который приступил к работе в Горьком. Был недавно показ белорусского искусства в Москве, ты, видимо, читала об этом в газетах. Сейчас здесь очень много наших деятелей искусства. Александровская, Млодэк, Алексеева, Муромцев, Болотин, Арсенко, Кроз (кажется, твоя знакомая)... Из композиторов здесь Тикоцкий, Любан. Из художников Азгур и Грубе. Из балетников Николаева и Дречин, скрипач Бессмертный. Под руководством Прагина на фронте дает концерты бригада белорусских артистов. Правда, это в основном молодежь Гомельского русского театра. Янка Купала живет в Казани, получаем от него письма, стихи. Колас был в Москве, потом, видимо,



Василь Витка.
Фото военных лет.

соскучился по семье и поехал опять в Ташкент. Там же находится *(нрзб.)* и Агняцвет. Пимен недавно был здесь. Они — Глебка, Пимен, Кучар — издают на фронте белорусскую газету. Редактирует Илья Гурский, Лыньков, Бровка, Крапива, Стахович сидят уже полгода без дела. Раньше издавали газету, а сейчас — кто во что горазд — кто пишет, кто заботится об очередных чинах и портфелях... Хвядос Шинклер находится где-то вблизи тебя. Пока мы его собирались вызвать к себе на работу, его взяли в армию, в школу лейтенантов. Его адрес — Челябинская обл., Кыштым, п/я 22 А/1. Я ему недавно писал и просил, чтобы он черканул тебе пару слов. Его семья в Свердловске.

Ты, видимо, Люсинька, сейчас не имеешь ни одной свободной минуты. А то я тебе высылал бы книги и журналы. Что ж поделаешь, раз ничего другого не могу послать. Хоть бы этим утешился. Я послал тебе книгу о Вахтангове. Очень чудесная книга. Если сможешь — прочтешь. Сейчас я все свободное время, как только вырву минуту, отдаю «Войне и миру». Кончаю уже четвертый (последний) том. Вчера вечером с Кузьмой Чорным ходили смотреть «Бесприданницу». Его трудно вытащить куда-нибудь, но от этого фильма он остался в восхищении. А я ее уже в Москве смотрел, кажется, третий раз. Работает у нас Максим Танк. Я тебе, кажется, писал об этом. Его было послали в Саратов (там Люба с сыном Максимкой). Но там его на газетной работе не использовали почему-то, а направили в школу мл. лейтенантов. Наше ЦК [*отозвало его? — Ю. Ч.*] и правильно сделало, поэт ведь замечательный, и отпросило назад. Сейчас работает в «Раздавим фашистскую гадину», пишет сатирические стишки. Но по-прежнему ходит в военном костюме, в звании лейтенанта какого-то, как и многие писатели, которым присваивают звания просто ради уважения. Я тоже числился в лейтенантах, а сейчас разжалован в рядовые. Правда, для них все это условно, поскольку я не носил ни мундиров, ни званий, ни титулов. А для таких, как (*нрзб.*) Кучар, который никогда не служил в армии и нацепил шпалу или две, это какой-то жизненный интерес. А по-моему, в такое время тяжелого испытания для родного народа думать о каких-то шпалах — просто могут только люди, не видящие ничего дальше своего носа.

Люсинька, моя милая, моя любимая, целую тебя и обнимаю. Ты — героиня была и будешь. Я это знаю! Прости мне за такое сумбурное письмо. Пиши мне подробнее о себе, о деточках. Как вы выглядите. Просто сердце замирает, когда я думаю о том, что встречу, увижу вас. Ведь Вилик и Наточка уже выросли за этот тяжелый год нашего одиночества. А они ведь — дети. Им положено расти, а

нам думать о них и радоваться. Целуй их. Ведь сейчас только ты одна думаешь, заботишься о них, растишь.

1 июня, понедельник, Москва

Моя милая, моя родная!

Сегодня послал тебе газеты. Если ты замечаешь, мы все более и более подробно освещаем жизнь и борьбу в нашей родной Белоруссии. Это значит, что наша родина все сильнее поднимает свою грозную силу против захватчиков. В этом номере газеты прочти мою передовую статью «Прыклад слаўнага Палесся» и в плакате мою статью «Мастакі пісаць крывёю». Одним словом, если ты вырвешь минуту — прочти все, особенно газету, и ты узнаешь много хороших новостей. Милая Люсинька, как мне хочется говорить и говорить с тобой. Вчера по дружеской искренности рассказал Чорнаму о том Пуховичском вечере, о маттиоле. Мы в этом с ним очень похожи. Он мне тоже рассказывает о своей любви к Рене, к Ире. Это — великая глубокая душа и великий национальный писатель. Когда мне становится невыносимо от тоски по тебе, по деткам, я нахожу в нем утешение и стараюсь, как и он *(нрзб)*. Дай обниму тебя, родная, хорошая, прижму крепко-крепко и буду целовать и целовать.

Тима.

8 чэрвеня, панядзелак, Масква

Мая мілая Волечка!

Так, памятаеш, цябе называла мая маці. Цяпер ты ў мяне маці. Я часта цябе сню, і ў снах заўсёды вобраз маці зліваецца з тваім вобразам. Вялікая маці! Цярплівая і многапакутная! Я некалі ведаў сваю маці такой і цяпер ведаю такой цябе. Ды хіба можа быць у мяне іншае ўяўленне аб жанчыне. Я ненавіджу і ненавідзеў жанчын-пустацветаў, якія не могуць і не здольны быць мацерамі. Яны клапоцяцца толькі аб сваёй асобе… гэта прыгожыя жывёліны, якія хочуць падабацца ўсім і ўсякаму, а ўнутры — нікому не патрэбныя пустацветы. Вось чаму, калі я бачу на вуліцы жанчыну з дзіцём або с цэлаю гарадой дзяцей — няхай змучаную, знясіленую, — я гатовы зняць перад ёй шапку і пакланіцца. Толькі ты ведаеш вялікае шчасце, толькі ты самая сапраўдная жанчына! — хочацца сказаць мне ёй. Праўда, нікога я не спыняў на вуліцы і не казаў гэтага, бо палічылі б за вар'ята. Таму я гавару аб гэтым табе, мая харошая, мая родная. Цалую цябе шмат разоў. Цалуй маіх дзетак. Твой Ціма.

Дата письма неизвестна.

Люсинька!

Сегодня с самого утра зарядил дождь и льет почти целый день. Сейчас уже вечер. Я сижу в редакции. Переписал начисто стихи, написанные во время войны, соединил их в один цикл под общим названием «Горкі вырай» (Вырай — это отлет птиц, ты, наверно, знаешь). Так вот — все мы сейчас — тоже птицы в горьком «выраі». А дало мне название и настроение, и связь всем стихам то маленькое стихотворение, которое так безжалостно раскритиковал за неточность рифм наш неистовый Виссарион. Я всерьез принял его критику и сам сделал это стихотворение на русском языке, и уже с точными рифмами. И вот, спасибо скажи ему, моему критику, стихотворение с его легкой руки заслужило всеобщую известность. Тикоцкий написал к нему музыку, а на днях тенор Болотин будет исполнять его по радио по всему Советскому Союзу. Сегодня уже мне звонили из Радиокомитета и поздравляли. Говорят, что чудесная песня. Правда, я что-то не верю. Не люблю Тикоцкого. В его музыке нет той выразительности, без которой немыслима такая миниатюра, как это стихотворение. Но, услышим — узнаем. Может, я и ошибаюсь. Посылаю это стихотворение тебе. Почитай его Вилику. Поцелуй его крепко-крепко. И скажи ему, что он настоящий критик, раз собственного отца в люди выводит.

Люсинька! Я получил от тебя открытку, в которой ты пишешь, что собираешься остаться в колхозе на большее время. Люсинька, если только хорошо деткам,

если чувствуете вы себя лучше, чем в Кургане, то почему бы и не пожить вам даже все лето, а там увидим. Ведь самое главное — это чтобы вы были сыты. Тебе надо сохранить здоровье, а деткам — самое время расти, укрепляться, набираться сил.

Какое счастье Чорному! Его жену с дочкой вызывают в Москву. Она машинистка, знает хорошо белорусский язык и, наверно, будет у нас работать машинисткой. Она когда-то работала в редакции. Я вслух высказал Чорному сегодня свою зависть. Говорю, если бы у Оли на руках не малые дети, и я забрал бы, добился бы, чтобы ее вызвали, а работа нашлась бы. Но как мне ни трудно, ни больно без тебя, родная, я все же говорю — лучше еще месяц-два, лишь бы наши детки были здоровы. Так, Оленька? Будем думать друг о друге, будем собирать все лучшее, все прекрасное в наших душах, чтобы скоро слить их в одну великую душу — чистую, честную, кристальную, полную настоящей любви. Твой Тима.

9 чэрвеня, аўторак, Масква

Добры дзень, мая мілая, мая харошая!

Сёння сапраўды ў нас добры, сонечны летні дзень. А да гэтага было вельмі пахмурнае, халоднае і даждлівае надвор'е. Мне так захацелася пагаварыць з табой, Люсінька, што ўзяў усе твае пісьма нова-байдарскія і пачаў перачытваць іх ад пачатку да канца. Цяпер я не атрымоўваю ад цябе весткі, але не крыўджуся, бо знаю, што ты працуеш, як той чорны вол. Працаваць, Люсінька, трэба! Калі ў цябе ўсё добра ўладзіцца з кватэрай, з харчаваннем і калі б яшчэ цябе прыстроілі на працу блізка, ля дзяцей, то я нічога не меў бы супраць, каб ты пажыла ў калгасе з дзеткамі да восені. А там — бог бацька. Можа, у Курган, а можа — і на сваю родную зямлю, у свой, наш уласны калгас. Ёсць чуткі, праўда, не пэўныя, што мы выедзем туды бліжэй да бацькаўшчыны, каб там выдаваць сваю газету. Сёння выязджаюць туды Броўка, Стаховіч, Крапіва, Барысенка. Мусіць, яны таксама арганізуюць яшчэ адну газету. Тую, што выдаюць там Гурскі, Глебка, Панчанка, Кучар, я ўчора выслаў табе два нумары для ўяўлення. Учора ўвечары праслухоўвалі новыя песні нашых кампазітараў, у тым ліку і мой тэкст. Кажуць, што стварыла надзвычайнае ўраджанне. Спяваў Балоцін. Я не хадзіў слухаць. Не ў маім характары лезці, паказваць сабе, як гэта ўмеюць многія нашы паэты, якія гатовы ўсякую сваю дрэнь пхаць куды трэба і не трэба. Днямі гэтыя песні будуць перадавацца па радыё. Мо і вы пачуеце? Оленька, ты яшчэ памятаеш беларускую мову? Пасля гэтай вайны мы яшчэ больш [*стерт уголок открытки. — Ю. Ч.*].

13 чэрвеня, Масква

Люсінька мілая мая!

Я пачынаю ўжо непакоіцца, што ад цябе ўжо другі тыдзень няма вестачкі. Ці здаровы вы? Пазаўчора быў на радыё з Масквы канцэрт беларускай музыкі. Балоцін спяваў маю песню пра вырай. Гавораць, што вельмі добра спяваў, але я не чуў. Глядзеў у гэты час у Філіяле Вялікага тэатра «Лебядзінае возера». Так мне, мусіць, і не давядзецца пачуць, што там за песня. Учора ўвечары пісьменнікаў прымаў у ЦК ВКП т. Панамарэнка. Былі Лынькоў, Крапіва, Чорны, Броўка, Танк, Вольскі, Барысенка, Машара. Я — твой пакорны слуга, таксама быў. Вельмі цікавая гутарка была. Расказваў пра Беларусь, пра тое, што наш народ паказаў сябе ў гэтым выпрабаванні сапраўдным героем. Гэтай гордасцю за народ, за сваю бацькаўшчыну павінны жыць і пісьменнікі. Патрабаваў — пішыце больш. Толькі не спекуліруйце на тэмах, а сур'ёзна, з вялікай дзяржаўнай адказнасцю. І гэта вельмі слушна. Цяпер многа такіх, якія на вайне зарабляюць славу. Іосіф У..., якому яшчэ мінулым летам адбілі палец, цяпер дэманстратыўна ходзіць з падвязанай рукой з такім гонарам, што брыдка глядзець. А пісаць стаў не лепш ад гэтага, а яшчэ горш. Мяшчанскія вершыкі выдае за нейкую новую паэзію. Няма Маякоўскага — а то паказаў бы ён усім гэтым дурням-мяшчанам. Цалую цябе, цалуй дзетак.

25 июня, четверг

Милая, родная Люсинька!

Почему ты не пишешь? Как ты себя чувствуешь, как детки? Вилек — именинник. Ему ведь 1 июля 5 лет. Какой большой у меня сын. Крепко-крепко поцелуй его и скажи ему, что он большой. Как мне хотелось бы хоть взглянуть на вас, мои милые, хорошие, мои любимые. Новостей у меня особых нет. Сегодня с обеда зашли с Максимом Танком. Посидели в сквере. Он прочел мне две части своей поэмы, над которой работает. Очень сильное впечатление произвели они на меня. Поговорили мы с ним от души. С ним всегда, когда только встретимся, и поговорим, и посмеемся, и позлословим, поиздеваемся над глупостью людской — и всегда как-то веселей и чище на сердце от того, что хорошо понимаем друг друга. Так и с Кузьмой Чорным. Но этот человек с великой, как вселенная, душой, смеется реже, чем Максим. Максим хохочет до слез, веселя весь мир, а он улыбается умной, проницательной улыбкой, своими глубокими все слушающими и понимающими глазами. А я люблю смех. Искренний смех очищает душу. Но мне недостает твоего милого, родного смеха и улыбки. Целую твои глаза. Твой Тима.

26 июня, пятница

Люсинька милая, хорошая.

Вчера получил твое письмо, в котором ты пишешь об этой глупой истории с работой на заводе. Это действительно возмутительное отношение. Пошли их всех к чертям. Ни одна из жен писателей, каких я знаю, а у многих, ты ведь знаешь, по одному ребенку, не работают, и не посылали их даже на посевную. Не пойми меня превратно, что этим я подчеркиваю какую-то неприкосновенность на твою и свою особу, но ведь они ничем не лучше тебя. Плохо только, что в вашем этом паршивом Кургане нет отделения Союза писателей. Может быть, хоть это бы помогло. Интересно, как с прикреплением. Добивайся, Люсинька. И главное — никаких чертей не бойся. Они, сволочи, не скитались, как мы, а живут себе в своих семьях и домах, и забывают, что есть люди, имеющие больше прав на то, чем они пользуются без права. Твой Тима.

27 июня, суббота

Люсинька, милая, любимая моя, хорошая!

Сегодня у меня с самого утра какое-то дурацкое настроение, какая-то апатия ко всему. У нас эти дни стоит жаркая погода. Это после дождей, холода и ветров. Но жара на меня очень плохо влияет. Вчера прошелся по солнцу, и так к вечеру разболелась голова, что еле успокоилась. Плохо летом в городе. Скорей бы на свою землю, подышать настоящим воздухом. Очень взволновало меня, Люсинька, твое письмо. Чего они к тебе прицепились? Не дают покоя, тянут от деток. Ведь им сейчас необходимы твои внимание и забота. Люсинька, я все забываю спросить, вписала ли ты Вилика и Наталочку в свой паспорт. Обязательно оформи это, если это возможно, чтобы в случае чего не пришлось бегать и доказывать, что это наши детки и имеют они все гражданские права. Как это мы забыли взять их метрики? Я себе не могу простить этого.

Люсинька! У Кузьмы Чорного — большая радость. Он сегодня ходит именинником. К нему приехали жена с дочкой. Я еще их не видел, но сам Кузьма рассказывает, что Реня стала просто неузнаваемой. Постарела за этот год на целые десять лет, стала седая. Плохо им жилось в Уральске. И их местные чиновники обижали. Несколько раз прикрепляли к магазину, открепляли, мотивируя тем, что они — Реня и жена Аркадия Кулешова — жены не красноармейцев, а потом с мытарствами и под нажимом опять прикрепляли. Как это обидно, что даже в это время осталось прежнее чинопочитание и дележка. Ведь Аркаша все время на фронте, хоть бы к этому имели человеческое отношение.

Милая, хорошая Люсинька! Если тебя вынудят идти на работу — иди. Черт с ними. Будешь, может, чуть лучше обеспечена, а мама, я думаю, не оставит наших деточек. А если тебе тяжело в Кургане, то лучше всего поезжай жить в колхоз.

Лишь бы только вы были здоровы, лишь бы у вас всегда было, чем поддержать свои силы.

Главное, чтобы ты, родная, не волновалась, не придавала всему особого значения. Береги свои силы, свое здоровье и здоровье деточек. Для нас это самое главное. Я хочу увидеть вас здоровыми. Будем жить и твердо верить в наше счастье, в наши лучшие надежды. Ведь мы так мало были вместе и как много впереди. Нам еще предстоит настоящая наша молодость. Будем молодыми. Верю и жду — встретимся и будем вместе всегда, всегда.

Милая, любимая моя мамочка. Как мне хочется тебя прижать крепко-крепко, целовать... Кажется, схватил бы тебя и на руках понес, как самое мое дорогое и родное. И я имею право так об этом тебе говорить, потому что весь я — твой...

[*Из письма вымараны несколько строк — автором или его женой. — Ю. Ч.*]

Люсинька, это я пишу лично для тебя. Об этом мы говорили с Кузьмой и возмущались до глубины души. Что же может быть высокого, чистого, благородного в душе такого человека? Может быть, я идеалист, но лучше быть хорошим, настоящим идеалистом, чем «хорошим», «приличным» в кавычках и умеющим сохранить за собой эти оценки и мнения других только хитрым, искусным и обманным маневрированием.

Прости, моя родная, моя хорошая, что я поднял эту тему, которая сейчас, когда нам тяжело, и, может быть, не до этих проблем, но я думаю, что ты полностью разделяешь со мной эти мысли.

Обнимаю тебя и целую мою родную, мою любимую, мою хорошую. Целуй Вилиньку и Наталочку. Поговори с ними обо мне. Вспоминают ли они меня?

Твой Тима.

28 июня, воскресенье

Милая, родная Люсинька! Сижу один в редакции и пишу тебе. И такое одиночество овладело мною, так тяжело стало без тебя, без моих деток, что не нахожу места себе. Не знаю, куда идти, что делать. Это одиночество особенно я почувствовал, когда узнал, что приехала семья Чорного. Какое-то невыносимое чувство зависти и одновременно радости за счастливо встретившихся людей не дает мне покоя. Просто больно, избегаю момента встречи с женой и дочерью Чорного, потому что знаю, что не вытерплю. Вчера он меня приглашал к себе, и я знаю, ожидает сегодня, но не пойду. Как мне хочется хоть бы взглянуть на тебя и на моих деток. Собирался просить, чтобы отпустили поехать к вам, да, думаю, что это будет стоить лишь тягот мне, но еще больше вам. Если встретиться — так навсегда, с чувством полного облегчения, что все позади, а впереди наша радость, наше счастье, наша любовь. Я помню, ты неодобрительно высказалась по поводу поездки Аркадия Кулешова. Поэтому я решил ждать, терпеть и думать о вас. Сегодня всю ночь снил тебя, мою хорошую, мою милую. Но от этого еще тяжелее стало. Пиши, пиши. Целую. Твой Тима.

6 июля, понедельник

Моя милая Люсинька!

Получил твою телеграмму и открытку, и спокойнее стало на душе. Теперь знаю, что вы все здоровы. А то эти дни ходил как неприкаянный и все ждал и ждал твоей весточки. Вчера впервые в жизни ходил в Зоопарк, смотрел животных и птиц. И очень остался доволен. Экскурсию организовал Кузьма с Вольским. И вот мы все вместе с женой и дочерью Кузьмы провели день. И правда, что жена Чорного постарела, сделалась седая. А Ира уже почти барышня. Расспрашивали о тебе, о Вилике и Наталочке, передавали привет. Вилика все помнят с Пухович. Ира даже меня вспомнила только потому, что Вилика запомнила… Она меня не знала, а когда вспомнила, говорит — это Вилин папа.

Люсинька, почему ты эти дни не пишешь? Я писал тебе каждый день, а позавчера рассердился — и думаю — не пишет, и я не буду писать, и вот когда пришла

от тебя открытка, так захотелось поговорить с тобой, обнять тебя, мою милую, мою любимую, моих дорогих деток.

Целую вас всех, мои родные. Ваш Тима.

17 июля, пятница

Люсинька моя хорошая, моя родная!

Все эти дни одолевает какая-то необъяснимая тоска. Хочу заняться стихами, но все что-то не клеится. Да и условиями не располагаю, просто нет где пристроиться. Целый день в редакции. Хоть, бывает, и время есть, да за толкотней, шумом, телефонными звонками разве что сделаешь? А после работы, когда отупеешь, устанешь, так и стихи не идут. В общежитие стараюсь приходить попозже, чтобы сразу лечь спать. Потому что там посидеть, подумать или даже почитать нельзя. Живет у нас в комнате человек 15—16 [*текст стерся на сгибе. — Ю.Ч.*]. Да и люди неинтересные. А ты ведь знаешь, что не в своей среде я очень необщительный и просто не могу выносить присутствия людей, мешающих мне. Но сам я никому не помешаю. Вот живу уже несколько месяцев, но ни с одним из них словом не перемолвился, да и к чему? Раз неинтересен тебе человек, зачем искусственно показывать свою общительность? Да что я о них пишу? Ни тебе, ни мне они не интересны.

Недавно приезжали к нам Петр Глебка и А. Кучар. Они работают вместе с Гурским и Пименом Панченко в газете «За свободную Беларусь». Она находится вблизи Белоруссии. Я тебе посылаю их газету. Сегодня посылаю два последних номера. У них, конечно, большие возможности, чем у нас. Очень часто помещают материал интересный, поскольку ближе находятся к родной земле, чем мы. И газета их хорошая. Глебка — большой знаток языка. И в этом отношении их газета живая, доходчивая. Главное, что нет этой (*нрзб.*) сухости, которая всегда портила наши минские газеты. А это потому, что люди раньше просто не хотели пользоваться живым, богатым народным языком. И если для них какое-нибудь слово белорусское было непонятным, то вообще выбрасывали его из языка, хотя в народе оно жило и было всегда понятно. Я в своей газете, поскольку мне поручен стиль, стараюсь (*нрзб.*) расширить язык. И в этом (*нрзб.*) Кузьма Чорный. Это, пожалуй, да оно так и есть, — единственный писатель у нас, который мыслит на своем родном языке, национальными образами. И это вошло у него в быт, в жизнь. И это мне всего ценнее в нем, в Глебке.

Свои стихотворения, написанные во время войны — в основном ты их знаешь, я тебе посылал, — я объединил в один общий цикл, цельный по своему настроению и мысли. Читали их Глебка, Танк, Кучар, Пимен, некоторые русские поэты, и все они наговорили мне много приятных слов. Но для меня ясно и важно одно — что стихи по настроению самостоятельны. И тот, кто знает меня, читая их даже без подписи автора, признал бы, что это мои стихи, а не другого автора.

Был у нас несколько дней Аркаша Кулешов. Ему я тоже давал читать. И он сказал, что и все предыдущие ораторы. За время войны он написал только два стихотворения «Над брацкай магілай» (ты, наверно, уже прочла его) и еще стихотворение, которое мы напечатаем. Пишет для своей газеты по-русски, но важно то, что это настоящая поэзия. А... написал полдесятка поэм, но если положить на весы времени, то одно стихотворение Кулешова перетянет всю А... макулатуру. Ты не пойми, что я хвалю Аркашу, Пимена, Танка, Глебку, потому что они меня хвалят. Нет. Каждый из нас ценит у другого то, что добывается, как кристалл, «из тысячи тонн словесной руды», а многие ведь выдают саму руду за поэзию. Как кустари, они радуются, что их ширпотреб расходится в каких-то воображаемых «массах». Это была сплошная вредная для нашей литературы демагогическая теория — писать «для масс». И вот отсюда шла недооценка, пренебрежение к читателю. Его писатель представлял всегда простачком, рассуждая так: ему нужно попроще, попримитивней, а для наивных

можно и конфетку. Они будут довольны. Так распространился литературный ширпотреб, как я его представляю. Для меня всегда было ясно одно: если у тебя нет совести перед самим собой, то ее нет и перед читателем. Пиши для себя, верный своей совести. Все, что по-настоящему будет добыто, с кровью, с мясом отодрано от сердца, то будет по-настоящему не только твоим, но и всех. И не только на день-два, но и на многие годы, на целые поколения. Помнишь мое четверостишие?

Хай кроў напоўніць кожны мой радок,
Хай змочыць горкі пот саваёй расой, —
І ў песенных лістах заходзіць свежы сок,
А высахне раса — заззяе ў слове соль.

Это я писал в 1939 году в Осовце. Так мыслю о поэзии и сейчас...

Вот видишь, какой я хвастун! Прости, Люсинька, за эти рассуждения, может быть, длинные и очень непонятные. А вообще — если бы я был с тобой, моя милая, моя любимая, я не мучил бы тебя никакими рассуждениями. Я взял бы тебя, мою хорошую, мою родную, на руки, і як вар'ят, закруціўся б у шаленстве, у радасці ад таго, што ты зноў са мною, зноў мая — уся, уся!

Целуй Вилика и Наталочку.

Твой Тима.

18 июля, суббота

Моя Люсинька!

Что ты меня не балуешь письмами... Сегодня днем к тому же мне испортили настроение мои начальники. Вспомнили, что я пред. месткома, требуют, чтобы я занялся этой работой. Но не лежит моя душа ко всей этой суете. Да и человек я неповоротливый. И все равно здесь сколько бы ни делал, всегда профсоюзник — самая широкая мишень для того, чтобы всем его пихать, как Марка по пеклу. Но все же надо будет взяться за свое «профсознание», как говорит наш Пинхасик, и развернуть работу, поднять, увязать, согласовать и др., и пр. Люсинька, пиши. Как твое здоровье и здоровье деточек? Обнимаю вас всех и целую. Ваш папа Тима.

Только что принесли мне письмо от тебя, написанное 10/VII. Какое умное, хорошее оно. Спасибо, Люсинька.

21 июля, вторник

Милая, родная, хорошая!

Что у меня нового? Ничего. Вообще, очень надоело жить в Москве. Скорее бы вырваться куда-нибудь, хоть в чистое поле. Просто дышать нечем. Правда, не так часто у нас бывают жаркие дни. Это лето все же холодное. Дожди и здесь довольно часты. И когда жаркий день, то просто задыхаешься. Не хватает воздуху. Когда идешь по улице, то приходится вдыхать в себя только перегар бензина от машин да вонь из дворов. Лучший для меня отдых — выйти на бульвар вечером, посидеть часик. А сейчас цветут липы. Такой запах чудесный. Так посидишь в одиночестве, подумаешь, бывает, поразговариваешь с тобой, с детками в мыслях, поплачешь (тоже бывает), и как-то легче станет на душе. Целую вас, мои родные, мои милые.

Ваш Тима.

25 июля, сб.

Моя Люсинька, родная!

Я все эти дни под впечатлением твоих двух недавних писем. Какая ты у меня умница, хорошая, милая. Как я тебя люблю, если бы ты знала.

Прислал мне из Кургана письмо отец одного товарища, работавшего в Белостоке, в Гомеле, Басин. Сегодня я ему ответил. Видимо, старый человек. Письмо его тревожное. Но я знаю, что сын его эвакуировался еще из Гомеля и, видимо,

живет где-нибудь в тылу, как и его отец. Люсинька, ты мне писала, что читала стихи Симонова. Вчера я читал его любовные стихи, написанные за дни войны. Цикл «С тобой и без тебя». Ты их, видимо, тоже читала. Я внутренне почему-то недоволен всеми его лирическими излияниями. Что-то мерзкое, мещанское во всей его любовной «философии». Недаром же так ухватились за эти стишки все барышни и с таким наслаждением слюнявят их! Да ну их всех к черту! Целую тебя, моя милая, родная. Целуй деток. Твой Тима.

Только что получил твою открытку, написанную 17/VII. Очень скоро пришла, за неделю.

4 августа, вторник

Здравствуй, моя Люсинька, моя милая мамочка, мои детки!

Открытки, видимо, все же скорей доходят, чем письма. Поэтому я стараюсь побольше писать открыток. А письмо это уже в том случае, когда есть тема, когда накопилось много мыслей, которые так хочется высказать, поделиться ими с тобой, моя родная, моя любимая.

Но сегодня у меня, кажется, ничего путного не выйдет. Болит голова. Вчера приехал с фронта один парень, Константин Киреенко. Я тебе о нем писал, что он меня нашел через «Комсомольскую правду». И вот мы с ним на радостях выпили. Как для него, так и для меня — это дело случайное. Но я вчера ничего не почувствовал, а сегодня неприятное настроение. А он, бедняга, вчера свалился… Он работает в газете, которая когда-то находилась в Белостоке и в которой, помнишь, работал Пимен. Там сейчас работает общий наш знакомый Тевелев. Муж Розы, помнишь? Сама Роза с сыном где-то тоже… Одним словом, эти знают друг о друге. Вчера приехали Пимен и Глебка — тоже на пленум. Ждем Аркашу. На днях будем слушать доклад Кузьмы о прозе белорусских писателей в дни войны и доклад Борисенко о белорусской поэзии. Это главные доклады и вопросы пленума… Помнишь, был такой Юрка В...? Оказался… продажной душонкой. Остался в Витебске и сейчас пописывает в угоду немцам статейки вроде «Почему мы называемся белорусами». Это действительно может удивить — почему такая сволочь называет себя белорусом? Вообще вокруг немецких громил нашлось и кишит немало холуев, именующих себя белорусами и спекулирующих нашим народом, его историей, культурой, прикрывающих его именем самые подлые свои делишки. Ты, видимо, читаешь в нашей газете фельетоны Чорного. Он очень остро разоблачает сущность этих сволочей, которые стараются доказать, что белорусы — это арийцы и им только по пути с немцами. Помнишь композитора Щ..., с такой красной, распухшей от пьянства мордой ходил из пивной в пивную? Он сейчас в Минске пишет гимны Гитлеру. Кое-когда появляются в минских газетках рассказики Миколы И... А чего от него было ждать? Такой путь всегда ясен. Там, где бардак, — там и И... А немцы — мастера на эти заведения. Наталья А... пописывает стишки. Правда, эта бестия хитра. Пишет стихи такие, что трудно даже сказать, в какое столетие они написаны, а не то что в каком году. Обиднее всего, что там оказался Туренков. Сперва он жил где-то в деревне, избегал всяких связей со всем сбродом этим, разыскивал семью, а потом не выдержал, пошел на то, что в Минске устроили его творческий вечер, на котором он сам исполнил свои произведения. В газете расхвалили его как признанного композитора. Об этом человеке трудно, конечно, делать поспешные выводы. Талант он безусловный и человек был популярный. Тут скорее дело в (*нрзб.*), в которых он пустился. С Западной Белоруссии притащили в Минск тоже немало барахла. Ксендза Годлевского, например, который сейчас заведует школами в Белоруссии. Был еще в Минске такой Антон Адамович. Пописывал статейки, именовал себя белорусом, ратовал за культуру и еще тогда творил грязные делишки. Был выслан. Незадолго перед войной еще возвратился в Минск, там оказался и сейчас — самый верный и покорный холуй у Гитлера. Видел я журнал под названием «Белорусская школа», издается в Минске

на белорусском языке этой псарни. Какой там язык, боже мой! Вряд ли кто из белорусов понимает его! На целые столетия отбросили всю национальную культуру и ее произведения, вытянули все самое допотопное, выдавая его за национальное. Недаром же они когда-то объявляли, что каўтун (болезнь головы) — национальное украшение, умилялись ему. Ну, да черт с ними со всеми. Придет и на них каўтун.

Крепко-крепко тебя прижимаю всю, мою милую, и целую, целую. Целуй деток.

10 августа, пн.

Здравствуй, милая Люська!

Я все жду от тебя письма о том, как ты устроилась на новой квартире. 7 и 8 августа проходил Пленум писателей Белоруссии. Докладчик о поэзии Борисенко очень расхвалил мой стих «Судны дзень», приводил цитаты из него. А в итоге сказал: «Все, что написано Крысько, заслуживает самой высокой оценки». В своем вступительном докладе Михась Лыньков заявил, что «Ц. Крысько подготовил новую книгу стихотворений». Правда, книгу я не подготовил, но если будет возможность издать — издам. По крайней мере в план издательства включено издание сборника моих стихов. Правда, все это пока вилами по воде писано. Главное — скорее бы уцепиться за родную землю. У нас у всех немного хоть настроение поднялось. Говорят, на Западном и Калининском дела пошли успешно. Наши гонят немцев, каждый день идут вперед. Правда, тяжело на юге. Но если здесь их погонят, то это облегчит и там положение. С речью на пленуме выступал и я. Она у меня написана, и я пришлю ее тебе. Это слова о матери, разговор с нею, моя исповедь. Об этом я пишу в стихах и об этом не перестаю думать и еще буду писать. С очень умной речью выступал Александр Фадеев, автор «Разгрома». А наших большинство нечего было здесь слушать. Хорошо говорил, умно, прочувствованно, Петро Глебка, Пимен (*далее стерто*). В газетах сообщалось о пленуме. Ты читала, наверно. Целую тебя. Целуй деток. Твой Тима.

14 августа

Милая, родная Люсинька!

За раз я получил от тебя два письма. Какие они хорошие, сердечные и умные. Мы с тобой разошлись в оценке лирики Симонова. Конечно, я не прав, потому что пристрастен. Дело в том, что вся эта лирическая история с женой в московских мещанских кругах, пожалуй, была популярней, чем сами стихи. Видел я эту «прекрасную даму» сердца. Она — актриса московского театра Ленсовета. В нашумевшей пьесе «Русские люди» она играет роль шофера Вали. Автор даже героине дал имя своей возлюбленной. В. С. — Валентина Серова. Играет она эту роль блестяще, по оценке москвичей, видимо, только потому, что для нее роль написана. Мне ни роль, ни сама исполнительница не понравились. Дело в том, что это, пожалуй, одно и то же. Роль Вали-шофера — портрет Валентины Серовой-актрисы. Эта та серая, средняя девушка-бодрячок, которая по рецепту Лебедева-Кумача «с песней по жизни шагает». Пьесу мы смотрели вместе с Кузьмой Чорным. Ему тоже очень не понравилось. А это ведь драматург, у которого должен и Симонов поучиться. Вспомни его «Бацькаўшчыну». Какая выразительность характеров. Вообще, надо не завидовать, а сочувствовать автору, если он успех имеет. Это значит, что через год-два-пять его забудут. Успех настоящего искусства приходит не тогда, когда его выставляют напоказ, а тогда, когда уже самому автору не суждено ни успеха, ни славы, ни пивной, ни аванса. Как Маяковскому.

Пустота. Летите, в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,

Ни пивной —
Трезвость.

Люсинька! Посылаю тебе свою речь на Пленуме Союза писателей. Почитай и сохрани. Может, будем издавать когда-нибудь в Минске. Это не просто речь, а стихотворение в прозе. Вчера я читал его по радио для Белоруссии. О если бы моя мать услыхала хоть слово из того, что я хотел ей сказать. Сегодня я ее снил. Будто я ее вспоминаю. А она открывает дверь и входит. Веселая. Я ее целую. А недавно мне снилось, что с моей кровати забрали казенное одеяло и расстелили домотканое материно, что она сама ткала. Я проснулся и всем говорил: «Ну, скоро будем в Белоруссии». Может, и будем. Там наши, говорят, здорово гонят немцев. Да и о Брянском фронте сегодня хорошие сообщения. Только вот юг — тяжелое положение. Будем бодрствовать. Целую тебя, моя милая. Целуй деточек. Получила ли ты паек? Пиши. Твой Тима.

17 авг., пн.

Люсинька, моя хорошая, родная!

Что-то от тебя все эти дни нет ни письма, ни открытки. Я уже начинаю беспокоиться и ждать, ждать. Что у меня нового? Хорошего ничего. Вчера был противный дождь целый день. Просидел в общежитии. Правда, ходил к Чорному. Там немного повеселились. Забыв обо всем, описывали крестьянский быт, нравы, характер Слутчины. Он закончил большой новый роман. Дал мне читать в рукописи. Многие главы я читал, вернее, слушал, он сам мне читал. А сейчас я с удовольствием буду читать все. Истосковался по Чорному-романисту, которого я всегда читал с особым наслаждением. Знакомые, родные места, характеры, Слутчина. Сегодня мне прислал стихотворение новое Аркадий Кулешов. Это поистине гениальный поэт. И все те, кому неприятно это видеть, делают умный вид знатоков и говорят многозначительно: хорошо, сильно. А я говорю: радостно жить на свете, зная, что есть такие поэты. Целую тебя, твой Тима.

19 авг., ср.

Люсинька милая, родная!

Наконец. Я рад, успокоился, получил от тебя письмо. Хорошо, что ты уже определилась с обеспечением. Это тебя сейчас поддержит. Читала ли ты в «Правде» сообщение о нашем пленуме, там есть и моя фамилия. Так что если там еще кто-нибудь будет сомневаться, что мы с тобой писатели, скажи им, что «Правда» нас признала. Я шучу, конечно. Настроение хорошее, творческое. Почти каждый день пишу по стиху. Задумал цикл стихов-песен о девушке, проданной в немецкое рабство. Очень сильный стих на эту тему написал Аркадзь «Ліст з палону». Сегодня напечатан в «Известиях». Удивительно, что мы оба одновременно почувствовали эту тему и даже то, что надо это решать средствами народной песни. Правда, Аркадзь — гениальный мастер, и мне приятно быть у него подмастерием. Когда напишу свой цикл, пришлю тебе. Ты хоть и не мастер, но выше нас обоих, ибо судишь и одного и другого, грешных. О мой великий учитель жизни! Припадаю к твоим ногам и целую их и даже землю, по которой они ходят. Твой Тима.

21 августа, птн.

Милая моя Олеся!

Пишу тебе в довольно веселом настроении. Только что с Максимом Танком были в Союзе писателей. Набросились там в столовой на пиво, и вот оба очень развеселились. Купили переводы Маршака из английских поэтов и всю дорогу читали по улицам. Чудесные вещи! Посылаю один экземпляр тебе, отдельно посылаю для деток чудесную книгу «Советские дети». Если она дойдет, если по дороге не стибрят, а вещица она завидная, то я буду очень рад. В ней очень много

иллюстраций. Будет что показывать и читать, рассказывать для Вилика и Наталочки. Люсинька моя, родная, любимая! Пиши мне почаще, каждое твое письмо — это для меня событие. Получила ли ты мою речь на Пленуме? Скоро пришлю тебе свою песню, о которой писал вчера. Обнимаю свою любимую Люську, своих деточек и целую.

Ваш Тима.

22 августа, сб.

Олинька, Олюська, Олеся!

С сегодняшнего дня я начал работать на два фронта — в своей газете и два-три часа в радиокомитете, в белорусской редакции. Просили меня — не мог отказать. А у них нет людей, знающих язык. Платить они мне будут за переводы (*нрзб.*) и за то, что сам буду писать для них или выступать перед микрофоном. Если бы это в мирное время, когда была необходимость в деньгах, то это очень выгодное совмещение. А сейчас это почти не имеет значения. Просто надо работать, больше пользы приносить, насколько способен, насколько можешь. Жду твоих милых, хороших писем. Я, как видишь, уже разучился писать подробно. Люська, милая, целую тебя и деток. Привет всем, всем. Твой Тима.

10 сент., чт.

Моя милая Олеся!

Наконец ты меня порадовала — получил твои два письма. Хорошие, душевные, умные. Я часто думаю, что ты для меня становишься все выше, умнее, благороднее, человеком с большой душой. Хоть ты и высмеиваешь это мое обожествление. Олинька, но ведь этим я и живу, ты только уловила то основное, что назвала «Дидель». Вот стал тебе писать, да помешали. Пришла бригада из Кинохроники. Хотят снимать нашу редакцию, показать процесс, как работает редакция, выпускающая партизанскую газету.

Последние дни у нас очень плохая погода. Дождь, холодно. Вчера смотрел чудесный балет «Дон-Кихот». Яркое, как радуга, зрелище. Когда-то мы с тобой, с детками вместе будем смотреть балеты. Я всегда, когда меня что-нибудь захватывает, думаю с сожалением — вот бы нам вместе посмотреть, вот бы моему Вилику и Наталочке показать! Будем ждать того счастливого, желанного времени. Целую тебя всю, всю. Целуй деток. Твой Тима.

Окончание следует.

ГЕННАДИЙ АНУФРИЕВ

«ВСЮ ЖИЗНЬ ВСПОМИНАЮ ТУ БАТАРЕЮ...»

Все дальше во временные дали уходит от нас Великая Отечественная война. С каждым годом все меньше ее ветеранов приходят в День Победы к обелискам в честь павших героев, чтобы возложить к их подножию цветы. Но не тускнеет память об этой войне, и время не в силах умалить нашу благодарность людям, отдавшим свои жизни и здоровье во имя мирной и счастливой жизни потомков.

Перелистывая как-то энциклопедию «Кто есть кто в Республике Беларусь», обратил внимание на статью о полковнике в отставке Алексее Сидоренко — почетном солдате одной из воинских частей, расположенной в городе Осиповичи. Статья вспомнилась, когда недавно оказался по делам в этом райцентре Могилевской области. И не удержался, решил заглянуть в часть, благо она находилась рядом с железнодорожным вокзалом.

Заместитель командира 51-й гвардейской смешанной артиллерийской группы по идеологической работе гвардии полковник Игнатьев, несмотря на занятость, смог уделить немного времени. Он не удивился моему визиту. «Журналисты — у нас нередкие гости, — улыбнулся Александр Юрьевич. — Где, как не здесь, выпадает редкая возможность ближе познакомиться с родом войск, который в «ревущие сороковые» называли богом войны. Узнать особенности и премудрости у самих асов артиллерии! Приди вы неделей раньше, встретились бы с почетным солдатом 1-й батареи 1-го самоходно-артиллерийского дивизиона 178-й пушечной артиллерийской бригады Алексеем Степановичем Сидоренко. Он у нас часто бывает, вот и в этот раз приезжал на принятие присяги».

Спрашиваю полковника Игнатьева, что значит для молодых солдат, офицеров звание — почетный солдат? «Прежде всего — достойный человек, солдат или офицер. Такой, как Алексей Сидоренко, отдавший воинской службе 41 год жизни, защищавший Родину с оружием в руках. Ветеран Великой Отечественной войны, воевал в артиллерии. И в дальнейшем связал свою жизнь, судьбу с Вооруженными Силами. Прошел службу в Краснознаменном Белорусском военном округе, был начальником отдела по подготовке ракетных войск и артиллерии КБВО. Его богатейший опыт должен передаваться нынешним поколениям. Поэтому мы на общем собрании личного состава части выбрали его почетным солдатом. И приказом Министра обороны Республики Беларусь он был зачислен в список воинской части».

Александр Юрьевич поведал, с каким вниманием и волнением слушали ветерана молодые воины, принимавшие присягу. Не каждому доводилось прежде слышать «живьем» рассказ непосредственного участника Великой Отечественной о буднях войны, легендарных «сорокапятках», с которыми связан его боевой путь. А еще — о ратных успехах и неудачах, героизме и предательстве, величии духа и подлости — на войне ведь всякое бывало. «Даже я никогда раньше не слышал от ветеранов таких откровенных слов», — заметил полковник Игнатьев.

Подумалось: может, такие встречи и есть одна из лучших и эффективных форм идеологической работы, патриотического воспитания? Пусть молодежь увидела почетного солдата поседевшим, опирающимся на палочку, — но по-прежнему крепкого духом. Как и тогда, во время войны, выстоявшего наперекор опасностям и невзгодам.

Слушая полковника Игнатьева, невольно взглянул на часы — до отхода поезда оставалось двадцать минут. Заметив это, Александр Юрьевич взял ручку, написал что-то на листке бумаги: «Телефон Сидоренко. Он живет в Минске. И приезжайте к нам еще. Побудете в 1-м дивизионе, побеседуете с военнослужащими». Пообещав так и сделать, от души поблагодарил офицера и вышел из кабинета. Идя к КПП мимо стоящих на постаментах орудий, каждым своим залпом приближавших победу над врагом, дал себе слово вернуться сюда в самое ближайшее время.

...Голос в трубке послышался сразу, будто Алексей Степанович ждал звонка: «Что ж, приходите, буду рад». Типовая многоэтажка в Лошице. В узеньком коридорчике гостя встречает сам хозяин — коренастый, крепко сбитый и вовсе не старый с виду мужчина. Его бодрый вид приятно удивил — ведь я знал, что Алексею Степановичу «стукнуло» 85 лет. Радушно улыбаясь, хозяин пригласил в небольшую, скромно обставленную квартиру. «Моя «вторая половина» сейчас в санатории, один дома скучаю, так что рад гостю... Чай, кофе? Не стесняйтесь, будьте как дома, угощайтесь печеньем...» И сразу возникло чувство какого-то удивительного душевного комфорта; ощущение, что давно знаком с этим гостеприимным человеком. С удовольствием прихлебывая горячий кофе, слушаю рассказ ветерана.

На восток

...Родился Алеша Сидоренко в 1925 году в небольшом украинском городке Шпола Черкасской области, в простой рабочей семье. Отец трудился в сапожной мастерской, иногда подрабатывал башмачным ремеслом дома. Мать с утра до позднего вечера была занята в колхозе. Мальчик с ранних лет привык к нелегкому труду в домашнем хозяйстве. Когда старший брат Григорий ушел служить в армию, Леше пришлось присматривать за младшими — братиком Славиком и сестренкой Линой. Подросток успешно совмещал хлопоты по дому с учебой в Шполинской средней школе и закончил девять классов, когда грянула война.

С военным делом повязан Алексей Сидоренко, можно сказать, с шестнадцати лет. И хотя первые два года войны в силу непризывного возраста пороха непосредственно не нюхал, зато в полной мере познал тяготы и лишения военного лихолетья. Вместе с однолетками, такими же несовершеннолетними мальчишками, его вызвали в военкомат. Там сказали: «Вот вам старший, возьмете дома продовольствия на два-три дня и пойдете на восток...» Алексей попрощался с семьей, которая осталась в Шполе, вскоре оказавшейся в оккупации.

Пешей колонной большая группа молодежи двинулась в направлении Черкасс. Алексей с тяжелым сердцем оглядывался назад, туда, где исчезали в туманной дымке родной город, отчий дом. Юные шполяне не знали, куда и зачем их ведут. Многие так и не увидели больше своих родных. Перейдя по мосту через Днепр, Алексей обнаружил, что колонна значительно поредела. Некоторые из его земляков, боясь немецкого обстрела, не решились ступить на мост и сбежали. Те же, кто перебрался на противоположный берег, дошли до пункта назначения на Полтавщине.

Подростков распределили по колхозам, где они помогали убирать урожай, чтобы не достался врагу. Взрослое мужское население было мобилизовано, рабочих рук не хватало. Алексей оказался неподалеку от прославленного Гоголем хутора Диканька. С приближением линии фронта появились наряды на иные виды работ: рытье окопов, противотанковых рвов, установка заграждений. «Глядя на своих сверстников, удивлялся, насколько старше они стали выглядеть, — вспоминает Алексей Степанович. — Наверное, так же повзрослел тогда и я».

Когда немцы подошли совсем близко, молодежь погрузили на конные повозки и переправили в Харьковскую область, в местные колхозы. Опять те же работы на строительстве оборонных сооружений, уборке урожая. Пшеница в то лето

уродилась отменная. Леша попал в тракторную бригаду, работал прицепщиком, научился водить трактор. Всех трактористов-военнообязанных забрали на фронт, и их дело продолжили еще не окрепшие пацаны. Они не раз просились на фронт, но всякий раз им объясняли, что когда армия будет в них нуждаться, тогда и призовут. А пока они нужны в тылу. Сидоренко в шестнадцать лет досконально освоил технику, что сыграло немаловажную роль в его судьбе.

И снова — эвакуация. Поступил приказ грузить технику из МТС — машинно-тракторных станций — на составы и ехать с ней дальше на восток. Когда трактора, прицепы и прочие механизмы были погружены на платформы, а люди — в теплушки, поезд тронулся в неизвестность. Что будет дальше — оставалось лишь гадать.

В Пензе состав остановился. Два дня теплушка с ребятами простояла в тупике, пока не стало известно: техника, которую они сопровождали, отправлена на Урал, на переплавку, а им самим предписано отправляться в Казахстан, в Алма-Ату. Возле города Талды-Курган Алма-Атинской области, в чистом поле, возводился сахарный завод, эвакуированный из Курской области. Прибывших опросили, кто что умеет. «Ага, ты тракторист! Отлично, трактористы нам нужны!»

Распределили на постой по домам, по два-три человека, в поселке Кировский. Работали день и ночь. На своем тракторе «ХТЗ» Алексей перевозил оборудование для завода с железнодорожной станции, находившейся в 90 километрах от стройплощадки. Хотя на колеса трактора поставили резину, он стал ненамного «шустрее». На рейс туда и обратно уходили почти сутки. Было неимоверно тяжело, главное, о чем думал, — только б не заснуть за рулем, не повредить машину и груз. А тут еще душа болит о доме, родных, о которых нет никаких известий...

Так в поте лица парень зарабатывал свой хлеб строителя и тракториста до того памятного дня, когда пришла долгожданная повестка в военкомат. Восемнадцать лет Сидоренко исполнялось 18 марта 1943 года, но призвали раньше, в начале февраля. Закончилась «гражданка», как говорит Алексей Степанович, и начался новый этап в его жизни, биографии — военная служба. В самое тяжелое для страны время — военное.

Боевое крещение

В военкомате сказали: раз у тебя почти полное среднее образование, будем из тебя офицера готовить. Юноша удивился — ну какой из него офицер?! Даже ружья охотничьего в руках не держал, не то что боевого оружия! Он-то предполагал, что простым солдатом отправится на передовую. Но, как говорится, начальству виднее. И опять дальняя дорога — в город Керки Туркменской ССР, куда эвакуировалось Гомельское военно-пехотное училище. После восьми месяцев учебы должен был выйти оттуда новоиспеченным младшим лейтенантом. Было обидно, что на войну не скоро попадет, что придется жить в глубоком тылу. На деле все сложилось по-другому. Как ни странно, пока Алексей постигал азы военной науки, пришлось и жизнью рисковать.

Училище располагалось в стенах древней крепости, неподалеку от границы с Афганистаном. Там же стояла «на всякий случай» небольшая воинская часть. В этих местах нередкими были набеги басмачей, и необстрелянные курсанты вряд ли могли противостоять многочисленным бандам. Надеяться на пограничников, находившихся в двух-трех десятках километров, не приходилось. Впрочем, несколько раз училище поднимали по тревоге, и курсанты принимали участие в облавах на бандитов. Когда от пограничников поступало донесение, что басмачи могут быть в том или ином кишлаке, курсанты вместе с военными оцепляли деревню и проверяли каждое жилище.

— Приходим в дом: «Есть мужчины?» Женщина испуганно вращает глазами: «Никого нет!» Начинаем искать — бородатый мужик в бочке сидит, прикрытый всяким барахлом, — вспоминает Алексей Степанович. — Случались и вооружен-

ные стычки. Найдя басмача, мы, курсанты, передавали его военным и, как складывалась дальнейшая судьба пленника, не знали, — с ним разбирались уже другие.

Условия жизни и обучения были очень трудными, особенно для выходцев из европейской части СССР. В Туркмении неимоверная жара. Помимо теоретических и практических занятий в училище почти каждый день — полевые занятия. Алексей Сидоренко зачислен в минометную роту. Курсанты упражнялись в стрельбе за стенами крепости, в песках, где среди барханов устанавливались мишени. Само собой, ходили в атаку, отрабатывали приемы рукопашного боя, совершенствовали строевую подготовку. Чтобы выдержать, Алексей твердил про себя известную присказку: тяжело в ученье — легко в бою. Впрочем, в бою, как выяснилось совсем скоро, оказалось не легче...

Выйти из стен училища офицером не довелось — учеба закончилась досрочно. В мае курсантов построили на плацу и объявили: немцы уже в Сталинграде, фронт требует свежих сил, пополнения. В течение двух суток всех экипировали, разбили по взводам, отделениям. И — на запад. Уже не курсант, а рядовой Сидоренко подумал: впервые он направляется не на восток, как до сих пор. Может, отныне его путь проляжет лишь в западном направлении?

Людские резервы для потрепанных в боях частей брали откуда только можно. Под Орел вышла из боев на переформирование 3-я гвардейская танковая армия. В ее подразделения влились, наряду с мобилизованными гражданскими, и бывшие курсанты Гомельского военно-пехотного училища. Вскоре численность и боеспособность 3-й танковой была восстановлена, и в июле 43-го обновленная армия пошла на форсирование Днепра.

Собственно боевая биография Алексея Сидоренко вмещается во временн**ы**е рамки полутора лет, и на протяжении этого, казалось бы, не такого уж долгого срока была отмечена и ранениями, и контузией, и наградами, и даже... похоронкой. Но все это у солдата было еще впереди.

Его определили в батарею 45-миллиметровых пушек. Полностью укомплектованный орудийный расчет состоял из пяти человек: командир, наводчик, заряжающий, подносчик снарядов и ездовой. Сидоренко начал свой боевой путь наводчиком. «Сорокапятки» стреляли только прямой наводкой. «Что называется, с глазу на глаз с противником. Вижу цель в прицеле, навожу, стреляю. Иногда все решало то, кто первым выстрелит».

Боевым крещением Алексея Сидоренко стало форсирование Днепра. На подходе к реке из бревен от разобранных хат и сараев, под бомбежкой артиллеристы делали большие плоты, на которых предстояло перевозить на противоположный берег орудия. Люди и лошади переправлялись на плавающих бронетранспортерах. БТР цеплял тросом плот — и вперед. Переправа осуществлялась ночью, но таковой назвать это время суток можно было лишь условно: осветительные ракеты превращали ночь в день. Форсирование реки вспоминается кромешным адом. Беспрерывный артобстрел, грохот взрывов, фонтаны брызг, крики раненых, ржание испуганных лошадей...

К утру передовые части оказались на той стороне и потихоньку, с боем, продвигались вперед. На правом берегу захвачен небольшой плацдарм.

— Слышим, рядом бой идет, — рассказывает Алексей Степанович. — Командир приказывает занять оборону. Можно было не сомневаться, что немцы попытаются сбросить нас с плацдарма в реку. Развернули орудия, окопались, выложили боеприпасы. Ждем.

Местность сильно пересеченная, длинная лощина, почти скрытая густым туманом, ниже — Днепр. Позиция батареи — на скате высотки. Впереди, метрах в двухстах, наша пехота. Вдруг бойцы услышали шум моторов. И в тумане один за другим возникают призрачные силуэты танков. Сердце забилось сильнее: «тигры»! Один, второй, третий... Очевидно, это была разведка боем. Командир кричит: «Не стрелять! Не обнаруживать себя!» Видимость плохая, до танков еще метров пятьсот, для «сорокапятки» далековато. Расчеты разобрали цели, каждое орудие ведет ствол за своей целью.

Когда до танков было уже метров 200, послышалась команда: «Огонь!» Трассирующими бронебойными бьем по «тиграм», а им хоть бы что! С отчаянием видим, как снаряды ударяются о броню и свечой взмывают ввысь, рикошетируют. А ведь 200 метров для наших пушек — оптимальная дистанция для стрельбы. Если б на месте «тигров» были бронемашины — разнесли бы вдребезги!

Танки разворачиваются и направляются на батарею. Сердце дрогнуло. Снаряды не берут бронированные чудовища. Что делать? Из дула «тигра» вырывается пламя, и на месте одной из «сорокапяток» вырос огненный куст взрыва. К счастью, на соседней высотке стоял дивизион 76-миллиметровых пушек. От них танки находились примерно в 400 метрах — «убойное» расстояние для этих орудий. Тем более что, развернувшись на «сорокапятки», танки подставили дивизиону свои борта. И артиллеристы как начали молотить! Мы тоже стреляем. Вот уже один танк горит, второй... Третий попятился и убрался восвояси. Всю жизнь буду благодарен нашим братьям по оружию. Не будь их, «тигры» проутюжили бы нас гусеницами вместе с пушками. Это пример настоящей фронтовой взаимовыручки.

Завоеванный на правобережье плацдарм удерживали трое суток, в течение которых фашисты несколько раз пытались контратаковать. «Сорокапятки» находились в 100—150 метрах от передовых позиций нашей пехоты, практически в ее боевых порядках. Все это время, почти без пауз, немцы вели сумасшедший огонь — минометный, пулеметный. «Слышишь, пулемет стучит? Найди его!» — обратился командир батареи к наводчику Сидоренко. Алексей приник к прицелу. И когда пулемет вновь заработал, воскликнул: «Вижу!» Командир с «козьей ножкой» в руке подбежал к орудию: «Где?» Наводчик отступил в сторону: «Вон! Смотрите в прицел, товарищ лейтенант!» Пока командир рассматривал цель, Сидоренко взял из его руки самокрутку, жадно затянулся, хотя прежде не курил. «Верно, — выдохнул лейтенант, — давай, Лешка, огонь!» Пушка один за другим кладет два снаряда туда, где видны вспышки выстрелов. Пулемет уничтожен. Командир похлопал наводчика по плечу: «Молодец!» Особая благодарность, понятно, от пехоты.

Вскоре подошли новые подразделения советских войск, потеснили немцев. После памятных боев за удержание плацдарма на берегу Днепра фронт покатился дальше на запад. А 3-ю танковую армию неожиданно перебрасывают на другое направление, ближе к Киеву. «Почему туда, мы, солдаты, естественно, не знали. Замыслов командования нам не разъясняли. Маршевыми колоннами направились в район Фастова».

«Знакомое дело — стрелять по танкам!»

Уже на месте командир батареи объявил боевую задачу: перекрыть дорогу, что ведет из Киева на Житомир, Львов. Столица Советской Украины почти взята. Нужно было не дать возможности беспрепятственно отступить частям противника. Батарея, в которой остались три орудия из четырех, заняла огневую позицию сбоку от дороги. На рассвете послышался шум — двигалась колонна. В утренних сумерках показались бронетранспортеры, грузовики. «Приготовиться!» И когда немцы подошли поближе, раздалась команда: «Огонь!» На этот раз «сорокапятки» оказались на высоте. «Хорошо помню, как снаряд ударил по головному бронетранспортеру, и он запылал, как факел. Колонна смешалась, на дороге хаос. Уцелевшие немцы выскакивали из машин и бежали куда глаза глядят. Их вылавливали наши пехотные подразделения».

— Запечатлелся в памяти такой случай, — погружается в воспоминания Алексей Степанович. — Ночь, редкие часы затишья. Артиллеристы отдыхают, лишь караульный бодрствует, сидя на станине пушки. Вдруг от одного из орудий доносится крик. Командир посылает бойца — узнай, в чем дело. Тот приносит печальную весть: весь расчет убит. Сначала караульного зарезали, потом спящих.

Командир поднял батарею, прочесали ближайший перелесок. Поймали двоих в немецкой форме. Подвели к убитым артиллеристам: ваша работа? «Найн, найн!» Командир по-русски приказал: «Отведите подальше и расстреляйте». И вдруг «немцы» взмолились о пощаде на украинском языке. Оказалось, бандеровцы.

Новый приказ — занять оборону возле железнодорожного узла Попельня. Орудия установили на расстоянии 50—75 метров друг от друга, как всегда при стрельбе прямой наводкой. На следующий день фронт приблизился к Попельне. По канонаде можно было определить, где передовые части. Командир говорит Алексею: «Бери коня, поедешь со мной». Вероятно, собрался в штаб и потребовался сопровождающий. Сидоренко взял у ездового лошадь, закинул за плечи автомат. Пригодились навыки верховой езды, полученные в детстве. «Дело было к вечеру. Поехали. Стрельба стихла, вокруг никого, странная тишина».

Тишина оказалась обманчивой. «Вдруг с левой стороны пулеметная очередь как даст! И минометы саданули. Один разрыв, второй... Третий взрыв прямо передо мной метрах в трех-пяти. Лошадь, приняв сноп осколков на себя, рухнула наземь. Перелетел через ее голову, лежу на земле. Снова стало тихо. Поднял голову — командира нигде нет. Очевидно, решив, что сопровождающий убит, ускакал. Я остался один. В ушах звон, голова гудит — контужен. Ночь, куда идти, не знаю. Можно к немцам угодить, да и свои могут принять за врага. Думаю, полежу до рассвета, там осмотрюсь».

Устроившись в теплой еще воронке, морщась от боли, Сидоренко анализировал происшедшее. Вдруг услышал говор. Приподнявшись, увидел смутные силуэты пяти человек. Разведка? Но чья? Один приближается с автоматом наготове. От сердца отлегло, когда услышал родной «матерок»: «...твою мать, ты кто такой, что здесь делаешь?!» Артиллерист рассказывает, так, мол, и так. Разведчики отвели его к командиру роты одного из полков 70-й стрелковой дивизии. «Кто, откуда?» Алексей с трудом — после взрыва звенит в ушах, кружится голова — начинает повторять свой рассказ. Командир роты понял его состояние, подвинул бумагу, карандаш: «Пиши». Потом вызвал солдата: «Отведи в медсанбат». Уже потом пришла мысль: а ведь могло иначе все сложиться. Нарвись он на какого-нибудь рьяного особиста, тот вполне мог принять за перебежчика к немцам. Такое на войне случалось.

В медсанбате боец пробыл неделю, после чего командир роты забрал его обратно. Определил вторым номером в расчет ПТР — противотанкового ружья. Алексей пошутил: «Дело знакомое — стрелять по танкам!» Так и занимался весной 44-го «знакомым делом», пока не был ранен. Слава богу, пулевое ранение в руку оказалось сквозным, кость не задело. Снова медсанбат, госпиталь... В мае Сидоренко направляют в 3-ю гвардейскую танковую армию, где он и начинал свой боевой путь. На этот раз — в 616-й отдельный минометный полк наводчиков 120-миллиметрового миномета. Полковые минометы вели огонь с закрытых позиций. «Из «сорокапятки» бил прямой наводкой, а здесь стрельба велась по установкам, получаемым с наблюдательного пункта. Командир готовил данные вместе со взводом управления. В него входили: отделение разведки с приборами наблюдения — стереотрубами, дальномерами; телефонист, радист и вычислитель — человек, владеющий мастерством быстрых и точных расчетов, обычно математик».

Вскоре советские войска вошли в Польшу, форсировали Вислу. «Уже не так, как Днепр, — на самодельных плотах, а по заранее наведенному понтонному мосту». На другой стороне реки минометная батарея заняла боевую позицию. Видимо, ее расположение засек противник, неслучайно в небе летал немецкий корректировщик — «рама», как его называли наши бойцы. Через некоторое время на батарею обрушился шквальный огонь. В нескольких метрах от миномета Сидоренко разорвался снаряд. Несколько осколков попало наводчику в правую ногу. В госпитале положили на операционный стол. После операции хирург показал два извлеченных из ноги осколка: «Держи на память». Как позже выяснилось, врачи не все осколки вынули...

Рассказывая о своем боевом пути, Алексей Степанович подчеркивает: «Не ждите от меня рассказа о чем-то необычайном, героическом. Я был обыкновенным солдатом, честно выполнял свои обязанности, воинский долг. Просто делал тяжелую работу на войне. («Разве что смертельно опасную», — подумалось.) А как же иначе поступать человеку, два раза принимавшему присягу!» Видя мое недоумение, улыбается: «Один раз в военно-пехотном училище в Туркмении, а второй — когда из училища прибыли на пополнение в 3-ю гвардейскую танковую армию. Там всех новоприбывших огулом отправили на принятие присяги».

После госпиталя Сидоренко попал в запасный армейский полк. Туда направляли как излечившихся после ранения бойцов, так и мобилизованных молодых призывников. Там их несколько недель готовили, после чего направляли в части, которые понесли потери. Алексей пробыл в запасном полку около месяца. Как солдат, прошедший суровую школу войны, занимался с призывниками, «рассказывал, с какой стороны пушку заряжают...».

Однажды, в январе 45-го, вызвали к командиру полка на собеседование. Алексей сказал, что хочет вернуться в свою часть. На это ему ответили, что война кончается, пора думать о кадрах для будущей армии. И он получил направление в 1-е Ростовское артиллерийское училище. В этом училище в течение восьми месяцев готовили младших лейтенантов. «Вторая попытка стать офицером, — шутил Сидоренко, — на этот раз обещала быть более успешной».

В училище он и встретил День Победы. На боевом посту — стоя в карауле, охраняя склад. «Слышу, где-то стрельба поднялась! Думаю: что такое? На всякий случай приготовил оружие, мало ли что. Потом слышу быстрые шаги: «Стой, кто идет?» Смотрю, разводящий: «Подожди ты, Лешка!» Подбегает, обнимает: «Это же наши салютуют! Победа, войне конец!»...

«Это я, Лешка!»

Вскоре в училище пришел приказ: всем фронтовикам предоставить отпуска. Получив десятидневный отпуск, Сидоренко поехал искать родных. Отчий дом в Шполе встретил заколоченными окнами и замком на двери. «Твои переехали в деревню, — подсказал сосед. — Тут такие бои были!» Алексей понял: семья у родственников отца. До деревни километров восемь. Когда пришел, уже стемнело. Постучал в дверь. В окно выглянула мать: «Кто?» Рванулся к окну: «Я, Лешка!» Тишина. К стеклу прильнули младший брат и сестренка. «Это же я! — снова крикнул он. — Не узнаете?!»

На крыльцо вышел отец. «Папа, это я, Лешка!» Обнялись. «Мы ж тебя похоронили!» Отец все не мог поверить, что видит сына живым. И показывает похоронку...

Вспоминая об этом, Алексей Степанович достает платок: «И сейчас слезы наворачиваются...» Я держу в руках пожелтевший бумажный листок. *«ИЗВЕЩЕНИЕ. Красноармеец Сидоренко Алексей Степанович, уроженец г.Шпола, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 2 ноября 1943 года и похоронен на станции Попельня Житомирской области. Командир войсковой части... 26 марта 1944 года».*

В ту ночь в доме никто не спал. Они не могли наговориться, рассказывая друг другу о пережитом за годы войны. Младший брат Славик взахлеб рассказывал, как вредил фашистам. К примеру, разбивал фары немецких автомашин. Когда шестилетнего партизана поймали, все могло закончиться для него плачевно, если бы не мудрый поступок матери. Вместо того, чтобы умолять фашиста отпустить мальчишку, она начала того лупить, словно карая за проступок. Удивленный немец отпустил сорванца домой, получив в благодарность гуся... Алексей узнал также, что старший брат жив, был ранен. Недавно приезжал, но ему сказали, что Лешка погиб...

До конца отпуска Сидоренко помог семье вернуться обратно в Шполу, восстановить дом, хозяйство. В кармане у него лежало предписание явиться для прохождения действительной воинской службы в отдел кадров Краснознаменного Белорусского военного округа. «На этом, — говорит Алексей Степанович, — завершился мой боевой путь солдата и начался новый период моей жизни, уже в мирное время. Я стал офицером Вооруженных Сил, на четыре десятилетия связав свою судьбу с армией».

Младший лейтенант Сидоренко получил назначение в 1-й гвардейский истребительный противотанковый артиллерийский полк, что стоял возле Бобруйска. Быстро продвигался по служебной лестнице: командир взвода, командир батареи. Не раз участвовал в окружных артиллерийских стрелково-тактических состязаниях артиллерийских батарей и занимал 1-е и 2-е места. Принимая участие во Всеармейских артиллерийско-стрелковых состязаниях и конкурсах командиров батарей, также занимал призовые места, за что награждался грамотами и призами. Неудивительно, что «дорос» до должности заместителя начальника штаба полка.

Естественно, молодой военнослужащий думал не только о делах военных. В один из приездов домой стал искать школьных товарищей. И встретил симпатичную девушку Анечку, с которой учился в одной школе. Вскоре сыграли свадьбу. Задумывался Алексей и о повышении образования. Пробовал поступить в Военную академию — завалил, девять классов за плечами, да и те за войну забылись... Но он не упал духом. Придя к директору вечерней школы, попросил разрешения посещать ее как слушатель, чтобы восстановить знания. Мол, никому не помешаю, сяду сзади тихонько и буду слушать. Директор разрешил. И Сидоренко вечером, в свободное от службы время, целый год бегал в вечернюю школу и пополнял знания. А на следующий год его зачислили в десятый класс. Окончил вечернюю школу с хорошими оценками в аттестате, особенно по математике, как и должно артиллеристу. Теперь у него была реальная перспектива роста.

Однажды после больших учений «Днепр» вызвал его к себе начальник штаба ракетных войск и артиллерии КБВО: «Капитан Сидоренко, хотите у нас служить?» Ответил просто: готов служить там, где прикажут. Через две недели в полк пришел приказ о командировании его в Минск, в штаб ракетных войск и артиллерии. Офицер, затем старший офицер штаба РВиА, Сидоренко поступает заочно в Военную артиллерийскую академию имени М. И. Калинина в Ленинграде, причем, не на артиллерийский факультет, а на ракетный. И получает назначение на должность начальника отдела боевой готовности штаба РВиА КБВО, хорошо зная к этому времени и артиллерию, и ракетную технику. С этой должности в январе 1984 года полковник Сидоренко и ушел в отставку, прослужив в Вооруженных Силах СССР 41 календарный год.

Служба закончилась, но не ослабли связи Алексея Степановича с армией. «Поскольку был начальником отдела боевой готовности, для меня все артиллерийские и ракетные части Белорусского военного округа — как родные! Можно сказать, знают в лицо. Курировал их, внедрял боевую науку, приемы боя, ведения огня и прочие премудрости. Моей главной задачей было повышать боеспособность ракетных, артиллерийских войск». Насколько позволяет здоровье, Алексей Степанович бывает в частях, встречается с молодыми солдатами, офицерами. Всегда желанный гость в Суворовском училище. И чувства оторванности от дела всей жизни не ощущает, словно и не уходил в отставку.

Особенно часто посещает ветеран Осиповичи. «Дивизия в Осиповичах была в непосредственном подчинении нашего округа. Мы там постоянно работали. Уйдя в запас, все равно часто приезжал туда, посещал боевые стрельбы, учения. И меня зачислили почетным солдатом этой части. Поэтому чувствую себя там как дома и сам словно молодею».

Задумываюсь о том, что могут извлечь для себя из бесед с ветераном образованные молодые люди, имеющие дело с компьютерами и прочей сложной суперсовременной техникой. Словно прочитав мои мысли, Алексей Степанович

продолжает: «Рассказываю молодежи о своей службе, и они сравнивают условия армейской жизни. Ободряю — не так страшна служба, как иногда малюют! А какая у них техника! Говорю: хорошо, сейчас совершенно новые командирские машины, компьютеры. А представьте ситуацию, когда в этой системе, настроенной работать как часы, выбито какое-то звено. Что будете делать? Вот тогда и пригодится наш опыт — опыт Великой Отечественной войны. Мы, артиллеристы, не имели таких машин. В лучшем случае, вычислителя, готовившего данные. А то и самому приходилось это делать. Брал прибор управления огнем, раскладывал карту, наносил цель, производил вычисления и открывал огонь. Поэтому нужно не только полагаться на технику, но и самому многое уметь. Конечно, будущая война — если она, не дай бог, случится, — это война моторов, электроники. Но и кажущиеся сейчас примитивными способы ведения боевых действий тоже не следует забывать. Бывая в частях, спрашиваю у молодых офицеров: а вы не забыли о винтовочном полигоне?»



Почетный солдат — полковник А. С. Сидоренко.

Молодежь, в свою очередь, засыпает ветерана вопросами. Как был устроен быт? Где ночевали? Сидоренко объясняет: в окопе! В лучшем случае, когда в обороне, — в землянке. «В один-два наката сделаем земляночку, в ней и живем. А чаще найдешь где-нибудь поблизости солому, сено, постелешь на землю, плащ-палаткой накроешься и спишь. Не будешь ведь матрац за собой таскать. Один у орудия сидит, остальные отдыхают, если обстановка позволяет. А если не позволяла — то и без отдыха обходились! Только когда из боя выводили ненадолго на переформирование, личный состав размещали в школах, жилых домах. Это уже был комфорт. Ничего, пережили».

Перекрестки судеб

Алексей Степанович осторожно меняет позу, и замечаю, что, сидя в кресле, мой собеседник старается опираться на левую сторону туловища.

— Осколок немецкий до сих пор ношу в себе, — поясняет. — Два осколка вынули, а один забыли. Когда лежал в Боровлянах, в госпитале инвалидов войны, на реабилитации — я ведь инвалид войны второй группы, пришлось оперировать аденому простаты. И на операционном столе обнаружилось «инородное тело» в ноге, осколок «с ноготок». Хирург говорит: «Давайте не будем трогать, он закапсулировался, вы с ним прожили столько лет и дальше поживете». Правда, в последнее время стал беспокоить, нога немеет. Когда был моложе, мышцы крепче, осколок не двигался. А сейчас мышцы ослабли, и он начал «плавать». Стараюсь на него не надавливать, с палочкой хожу...

Спрашиваю у собеседника, какое он вынес убеждение из встреч с молодыми солдатами, офицерами: способны ли они, случись что, столь же самоотверженно, как когда-то старшее поколение, защитить Родину? Насколько высок их боевой, патриотический дух? Алексей Степанович отвечает сразу, чувствуется, что и сам задавал себе эти вопросы и нашел ответ. «Знаете, разная есть молодежь. Она и всегда была разной. Подавляющее большинство из тех, кого встречал в частях, серьезные молодые люди, много знающие, умеющие. На них можно положиться

в любой ситуации. Они и слушают внимательно, с пониманием. Бывало, кое-кто встречал подковырками. Мол, воевали, да еще в грязи, с неудобствами... Наверное, и питались нерегулярно... Всякое, говорю, бывало. Но жили и воевали одной дружной семьей. В моем расчете был, как говорится, полный интернационал: украинец, русский, казах, даже кореец. Случаев трусости, самовольного оставления позиции в нашей батарее не было. Все понимали: уйдешь, вся тяжесть ляжет на плечи товарищей. Покинуть свое место в бою мог лишь убитым или тяжелораненым. Случалось, трое, двое у орудия оставались...»

И только с одним человеком за всю войну связаны у Алексея Сидоренко плохие воспоминания: «Заметили, что после артподготовки, когда наши войска шли в наступление, этот человек исчезал из батареи, потом вдруг появлялся. О странных исчезновениях узнал командир: «Где ты был?» Тот отвечает: «Живот заболел, пришлось догонять...» Проверили вещмешок. А в нем десятка полтора немецких часов. После начала наступления снимал их с убитых немцев. Мародера отправили куда следует...»

Беседу прервал звонок. Пока Алексей Степанович разговаривал по телефону, я подошел к стенке, уставленной книгами, фотографиями и сувенирами. В глаза бросилась миниатюрная пушка. «Подарили в одной из частей, — вернулся хозяин. — Стреляющая!» Проделывает манипуляции пальцами. Хлопок пистона оказывается настолько громким, что у меня закладывает уши. Хороша самоделка! «Контузило!» — смеюсь. Сидоренко хитро улыбается.

Достает с полки альбом. «Не забывают нас, ветеранов, в Генеральном штабе. В День Победы собирают на коллективные встречи участников Великой Отечественной, кто служил в округе». Рассматриваю фотографии: 2005 год, 2006-й, ...2009-й. С каждым годом все меньше людей на снимках... Не забывают ветерана и в горисполкоме, где он, уже находясь на пенсии, несколько лет работал в так называемом втором, военно-мобилизационном, отделе. И, конечно, несмотря на то, что Сидоренко — частый гость в 51-й гвардейской смешанной артиллерийской группе, ее представители приезжают к нему домой, привозят подарки, рассказывают о службе.

Алексей Степанович показывает энциклопедию «Кто есть кто в Беларуси», благодаря которой я и узнал о нем, сетует, что в статью вкралась ошибка: «Написали, что четырежды ранен. Дважды!» Открывает чемоданчик, доверху набитый грамотами, благодарностями. Сверху лежит членский билет КПСС. «Из партии не выходил, билет не выбросил, как поторопились некоторые...» Отдельно хранятся государственные награды: два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1-й степени и «За службу Родине 3-й степени», 17 медалей.

На жизнь, бытовые проблемы Алексей Степанович не жалуется. «У меня все хорошо. Что положено как инвалиду войны — имею. Пенсия неплохая, у Ефросиньи Григорьевны тоже, детей не обременяем, даже помогаем». У Ефросиньи Григорьевны? Собеседник поясняет: «С Анной Васильевной прожил больше сорока лет. И вот уже двадцать лет живу без нее. Каждый месяц ходил к ее могилке на Чижовском кладбище. А неподалеку, в одно время со мной, приходила на могилку к мужу женщина. Однажды, когда выходили с кладбища, разговорились. Ее муж на год раньше моей Анны умер. Как и у меня, у нее две взрослые дочери. Стали встречаться. А потом решили: что поодиночке куковать? Вместе друг за другом присмотреть можно. Сошлись. Живем с Ефросиньей Григорьевной без росписи, сама так предложила. «Пусть у детей, когда кто-то из нас уйдет, не будет никаких проблем. Каждый заберет свое...» Сейчас по путевке профсоюза в санатории. Каждый вечер «встречаемся» по телефону...»

Алексей Степанович нередко сам навещает своих дочерей. Одна живет в Минске, преподает в машиностроительном техникуме. Вторая — врач-педиатр, живет в Смолевичах. У него есть внучки, наконец, в семье появился еще один мужчина — правнук. «Надеюсь, тоже военным будет. Говорю детям: когда настанет час, передайте ему мои награды. Чтобы помнил прадеда. Как я всю жизнь вспоминаю ту батарею, что сохранила мне жизнь...»

В 2005 году Алексей Степанович посетил Украину. Встретился с младшим братом Святославом Степановичем, он в Киеве живет. Вместе побывали на могиле родителей, в родной Шполе. Между прочим, накануне приезда Сидоренко в Шполе был установлен знак: «Географический центр территории Украины». Сестра живет на Урале, в Екатеринбурге, замужем за военным. Старший брат в Киеве похоронен. Алексей Степанович живо интересуется событиями, жизнью людей в Украине, России, считая три братские славянские страны родными. А себя называет «обелорусившимся украинцем».

Поблагодарив Алексея Степановича за угощение и интересный рассказ, прощаюсь с гостеприимным хозяином. Провожая меня к двери, он задумчиво говорит: «Позвоню сейчас дочке, пусть заедет за мной после работы, и поедем к ее сестре, в Смолевичи. Что я буду один сидеть в четырех стенах?..»

Продолжая традиции

Через несколько дней, вспомнив приглашение полковника Игнатьева, снова еду в Осиповичи. Меня встретил старший помощник начальника отделения идеологической работы 51-й гвардейской смешанной артиллерийской группы майор Беляков. Я попросил познакомить с «биографией» части. Вячеслав Николаевич провел в музей, где можно проследить весь ее боевой путь, начиная от сформированного в 1942 году в г. Коломне артиллерийского полка. Этот путь пролег через Торжок, Ржев, Вязьму, Смоленск, Оршу, Минск, Гродно, Каунас, Кенигсберг.

Боевые действия против немецко-фашистских захватчиков полк закончил в апреле 1945 года в Восточной Пруссии, возле местечка Гросс-Блюменау. Гвардейское знамя полку было вручено за отвагу и мужество при взятии г. Вязьмы. Славный след оставил полк на белорусской земле. За овладение г. Оршей приказом Верховного Главнокомандующего ему было присвоено наименование «Оршанский». За взятие г. Гродно и проявленную при этом доблесть полк награжден орденом Александра Невского; за героизм, проявленный при форсировании реки Неман и удержании плацдарма, — орденом Красного Знамени.

Пройдя ряд переформирований, полк с 1972 года стал 51-й гвардейской артиллерийской дивизией (в настоящее время — 51-я ГВСМАГР. — *Г. А.*) с дислокацией в г. Осиповичи. По итогам боевой подготовки и за создание учебно-материальной базы дивизия неоднократно награждалась переходящими Красным Знаменем и вымпелом Военного совета Краснознаменного Белорусского военного округа, занесена в Книгу Почета округа, а также оценивалась как лучшая среди артиллерийских соединений Сухопутных войск и награждена переходящим Знаменем Военного совета Сухопутных войск.

Побывал я и в 1-м самоходно-артиллерийском дивизионе, в 1-ю батарею которого зачислен почетным солдатом Алексей Степанович Сидоренко. Здесь хорошо знают, как успешно на состязаниях командиров батарей всей Советской Армии он защищал честь КБВО, и продолжают славные традиции. Дивизион из года в год участвует в соревнованиях и завоевывает первые места среди артдивизионов Вооруженных Сил Республики Беларусь. Первое место занял и в 2009 году, о чем свидетельствует приз, врученный Министром обороны, — миниатюрная пушка, занявшая свое почетное место в казарме. Командир дивизиона подполковник Шайхутдинов, кстати, получивший это звание досрочно, считает, что успехи — результат труда каждого, от солдата до командира. И в том числе, добавляет Тимур Александрович, и нашего почетного солдата. Военнослужащие понимают: негоже его подвести! Ведь на вечерней поверке в батарее первым называют имя Сидоренко, а затем уже — по списку личного состава. Как радуется Алексей Степанович, когда узнает о лидирующих позициях этого подразделения!

К слову, в дивизионе у ветерана есть однофамилец, ефрейтор Руслан Сидоренко, механик-водитель самоходной артиллерийской установки. Родом из Кормянско-



А. С. Сидоренко в родной части.

го района Гомельской области, после окончания срочной службы остался в части контрактником. Достойно несут службу механики-водители Александр Свенин, Вениамин Пархимович, номер расчета Анатолий Зайцев и многие другие. Для этих парней артиллерист — не только военная профессия, но и образ жизни.

Перед отъездом заглянул в кабинет полковника Игнатьева. «Артиллерия, конечно, меняется, становится современнее, — говорит Александр Юрьевич, — но функции выполняет, по сути, те же, что и раньше. Главное — человеческий фактор, профессионализм и высокий моральный дух. Методы ведения войны совершенствуются, но нельзя победить солдата, если он тверд духом. Это не просто высокие слова. Когда наш почетный солдат рассказывает, как, преодолевая себя, под обстрелом форсировал реку, не дрогнул перед фашистскими танками, понимаешь: такие же качества должны быть присущи и потомкам ветеранов. И молодой солдат задумывается: не выстояли бы Сидоренко, его товарищи перед немецкими танками, — служил бы он сегодня в армии свободной, независимой Беларуси? И с другой стороны, как сам вынес бы тяготы фронтовых будней? Полез бы в ледяную воду или болото? Удерживая завоеванный плацдарм, не дрогнул бы перед ползущим на него «тигром»?..»

А ветерану, несмотря на то, что болезни наступают, общение с потомками добавляет крупицы здоровья, сил, заряд бодрости. Он с нетерпением ждет новой встречи с друзьями-артиллеристами. И она состоится в День Победы, как это бывает каждый год. Как и в день рождения Алексея Степановича, в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, когда ветерана навещают командир батареи, командир дивизиона, другие военнослужащие. И на таких встречах, как на полигоне, куда по-прежнему приезжает почетный солдат, можно сказать, пересекаются пути поколений.

Уезжая из части, думаю о том, сколько полезного дает людям военная школа, армия. Дисциплина, боевой дух, высокая мораль, закалка характера, разносторонние знания, физическая подготовка и многое, многое другое. Человеку, который эту школу не прошел, сложнее преодолевать трудности, невзгоды. После воинской службы молодые люди приходят в жизнь сформировавшимися личностями, настоящими мужчинами. Чтобы самим в недалеком будущем воспитывать молодежь — на примере славных ветеранов Великой Отечественной. И сегодня живые свидетельства участников тех событий — бесценные документы эпохи, на которых учатся жить и любить родину те, кто родился после 45-го. То, чего стоила народу, стране такая трудная, выстраданная Победа, никогда не должно покрыться дымкой забвения. И почетные солдаты, такие, как Алексей Степанович Сидоренко, делают очень многое для того, чтобы этого не случилось.

АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Тайны Полонечки

Углубляясь в свои истоки — истоки своего народа, частью которого являешься, убеждаешься, что, не зная прошлого, и собственную жизнь во многом лишаешь чего-то самого важного. Потому что сегодня — одно из звеньев той бесконечной цепи, начало которой спряталось где-то далеко за пеленой столетий, а ее продолжение — в будущем, тоже пока спрятанном за поволокой времени.

Значимость Полонечки, даже более того — историческую ценность, Иван Дерман уяснил не сразу. Как для самого себя, так и для страны в целом. Хотя на то время, когда он взрослел, она и не страной еще была, а лишь одной из союзных республик большого государства, называемого Советским Союзом. Равная среди равных, как любили тогда говорить, что, конечно, было правдой. Но правдой было и то (и от этого никуда не денешься), что на события, некогда происходившие на территории той или иной советской республики, в те, в общем-то, славные времена, смотрели лишь с позиции того, насколько они вписывались в общую историю СССР.

В такой истории Полонечке места не находилось. Причина известная: главные события, касающиеся ее, происходили тогда, когда Полонечка входила в состав Речи Посполитой. То же самое происходило и еще с одним населенным пунктом, с близким Полонечке названием — Полонка. Что же, в таком случае, говорить об Альбинке — маленькой, казалось бы, неприметной деревеньке в Барановичском районе? А для Дермана, ныне начальника отдела образования Слуцкого районного исполнительного комитета, — она самое дорогое место на земле, потому что в Альбинке он родился.

Полонечка, Полонка — это как продолжение для него, тогдашнего сельского паренька, знакомства с окружающим миром, связанным с родными местами. Знакомство это обрело более значимый, конкретный смысл, когда начал учиться в Полонской средней школе. Конечно, того объема знаний об этих местах, которым он сегодня владеет, при всем своем желании учителя тогда дать не могли, ибо и сами знали далеко не все. Но и тех сведений, которые Ваня Дерман получил от них, было достаточно, чтобы у него появился интерес к истории, определивший выбор дальнейшего жизненного пути: после окончания школы он подал документы на исторический факультет тогдашнего Минского государственного педагогического института имени Максима Горького. Экзамены были сданы успешно, и Иван Дерман стал студентом одного из старейших высших учебных заведений Беларуси.

— Тогда-то и открыли для себя историческую значимость родных мест? — мне не терпится быстрее узнать, как же происходило у Ивана Антоновича приобщение к тому, что теперь называется «родиноведением» — составной части более объемного понятия «краеведение».

Иван Дерман задумался:

— Не знаю, как вам лучше и ответить, — на его лице появилась застенчивая улыбка, свидетельствующая о том, что человек сомневается, говорить ли всю правду.

— Отвечайте, как было…

— В таком случае скажу так: учеба в институте дала мне очень много, если иметь в виду приобретение знаний. Однако…

Я сразу догадался, куда клонит Иван Антонович, поэтому поспешил развить его мысль:

— Однако, как любил говорить, вечная память ему, замечательный поэт Алесь Письменков, «няма мяжы дасканаласці». Я правильно вас понял?

— Точно подмечено, — согласился Дерман. — Особенно в отношении того, что связано с возвращением исторической памяти.

Ситуация в общем-то понятная. Белые пятна в национальной истории исчезают не сами по себе. Да и не по мановению волшебной палочки. Процесс этот проходит медленно по двум причинам: во-первых, не так и просто вернуть из небытия то, что забывалось на протяжении не просто десятилетий, а столетий, а во-вторых, почти всегда находятся те, кому такое возвращение не нравится. Обязательно стараются найти какой-то подвох. То одно не так, то это не устраивает.

Чаще всего такое наблюдается тогда, когда дело касается духовных ценностей, которые создавались на культурном пограничье. Поэтому и получалось так, что мы, белорусы, к примеру, творчество некоторых писателей, художников легко отдавали другим народам. Так, в частности, случилось и с композитором Матеем Радзивиллом, который как раз и имеет отношение к тем местам, где прошли детские и юношеские годы Дермана. Но, как говорится, хорошо то, что хорошо заканчивается.

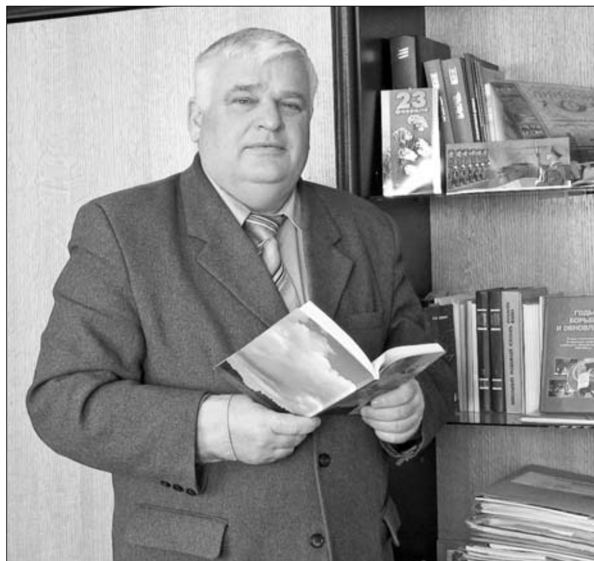
Иван Антонович с гордостью и со знанием дела рассказывает о М. Радзивилле, внесшем, как мы знаем теперь, большой вклад не только в развитие польской культуры, но и белорусской, в частности, драматургии. Говоря же о нем, приводит интересные факты из его биографии. Со знанием дела рассуждает об опере «Агатка, или Приезд пана», премьера которой была приурочена к приезду в Несвиж короля Станислава Августа Понятовского, а также еще одной — «Войт альбанского селения», музыку к которым написал композитор Ян Голанд. Не обходит Дерман вниманием и такой важный ныне вопрос, как сохранение материального исторического наследия.

— Безусловно, — рассуждает Иван Антонович, — время вносит свои коррективы в то, что некогда казалось вечным и незыблемым. Хотя от этого никуда не денешься. Обидно другое, — это говорит уже не просто человек, для которого память — понятие святое, но и историк, прекрасно знающий и понимающий, что все-таки есть то, что может противостоять разрушительному действию времени. — Мы многое безвозвратно утратили. Правда, кое-что можно было и восстановить, однако для этого нужны деньги. А вот духовно чувствовать свою принадлежность к годам давним, людям славным особого труда не составляет. Это и позволяет с уважением относиться к тому, что сохранилось, чтобы, когда появится возможность, взяться за восстановление.

Кто знает, возможно, найдутся и те, кто приложит усилия для того, чтобы попытаться вернуть первозданную красоту Полонечки тех лет, когда здесь в конце XVIII века и работал М. Радзивилл. Пока же здание (правильнее, то что осталось от него), стоящее на берегу тихой речки, которую местные жители называют Змейкой, узенькой ниткой бегущей вдоль деревни, мало чем напоминает бывший дворец, построенный в стиле позднего классицизма. Уничтожен парк, некогда окружавший его, давно нет оранжереи, водяной мельницы. Как и каплицы-усыпальницы, а также въездных ворот с большими вазами по сторонам. Когда-то через эти ворота приезжали к хозяину дворца многие известные литераторы, живописцы, музыканты, государственные деятели.

В 1777 году у М. Радзивилла побывал и известный русский писатель-сатирик Денис Фонвизин. Заехал он в Полонечку, когда из своего имения Лисна, находящегося в Витебской губернии и подаренного ему императрицей Екатериной II вместе с крепостными крестьянами, направлялся во Францию на отдых. Был «обед хороший, на серебре…» Была, конечно, и задушевная беседа, а еще звучала музыка. Да и как ей было не звучать, если М. Радзивилл являлся автором не только опер, но и многих полонезов, мазурок, оперетт. В национальной же истории Полонка известна тем, что во время войны Речи Посполитой с Московским государством в 1654—1660 гг. здесь состоялась одна из самых значимых битв.

— Догадываетесь, откуда пошли названия Полонечка, Полонка? — спрашивает Дерман и, не ожидая ответа, продолжает: — Все объясняется просто.



Иван Дерман.

Издавна в народе нашем, как известно, «палонкай» называют прорубь в реке, то место, где выходят грунтовые воды, поэтому обычно даже в сильный мороз оно не замерзает. Хотя Вадим Жучкевич, издавший краткий топонимический словарь, не отрицая эту версию, одновременно выдвигает и другую. Согласно ей, в основу понятий Полонечка, Полонка легло слово «палон», что в переводе на русский означает «плен». И такая версия оправдана, ибо в XVI веке в наших местах было пленено немало татар.

Слово «наших» из уст Ивана Антоновича прозвучало как-то особенно тепло. Поэтому я заметил:

— Вам бы и работать в родном районе. Такая богатая история, а историку, как говорится, и карты в руки.

— Нас выбирают, а не мы выбираем, — то ли в шутку, то ли всерьез ответил Дерман и уже совсем серьезно сказал: — А разве на Слутчине история менее богатая?

Возразить было нечего.

Профессиональный долг и душевная потребность

После окончания исторического факультета пединститута Иван Дерман по распределению был направлен в отдел образования Слуцкого райисполкома, где ему предложили работать в Чаплицкой средней школе. Чаплицы так Чаплицы. Особой разницы для недавнего студента не было. Целеустремленный, энергичный, он горел желанием быстрее приступить к самостоятельной работе. Уже в самих Чаплицах оказалось, что он имеет и хорошие организаторские способности. А такие специалисты — молодые, с высшим образованием, да ко всему умеющие повести за собой людей, имеют хорошую перспективу. Особенно на селе, где и сегодня, как и в 70-х годах прошлого столетия, зачастую остро стоит проблема с кадрами.

Хотя Слуцкий район считался одним из лучших не только на Минщине, но и во всей республике, однако и там не так легко было найти делового, энергичного руководителя, в том числе и в сфере образования. Поэтому Дерман скоро и приглянулся руководству района, хотя, правильнее сказать, на него обратили внимание в райкоме партии. А поскольку вскоре возник вопрос о назначении нового директора Чаплицкой СШ, то, особо не задумываясь, и остановились на кандидатуре Дермана. Так 31 апреля 1978 года 25-летний Иван Антонович стал директором средней школы.

Как говорится: худа беда начало, а потом… Довелось поработать Дерману и директором Танежицкой СШ — это не так и далеко от Чаплиц, на территории того же сельсовета. За короткое время сумел проявить себя с лучшей стороны. Поэтому в августе 1999 года руководство района предложило возглавить отдел образования Слуцкого райисполкома.

Дерман оказался из тех людей, которые по мере своего дальнейшего служебного роста нисколько не расслабляются. Наоборот, стараются работать еще лучше. Чтобы рассказать обо всем том, что сделано Иваном Антоновичем за годы его руководства отделом образования, довелось бы писать не один очерк, а несколько, ибо какое направление в его работе ни возьми, есть о чем поведать. В его методах работы, в стиле руководства есть много интересного и полезного для руководителей такого ранга, работающих в других районах.

Всего в системе образования района работает 1963 педагога, включая детские дошкольные, а также учреждения внешкольного воспитания и обучения. Конечно же, больше всего педагогов трудится в школах — 1339 человек, притом, 87 процентов из них имеют высшее образование. Высшая квалификационная категория присуждена 33,5 процента педагогам общеобразовательных учреждений. Отрадно то, что регулярно в эту дружную семью вливаются выпускники высших учебных заведений. Ежегодно по распределению приезжает 25—30 человек. В прошлом году, к примеру, — 29. Молодым специалистам выплачиваются «подъемные», оказывается материальная помощь в размере 10 базовых величин, а также содействие в получении льготных кредитов.

— В систему образования района, — рассказывает Дерман, — входят 2 гимназии, 29 средних школ, 4 средние школы-сада, 7 базовых, одна вечерняя школа-интернат, 39 дошкольных учреждений, 6 разнопрофильных учреждений внешкольного воспитания и обучения, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический центр… Чтобы охватить все стороны воспитания и учебы подрастающего поколения, необходимо подходить ко всему комплексно, заботясь, чтобы цепь семья — дошкольное воспитание — школа не перерывалась. Достаточно стать слабее хотя бы одному из этих звеньев, как почти невозможно исправить упущенное. Работа, продуманная, взвешенная, увязанная с конкретными реалиями, обязательно даст желаемый результат.

Свои рассуждения Иван Антонович подкрепляет конкретными примерами. Чтобы повысить качество обучения детей, вывести его на современный уровень, внедряются авторские программы. При этом все более постоянную прописку получают технологии, за которыми, по мнению специалистов, большое будущее. Кстати, увеличивается количество школ, в которых на вооружение взята технология постепенного обучения — «Шаг за шагом».

Цель такого подхода — увеличить эффективность, результативность обучения. Важно и то, что возможность творчески и плодотворно использовать достижения современной педагогической науки и практики, опробовать новые образовательные модели привлекает к себе внимание все большего количества педагогов.

— Поэтому, — продолжает Дерман, — главным компонентом воспитательной работы в районе стала программа «Взаимопонимание». Ее цель — объединить усилия и координировать действия всех, кто занят воспитанием подрастающей смены. Районная программа — составная часть аналогичных программ, разработанных перед этим в каждой школе, а потом защищенных в отделе образования. В качестве приоритетных задач определены такие, как воспитание у детей патриотизма, чувства общественного долга. Большое значение уделяется развитию детского и молодежного движения, нравственного, правового и эстетического воспитания, физического развития. И, безусловно, созданы все условия для своевременного выявления юных талантов. А их на Слутчине немало, о чем свидетельствует участие наших учащихся во многих конкурсах, соревнованиях, а также других мероприятиях, которые проводятся как в городе, так и в области. Да и в стране в целом. Притом, радует, что они часто выходят победителями.

Все охвачено

Нынешние реалии таковы, что в любых отраслях деятельности, не связанных непосредственно с производством, уже нельзя рассчитывать только на государственную поддержку, а следует прилагать усилия, чтобы самому учиться зарабатывать. Система образования — не исключение. Тем более, что, согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006—2010 годы, намечен ряд прогнозных показателей, которых нужно придерживаться, а еще лучше — перевыполнять их. Последнее для Слутчины стало нормой. В частности, за прошедший год увеличился объем услуг, оказываемых населению учреждениями образования. По их основным видам он в сопоставимых ценах составил 118,4 процента при прогнозном показателе 112,5 процента. Объем поступлений от внебюджетной деятельности впечатляет еще больше. План роста в сравнении с 2008 годом определялся в 112 процентов, в реальности же увеличился на 146,5. Поступления от спонсоров, включая средства попечительских советов, возросли на 178,3 процента, а от арендаторов — почти в два раза (193 процента). В полном объеме выполнены показатели по сдаче металлолома, макулатуры. Вместе с бюджетными средствами все это способствует тому, что регулярно укрепляется учебная и материально-техническая база, постоянно проводятся капитальные и текущие ремонты учреждений образования, при этом приоритет отдается сельским.

В районе создано единое информационно-коммуникационное образовательное пространство. Компьютеры внедряются не только в учебный процесс, но и успешно используются в управленческой деятельности. Появление районной электронной медиатеки значительно активизировало процесс создания медиатек на базе общеобразовательных учреждений. Начата реализация проектов «Школьные музеи Слутчины» и «Вести образования Слутчины». Кстати, школьные музеи, а их в городе и районе 17, да ко всему 9 музейных комнат, хорошо способствуют воспитанию у учащихся гражданственности и патриотизма. В прошлом и нынешнем годах это проходит под знаком двух знаменательных дат: 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 65-летия Великой Победы.

Не обойдено вниманием и художественно-эстетическое воспитание. В этом направлении также впечатляющие результаты. По итогам областного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества учащихся «Суквецце талентаў» призерами стали ученические коллективы и индивидуальные исполнители гимназии № 1 г. Слуцка, СШ № 6, 9, 11 райцентра, Гацуковской, Селищанской, Ленинской средних школ и других учреждений. На базе всех школ, в дошкольных и внешкольных учреждениях воспитания и обучения функционирует 712 кружков различной направленности, в которых занимается 90 процентов учащихся.

Успешно реализуется собственная модель шестого дня недели. На практике оказалось, что в этот день наибольшей популярностью среди школьников пользуются спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, туристические походы, а также экскурсии, краеведческая и эколого-натуралистская работа. Важно и то, что составной частью этих и других аналогичных мероприятий стали общественно-полезный труд, помощь престарелым, уход за захоронениями воинов.

Однако главное внимание направлено на то, ради чего и существует система образования — дать необходимые знания по тем предметам, которые изучаются в школе.

О том, что учеба ведется на высоком уровне, свидетельствуют успешные выступления учащихся на областных и республиканских предметных олимпиадах. Хорошие результаты юные слутчане показывают и на научно-практических конференциях — как на областных, так и на республиканских. Сохраняется неизменно высокий процент поступления выпускников общеобразовательных учреждений в высшие и средние специальные учебные заведения.

Кстати, для тех, кто хорошо учится, существуют и разные виды поощрения. В том числе и материальное. В частности, только в этом учебном году 37 человек стали стипендиатами районного исполнительного комитета.

Как любили говорить в советские времена, адресов передового опыта на Слутчине можно найти немало. И один из них — городская гимназия № 1. Это сегодня она называется так, а в годы своего основания… Нисколько не сомневался, что Иван Антонович обязательно предложит рассказать об этом среднем общеобразовательном учреждении. Отношение к названной гимназии у Дермана особое: на одной из стен его кабинета висит гравюра Владимира Басалыги, кстати, уроженца Слуцка, на которой помещено изображение Слуцкой гимназии давних времен.

— Ностальгия по родным местам? — вырвалось у меня.

— В каком смысле? — не понял Иван Антонович, но через мгновение догадался, что я имею в виду. Да, и Полонечку, и историю Слуцка объединяет то, что это относится к наиболее славным страницам нашего далекого прошлого. Как-никак, а гимназия эта — одна из старейших школ на Беларуси.

Переехали в Слуцк… Афины

Я люблю останавливаться на этом месте — благо, Слуцк знаю давно и неплохо. Как и историю этого одного из старейших белорусских городов. А без гимназии, и в самом деле, какая может быть история Слуцка. Поэтому и люблю останавливаться на этом месте, поскольку мост через речку Случь будто соединяет собой далекое прошлое и настоящее. Во всяком случае, напоминает о нем.

Особенно приятно постоять здесь тихим утром, вслушиваясь в современные ритмы не такого уж и малого города, пробуждающегося ото сна. Люблю смотреть, как шагают на занятия гимназисты. Те, кто учится в младших классах, спешат, а некоторые бегут едва ли не наперегонки, оглашая своими звонкими, задорными голосами округу. Более старшие — немного спокойнее, могут позволить себе постоять, ожидая друзей. А старшеклассники-гимназисты — уже почти взрослые люди, нельзя не заметить, насколько у них развито чувство собственного достоинства. Они своим видом, манерой поведения словно подчеркивают, что уже многому научились и не так уж далеко время, когда можно будет сказать «пока» родной гимназии, любимым преподавателям. Одного еще не знают они: пролетит несколько лет, и такое сегодня желаемое прощание со школой уже не будет приносить радости, поскольку к ней присоединится другое чувство — грусти по школьным друзьям, с которыми разлучили жизненные пути-дороги, по учителям, которых по-прежнему уважаешь, но, став взрослым, относишься к ним как-то иначе. Не знают и того, что чем длиннее становится дорога между выпуском и сегодняшним днем, тем грусть будет все больнее и больнее отзываться в сердце. Я же, в отличие от них, это давно знаю, ибо вступил в своей жизни в ту полосу, когда уже не столько хочется смотреть вперед, сколько чаще оглядываться назад, будто ищу нечто бесповоротно утраченное.

Поэтому и люблю останавливаться на этом месте в Слуцке и наблюдать за сегодняшними гимназистами, невольно возвращаясь мыслями в свою школьную юность. Однако не только на такие мысли наводит меня дорога, ведущая к слуцкой гимназии № 1.

Здесь, на нынешней улице Комсомольской (некогда называлась она и Сенаторской, и Широкой), как-то особенно зримо чувствуешь присутствие тех давних времен, когда это еще и не гимназия была, а кальвинистское училище. Будто время возвращается почти на четыре столетия назад, в те годы, когда владелец Слуцка Януш Радзивилл, один из наиболее ярких представителей этого могущественного магнатского рода, 20 мая 1617 года принял решение, положившее начало развитию образования в этом городе и его окрестностях.

Тот, можно сказать, судьбоносный документ сохранился:

«Сообщаем этой нашей грамотой всем вообще и каждому из людей как теперь, так и на будущее время, что, желая, чтобы богослужение евангелистское … как можно больше увеличивалось, как в целом Отечестве, так преимущественно



Гимназисты на городском празднике.

в княжествах и городах моих, я задумал в своем городе Слуцке построить евангелистский храм, присмотревши для этого удобное место в Новом Городе, в Слуцке, на Заречье, над рекой Случь».

Место и в самом деле было удобное и красивое. Именно здесь (сегодня территория городской котельной) размещался большой княжеский парк. Правда, Януш Радзивилл все же посчитал, что природной красоты мало, поэтому посадили еще и сад. Однако плодовыми деревьями не ограничились. На окраине участка, отведенного под него, живительные соки слуцкой земли начали впитывать в себя несколько молодых дубков.

Кто знает, что имел в виду хозяин города, отдавая такое распоряжение. Возможно, в мыслях сравнивал и учебу с садом: как расцветает он весной, как набирается с каждым годом силы, так и знания способны дать человеку духовную силу и твердость. Вскоре в этом саду появился дом для преподавателей, возвели здания для занятий — при храме создавалось училище. Понятно, эти строения не сохранились, как и более поздние. Разве что молчаливыми свидетелями тех давних времен остались два дуба-богатыря. Хотя нельзя точно сказать, что выросли они из саженцев 1617 года. Возможно, посадили их позже. Но все равно они, если бы могли заговорить, много интересного рассказали. Только молчат дубы. Но есть и более значимые свидетели прошлого — архивные материалы. Благодаря им известно, что Януш Радзивилл в 1620 году завещал брату своему, Криштофу, создать на базе кальвинистского училища гимназию. Тот исполнил его последнюю волю. Правда, общественная гимназия в Слуцке появилась только в 1630-м, когда в обучении был накоплен уже значительный опыт. Произошло это благодаря тому, что пригласили высокопрофессиональных преподавателей. Среди них оказались и известные педагоги-гуманисты Рейнгольд Адамис, Андрей Музониус и Андрей Доброжанский. Насколько благородные задачи ставились не только в обучении, но и в воспитании, видно из статута, принятого в 1628 году и изданного в Любче на латинском языке. Гимназия в нем, кстати, называется школой.

В «Обращении к читателю» говорилось:

«В этой школе есть все, что необходимо для достижения наивысшей степени совершенства. То, что другим лицеям дало славу и значение, есть в достаточности и у нас. Чистота неба, урожайность почвы, богатство лесов, садов, рек, лугов в этом ласковом климате настолько большие, что впечатление такое, будто щедрыми руками самой природы, музами и грациями все это от самого начала было воспитано и украшено. К этому нужно добавить талантливость жителей… которая ни в чем не уступает красоте и привлекательности местности. Очень человеческие у них отношения к чужестранцам… И они готовы в любое время и в любом месте прийти на помощь как ученикам, так и учителям. Эту гуманность

населения еще больше дополняют другие неисчислимые достоинства, какими доброе небо одарило этот край. В таких условиях легко развиваются таланты…»

Большое внимание уделялось и духовному становлению учащихся, воспитанию у них любви к своему Отечеству:

«В школе осуществляется движение вперед не только для внешних благ жизни, но, главным образом, для внутреннего, духовного развития. К этому призывает старательность ученых: они твердо стоят на дозорной школьной башне, постоянно щедро и внимательно следят за беззаботной молодежью, беспокоясь о ее пользе… Приходите же все, кому дорога родина, кто правильно оценивает целеустремленность своих поступков! Никому не закрыт путь! Открыты двери, которые ведут к нашим грациям и музам, для всех честных и искренних людей. Возраст, положение, вероисповедание не имеют никакой разницы. Место на школьных скамьях предоставляется бедняку не меньше, чем стороннику Реформации. В конце концов, пусть никого не оттолкнет от нашего порога расхождение в религии, пусть не оторвет от овладения доступным счастьем из-за необоснованного страха… Мы уже давно научены опытом, что религия — предмет убеждения, а не насилия, и что замахиваются на небесные замки с необдуманной дерзостью те, кто распространяет обман своей веры на сознание и закон».

В самом деле, по этому статуту, а также и более позднему, утвержденному в 1679 году, на учебу принимались дети всех сословий и вероисповеданий, хотя среди учащихся больше было мальчиков из семей протестантской шляхты.

В той же Любче тремя годами раньше появилась еще одна книга. Также на латыни: сборник стихотворений учащихся. Это свидетельствует о том, что из стен Слуцкой гимназии выходили люди всесторонне образованные. Между прочим, круг изучаемых предметов был широк: Закон Божий, польский, латинский, греческий, немецкий языки, этика, риторика, история, законодательство и математика. Кроме того, для тех, кто собирался посвятить себя проповеднической деятельности, преподавался и древнееврейский язык.

Гимназию, основанную Янушем Радзивиллом, неслучайно называли Слуцкими Афинами. В стенах ее каждому не только давали большой объем знаний, но и учили по-настоящему мыслить. При этом умело использовался диалог учителя и ученика. А именно его, как результативную форму обучения, ввел Платон в своей известной Афинской академии.

Конечно, со временем программа в Слуцкой школе менялась, вносились некоторые дополнения. Совершенствовался и принцип обучения. Если вначале он был поклассным — в каждом классе один преподаватель вел все предметы, позже стал предметным — обучением занимались узкие специалисты. Не однажды менялся и статус самого образовательного учреждения. Как и его подчинение.

Так, результатом реформы, начатой в 1775 году и завершенной в 1778-м, стало преобразование кальвинистской гимназии в публичное евангелистское училище. С этого момента учащиеся уже не получали полное среднее образование. Казалось бы, статус школы снизился. Только не будем забывать, что в этот период открылись академические гимназии при Берлинском, Лейденском, Оксфордском и других университетах. Туда и поступали лучшие выпускники из Слуцка, а окончив эти гимназии, могли уже получить высшее образование.

Реорганизация Слуцкой школы происходила и в последующие периоды. Об этом можно рассказывать многое. Однако какие бы изменения ни совершались, она всегда высоко держала свою марку. Об этом, в частности, свидетельствует и брошюра «Отчет о состоянии Слуцкой гимназии в 1901/02 учебном году», которая находится в фондах Слуцкого краеведческого музея.

Место, где тогда размещалась гимназия, представляло собой небольшой городок: 5 жилых домов, двухэтажное кирпичное здание, пристройки. Работали две библиотеки, фонд которых даже для сегодняшнего дня немалый. Фундаментальная насчитывала 8217 экземпляров книг, ученическая — 3308. Выписывалось

27 наименований периодических изданий. Те 250 гимназистов, которые проявляли к этому интерес, принимали активное участие в литературных и вокально-музыкальных вечерах. Используя 33 световые картины, которые были в гимназии, проводились чтения. Тематика их широкая: «Императрица Екатерина II Великая», «Отечественная война 1812 года», «Начало христианства на Руси и Св. Владимир», «Белорусский край». Дважды в год учащиеся вместе с преподавателями организовывали прогулки под звуки духового оркестра.

Среди выпускников Слуцкой гимназии много известных людей: философ и поэт Андрей Белобоцкий; просветитель и издатель Илья Капиевич, который по заданию Петра Великого печатал за границей книги; академик живописи Кондратий Корсалин, который первым из белорусских художников побывал в Китае; всемирно известный астроном Витольд Цераский, первым установивший температуру Солнца; участник I съезда РСДРП, а потом адвокат Казимир Петрусевич, который на судебном процессе защищал Якуба Коласа, обвиняемого за участие в учительском съезде в 1908 году, и другие.

Не менее яркие личности получили путевку в жизнь и в советские годы. Кстати, сначала школа являлась семилеткой. В 1923-м при ней работали учительские курсы, на которых одним из преподавателей был Якуб Колас. Позже стала называться средней школой № 1. Очередной раз свой статус изменила 14 мая 1998 года, когда Слуцкий городской исполнительный комитет принял постановление «О преобразовании средней школы в гимназию».

Старое не забывается, новое внедряется

Чем отличаются гимназии от других учебных заведений, в которых можно получить среднее образование? На этот вопрос ответила сама жизнь. В частности, богатая история Слуцкой школы. Многие из тех, кто прославил Отечество (и не только в Беларуси) в разных отраслях деятельности, являлись в свое время выпускниками гимназий, поскольку в них не в последнюю очередь, как отмечает директор Слуцкой гимназии № 1 Лариса Ермакова (Л. В. Ермакова — лауреат премии Специального фонда Президента Республики Беларусь за личный вклад в развитие способностей талантливой молодежи. — *А. М.*), «издавна обращалось внимание не столько на обучение, сколько на развитие способности к обучению, не только на развитие интеллекта, а и на развитие образного, творческого мышления».

Лариса Васильевна возглавляет гимназию с 1999 года. Перед тем, как стать директором, успела приобрести большой педагогический опыт. После окончания филологического факультета Белорусского государственного университета три года преподавала русский язык и литературу в Солигорском районе (родом также оттуда, из городского поселка Красная Слобода), потом 18 лет работала в Слуцкой СШ № 7, полтора года была заместителем директора гимназии.

— Цель гимназического образования, — рассуждает Ермакова, — органически вытекает из самого ее содержания, а оно в данный момент сориентировано на подготовку к поступлению в высшие учебные заведения. Кстати, как показало анкетирование, старшеклассники мечтают в будущем стать студентами. Однако, как правильно считают современные педагоги, одаренные дети — большая редкость. Обычно таких примерно 1,5—2 процента. Значительно больше тех, у кого присутствует повышенный уровень учебной мотивации. Именно «мотивированные» дети и составляют основной контингент образовательных учебных заведений нового типа — лицеев и гимназий.

Отсюда понятно, что задача учителей состоит в том, чтобы спрятанные в детях таланты разбудить, преобразуя зародыши их в те животворные ростки, которые при нужных условиях начнут плодотворно и быстро развиваться. Как раз такие условия в Слуцкой гимназии № 1 и созданы.

— Развитие интеллекта, — говорит Лариса Васильевна, — имеет три составляющие. Это изучение предметов на углубленном и повышенном уровнях; информа-



Лариса Ермакова (в первом ряду четвертая слева) с преподавателями и гимназистами.

тизация, формирование определенных компетенций в современном информационном мире, а также развитие научно-исследовательского умения в нашей академии наук. Да, — уточняет она, — есть у нас и своя академия с десятью предметными лабораториями. Гимназисты, проявляющие особое усердие к обучению, основными занятиями не ограничиваются. И у них есть возможность заниматься дополнительно.

Во время дополнительных занятий все направлено на то, чтобы каждый гимназист мог раскрыть себя как можно лучше. Для этого создаются небольшие, до трех человек, группы. Занятия могут проводиться даже и с одним учащимся, если видно, что у него большие способности, творческие задатки. Такой «поштучный» подход себя полностью оправдал. В частности, в школе олимпийского резерва, в научных лабораториях. Массовость в данном случае только навредит делу.

Лариса Васильевна замечает:

— Большой спорт не может не отличаться от утренней зарядки, а готовить детей к олимпиадам международного, республиканского да и областного уровня — совсем не то же самое, что хорошо их учить даже по программам повышенного и углубленного уровня.

Тех, кто побеждает на разных олимпиадах, в гимназии с гордостью называют своим золотым фондом. Начало его формированию положил Иван Метельский, получивший бронзовую медаль на международной олимпиаде по информатике, проходившей в Турции. Через год с такой же наградой юноша вернулся из Китая. А после этого ежегодно гимназисты вносят свой вклад в сокровищницу своего учебного заведения.

Однако в гимназии прекрасно понимают: если стремление к получению разных дипломов и наград превратить в самоцель, может получиться так, что процесс обучения станет погоней за обычным накоплением как можно большего количества знаний. Насчет этого позиция Ермаковой непоколебима:

— Важно не превращать ребенка в пылесос, всасывающий готовую информацию, объем которой каждые пять лет удваивается. Современные знания стареют быстрее, чем ученик успевает окончить школу. Поэтому важно научить учащихся видеть и формировать проблему, по-настоящему овладевать знаниями, а не просто бесконечно запасать их.

Много дают гимназистам Дни гуманитарных знаний. Они способствуют, по сути, «погружению» в определенную эпоху, позволяют почувствовать ее во всей глубине и сложности. А это содействует развитию системного, аналитического мышления. Знания приобретают целенаправленность и целостность. Как, к примеру, во время интегрированного дня, посвященного известному «Слову о полку Игореве».

На первом уроке гимназисты знакомятся с культурой Древней Руси. На втором совершенствуют знания, полученные во время изучения темы «Белорусские

земли в X—XIII вв.». Третий урок — снова обращение к страницам русской литературы, называется он «Золотое слово Святослава». Следующий — «Опера Бородина «Князь Игорь». На уроке географии гимназисты получают индивидуальное задание: определить топографические особенности местности, где происходила битва с участием этого известного князя. После чего возвращаются к национальной истории — «Полоцкое вече времен Всеслава Чародея».

Проведение таких Дней гуманитарных знаний содействует не только развитию интеллекта учащихся, но и стимулирует их творческое, образное мышление, а это еще один шаг к формированию неординарной личности. А вообще творчество — в различных его проявлениях — в гимназии неизменно находится на первом плане. Даже в начальных классах предлагается курс «Учусь творчески мыслить». Работают клубы «Дебаты», «Что? Где? Когда?», а также «Люмьер-клуб». Выходят и свои журналы. Тираж их небольшой, всего несколько экземпляров, а польза большая. В «Гімназічным ліхтары» можно прочитать произведения учащихся как на белорусском, так и на русском языках. «Все обо всем» — англоязычное издание. В журнале «Корифей» преподаватели обобщают свой опыт, делятся интересными педагогическими задумками.

Не для школы, а для жизни

Гацуковская средняя школа, конечно, не может похвастаться своей богатой историей, а вот сегодня дела в ней по некоторым направлениям идут не хуже, чем в гимназии № 1. Прежде всего в области экологического воспитания. Хотя в этом отношении ей не так и сложно хорошо и продуманно наладить работу. Школа находится рядом с лесом: сосны и ели, кажется, вот-вот тронутся с места, чтобы переселиться во двор. Иногда, в особо урожайные на лесные дары годы, ученики могут во время переменки отбежать на несколько десятков метров от школы и вернуться с горстями созревших ягод.

Поскольку любовь к природе у каждого живет в сердце с детства, то педагогический коллектив во главе с директором, Людмилой Скалабан, стремится делать все для того, чтобы в процессе обучения она еще больше усиливалась, прирастая многими хорошими и полезными начинаниями. Кстати, Людмила Николаевна по образованию биолог, потому и понимает, насколько общение с живой природой помогает человеку сохранить душевное равновесие. Поэтому и относится так внимательно к тому, чтобы дети, овладевая знаниями, воспитывались всесторонне развитыми, становились гармоничными личностями. Девиз Гацуковской СШ «Не для школы учимся, а для жизни» и подразумевает это.

Экологическое воспитание — это не некое разовое, пусть и важное мероприятие. (Территориально школа охватывает пять сел: кроме центральной деревни Гацук это Залесье, Озерцы, Белая Лужа, Кривая Гряда. Детей на занятия подвозят на школьном автобусе.) Оно представляет собой целостную систему, которая включает в себя не только саму учебу, но и внеурочную деятельность, охватывая все возрастные группы учащихся. При этом к каждой из них свой подход.

Для учеников начальных классов проводятся экскурсии для лучшего общения с природой, налаживаются разные экологические конкурсы и игры. Организуются выставки рисунков на темы, связанные с природой, поделок из веток, корней. Есть и ряд занятий по интересам: «Загадки лесной полянки», «Мир комнатных растений», «Природа и прекрасное».

Учащимся средних классов предлагаются факультативы: «Экологическая азбука», «Живая аптека», «Уроки бережливости». Не обходится и без экологических турниров, конкурсов, викторин.

Поле деятельности для старшеклассников куда более широкое. Еще в 1999 году в школе был заложен дендрарий. Есть фруктовый сад, в котором растут груши, вишни, сливы, черешни. Но особое предпочтение отдается яблоням позд-

них сортов, количество которых приближается к ста. На плодово-ягодном участке также множество различных культур: черная и красная смородина, алыча, виноградная лоза, кусты айвы, фундука. Выращиваются и лечебные растения: наперстянка, курильский чай, зубровка, валериана, шалфей, чистотел... Занятия по душе желающие находят и в школьном лесничестве.

Настоящим райским уголком в школе является «Зимний сад», которым как учащиеся, так и преподаватели очень гордятся. Инициатором его создания выступила сама Скалабан. В этом саду, который разместился в одном из учебных кабинетов, а их в школе 17, собрано более 260 видов декоративных растений, в том числе и привезенных из Африки, Азии, Латинской Америки. Можно увидеть финиковую и кокосовую пальмы, кофейное дерево, орхидеи. На базе «Зимнего сада» проводятся уроки по изучению особенностей растений, их семантики и распространения на земле, ведутся лабораторные работы. Большую помощь этот «сад» оказывает в организации урочной и внеклассной работы по биологии. Он является и удобным местом для спецкурсов «Комнатное цветоводство», «Фитодизайн», кружков «Родничок», «Зеленая аптека», «Аквариумист».

Занятия по биологии, а также географии, экологии и другим учебным предметам проводятся и в музее природы, в котором более 300 экземпляров насекомых, млекопитающих, а также гербарии мхов, лишайников, папоротников, дикорастущих злаков, кустарников и деревьев.

Название же экологического музея «Беларуская хатка» говорит само за себя. Зайдешь в него, и словно переносишься на несколько десятилетий назад, приобщаясь к тому, как жили раньше белорусы. Цель создания этого музея — воспитание в учащихся любви к родному краю, пропаганда национальной культуры, знакомство с народными традициями, бытом. Так и хочется перефразировать классика: «Здесь белорусский дух, здесь Беларусью пахнет». Продолжение этнографического музея — уголок на территории школьного двора, где можно увидеть некоторые атрибуты крестьянского подворья.

Учащиеся Гацуковской СШ постоянно участвуют в районных, областных, республиканских конкурсах, семинарах, выставках, научно-практических конференциях экологического характера и часто возвращаются с грамотами, дипломами, подарками.

* * *

Подытоживая разговор о делах работников образования Слутчины, Дерман замечает:

— Успехи успехами, но не обходится и без проблем. Основная среди них характерна и для других районных отделов образования: добиваться дальнейшего повышения качества воспитания и образования на деревне, совершенствовать работу с кадрами. Словом, делать все ради того, чтобы на селе и ученики, и преподаватели имели для учебы и работы условия не худшие, чем в городе. На это направлена и государственная политика в нашей стране.

Как известно, 2010 год Указом Президента Республики Беларусь объявлен Годом качества. Это, с одной стороны, наложило на работников образования Слутчины еще больше ответственности, а с другой, поскольку они не только умеют хорошо трудиться, но и постоянно повышают эффективность на разных участках своей работы, открыло перед ними еще большие перспективы. Появилась возможность еще лучше проявить себя, доказав, что где-где, а на Слутчине, нет предела совершенству. Это, между прочим, давно для команды Дермана стало нормой в повседневной работе. Как известно, дорогу, какой бы она трудной ни была, всегда осилит идущий. Воспитание же никогда легким процессом не являлось. Тем большая благодарность людям, посвятившим ему свою жизнь.

ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ

Художественный эксперимент в поэме Тодора Кляшторного «Когда оседает муть»

Поэму Т. Кляшторного, известного в 20-е годы XX ст. поэта, постигла печальная судьба: сразу после своего появления в свет она попала под перекрестный огонь вульгаризаторской критики, была несправедливо осуждена, вследствие чего оставалась неизвестной читателю. Даже и в наше время упомянутое произведение известно далеко не всем, в большинстве своем только узкому кругу специалистов-исследователей. По этой же причине оставались нераскрытыми идейно-художественные слагаемые поэмы, особенности ее композиционного построения, ритмико-интонационный строй. Открытым остается вопрос относительно ее жанровой специфики: поэма, что очевидно, выходит за рамки «чистого» жанра. В ней не разворачивается широкая панорама эпического действия, которое заменено действием внутренним, направленным скорее не на показ событий и явлений, а на раскрытие внутреннего процесса мучительных поисков духовного наполнения посредством углубленности в сложные и подчас витиеватые рефлексии психологическо-эмоциональной окрашенности. Если принять все это во внимание, то жанровый статус произведения можно очертить как лирико-драматическую или лирическую структуру. В. Жирмунский так определил особенности лирического эпоса: «В лирической поэме, — писал он, — внешние события приобретают особую эмоциональную экспрессивность, субъективный, лирический смысл как непосредственное выявление переживаний поэта; не только в так называемых «лирических отступлениях» проявляется это лирическое настроение, — оно окрашивает собою все повествование, которое сопровождается эмоциональным участием поэта и как будто проговаривается взволнованным голосом».

Названные черты лирического жанра характерны и для кляшторновской поэмы. Усиленное начало лирического здесь в основном обусловливается активной, можно сказать, наступательной позицией поэта, что непосредственно выявляется и в структуре произведения. Глубоко индивидуальное лирическое переживание способствует открытию нового в герое и в окружающем мире, становится действенным средством их художественного постижения.

Российский литературовед А. Карпов, исследуя поэму советского времени на первых этапах ее становления, приходит к следующему выводу: «Поэзия нового времени нередко выступает в форме лирического монолога, который стремится к исповеди. Лирическая тема получает здесь разнообразную обработку в границах одного произведения. Выявляется это, в первую очередь, в композиции поэмы: части ее сочетаются развитием лирической темы, но еще чаще сочетание их свободное, поддерживается единством главной мысли».

По мнению некоторых критиков, одной из весомых причин того, почему поэма Кляшторного не нашла себе благодарного критика и читателя, стало то, что в ней якобы «выразительно ощущается нетворческое подражание отдельным мотивам и интонациям С. Есенина». Но это не совсем так. Обращение Т. Кляшторного к есенинскому творчеству нельзя назвать немотивированным и необоснованным. М. Лужанин, прежний «узвышэнец», в одной из своих книг признавался: «Сергей Есенин — не просто наше юношеское восхищение, это было больше чем любовь. Каждая строчка сразу подхватывалась, запоминалась и повторялась бесконечно, переходя невольно в совсем откровенное наследование. Мы пели его стихотворе-

ния на случайные и собственные мелодии, читали вместе и порознь. Не только молодежь, это могучее влияние изведала вся тогдашняя поэзия». Думается, что творческое подражание, «откровенное наследование» творчества такого тонко чувствующего поэта, каким был С. Есенин, могло способствовать только дальнейшей кристаллизации таланта, тем более начинающего, подающего надежды.

Сюжет поэмы Кляшторного разворачивается как история непростой судьбы героев, вынужденных проходить тяжелые жизненные испытания. Умело выписанная поэтом, эта история приобретает заметную идейно-тематическую целостность и глубину благодаря именно сильно выявленному лирическому началу, позволяющему свести в одно отдельные детали, факты, события, на фоне которых совершается действие. Автор сконцентрировал внимание на раскрытии внутреннего конфликта, который держится на движении «внутреннего» сюжета, на глубоком проникновении в сферу психологического, внутренне мотивированного. При этом мироощущение и мировоззрение героев выявляются путем непосредственного и, в большинстве своем, опосредованного преломления через внешнее, общественно значимое.

На первый взгляд, герои поэмы как бы напрямую не подключены к сложным перипетиям общественной жизни. Но дуновение эпохи, ее противоречия постоянно напоминают о себе, выявляются в тех душевных сдвигах, противоречиях, поисках, что постоянно сопровождают героев. Именно непосредственное соприкосновение со стихией жизни, тонкое и нередко болезненное реагирование на его кричащие проявления усиливают трагическое ощущение жизни, что в результате становится причиной тяжелых душевных переживаний героев, рождает внутренний раздор.

В центре внимания поэта — не просто история несчастной любви, а история и судьба людей, попавших в бурлящий водоворот времени. Все внимание поэт направляет на выявление внутренних страданий героев, которые сталкиваются с тяжелыми жизненными испытаниями. Свою задачу он видел в том, чтобы вскрыть те довольно непростые, запутанные жизненные перипетии, которые оставляют на психике человека свой отпечаток, временами заставляют поступать вопреки своим жизненным принципам, убеждениям. Ради заострения этого момента поэт как бы занимает позицию бесстрастного наблюдателя, переключает внимание на коллизии любовного переживания, которое, будучи глубоко индивидуальным, интимным, позволяет одновременно глубже проникнуть в довольно сложные противоречия-лабиринты времени и обстоятельств, выявить их глубину и драматизм.

Невероятно тяжелая по своей сложности задача стояла перед поэтом: попробовать осмыслить драматический, даже трагический путь человека в период социального и духовного кризиса, который был порождением самой послереволюционной действительности, процессом тотальной деформации общественного сознания в результате переделывания исконных основ бытия. Т. Кляшторному нельзя отказать в глубоком постижении жизни, в неподдельной озабоченности судьбой человека в условиях идейной нетерпимости и остракизма, в отчаянном сражении за право быть самим собой. Любые, даже самые незначительные сдвиги в душе героев поэмы не проходят мимо поэта. Человек и революция, человек и эпоха, место человека в стремительном течении истории — все это становилось предметом размышлений поэта. Нерешенность многих социально-общественных проблем 20-х годов, ощущение противоречивости, контрастности, непримиримости жизненных явлений, сфера которых постоянно ширилась, заставили поэта осязаемо и впечатляюще передать одиночество и пограничные душевные состояния человека, а также внутренний трагизм времени, избегая при этом стенаний и риторики.

Следует заметить, что именно в то время, когда печатались первые разделы поэмы, немецкий философ М. Хайдеггер в своей книге «Бытие и время», которая вышла в 1927 году, впервые изложил развернутую концепцию экзистенциальной философии. По-видимому, не стоит мучиться в предположениях, читал ли Т. Кляшторный эту работу. Уже то обстоятельство, что тенденция показа жизни как абсурда (неразрешимого конфликта) была универсальной по своей сути и охватывала литературу как зарубежную, да и отечественную (хотя, может, и с

разной степенью выраженности), открывала новую страницу в истории отечественного художественного слова.

«Человеческое существование экзистенциалисты чаще всего характеризовали такими категориями, как «забота», «тревога», «отчаяние», «заброшенность», «одиночество», «враждебность мира» и до т. п.». Один из обязательных признаков экзистенциализма — наличие эффекта пограничной ситуации — ситуации жизненного выбора при одновременном осознании «самой глубокой тщетности человеческой жизни» (А. Камю), углубленность в духовные метания личности — мы можем наблюдать в поэме Т. Кляшторного.

Настоящей «экзистенциальной» героиней, беспомощной и беззащитной, является Нина. Человек переходной эпохи, времени «как бы двойного бытия», она живет на пограничье нового и старого, становясь как бы невольным свидетелем неслыханной в истории перестройки-ломки жизни, человека, вековых устоев, обычаев, традиций... Поэт не делает экскурс в прошлое героини: она выходит на авансцену в самый острый момент напряжения своих душевных сил. Автор при этом показал себя тонким психологом-аналитиком, который стремится выявить те первопричины, что привели в конце концов к трагической развязке.

Ситуация жизненного выбора по-своему затрагивает всех действующих лиц поэмы — Яську, Андрея, Нину, даже самого автора. Как явствует из поэмы, для поэта момент этического выбора имел первостепенное значение. Поэтому так детально, подробно он раскрывает мотивы принятия решений героями, как бы делая попытку провести заодно своеобразное «анатомирование» общественных процессов, сделать художественный срез действительности. Острый взор художника заметил опасные тенденции, которые наметились в обществе: психоз массового сознания, стихия безрассудных действий, общественная инфантильность, фрустрация, обесценивание идеалов. Показательно и то, что на подступах к реализации художественного замысла Т. Кляшторный апеллирует не к массовому, а к индивидуальному сознанию, к личности. В то время, когда рушились на глазах «все составляющие морального и социального строя, все прежние представления — о любви, ...народе, отдельном человеке» (Г. Белая), поэт призывал обратиться лицом к человеку, искать опору в самом себе, в своей духовности.

Сюжетную канву поэмы цементирует личность автора, при непосредственном участии и восприятии которого происходит духовная исповедь героев. Поэт присутствует в произведении как бы в двух ипостасях: и как автор, и как непосредственный участник, одно из его главных действующих лиц, т. е. как субъект и как объект повествования. Поэтому, несомненно, поэма имеет и биографический характер: в первую очередь она проясняет биографию души самого поэта, его душевное беспокойство, переживание и боль за судьбу людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства и потерявших веру в свое духовное спасение.

Время и события в поэме точно не обозначены. Только по некоторым штрихам, деталям можно догадываться, что действие происходит в первые годы окончания гражданской войны. После долгих лет разлуки поэт встретил своего бывшего друга Яську, участника войны. Между ними происходит разговор, из которого мы узнаем, что, возвратившись из сурового военного времени в мирные будни, Яська очень мучительно, обостренно воспринимает нахлынувшие на него превратности судьбы. Он замечает непреодолимую пропасть между той идеей, за которую люди сражались и умирали, и тем, что оказалось в реальности. Отсюда — большая доля горечи и сожаления в его словах:

Людзі плакалі,
Людзі імкнуліся, —
Будавалі...
Змагаліся...
Марылі...
Кожны грэўся ля дальняга вогнішча
Недасягнутых сёння надзей...

Последнее двустишие, по всей видимости, имеет для поэта не второстепенное значение. Годом позже, в сборнике «Светацені» (1928), эта же мысль повторится в стихотворении «О прошлом» почти с абсолютной смысловой точностью: «У далях дальнія агні, / І недасягнутая мэта».

Воинствующее мещанство повсюду правило свой пир. Наблюдая фальшь жизни, Яська приходит к тому выводу, что «расфарбаваныя вусны», «распісаныя дамы», «пазалота бялявых плячэй» стали проявлением всеядного человеческого разврата, красноречивыми симптомами развращения, безнравственности человека. «Мо за гэтым і душы астылі, / І патухлі усмешкі вачэй?!» — одновременно риторически и спрашивает, и утверждает герой, а вслед за ним и автор.

Для более глубокого, адекватного понимания жизненной и гражданской позиции Яськи имеет первостепенное значение факт его участия в страшной братоубийственной войне. Его слова — «перажыў я крывавую бойку» — как квинтэссенция, сгусток всех его мученических поисков и рефлексий. В этом признании — трагедия человека, сознание которого отягощено ужасающей и жестокой правдой о науке убивать.

Сбросить с себя кровавые оковы войны, избавиться от чувства безнадежности, неистребимого ощущения вины перед невинно убиенными, воскреснуть душой — тяжелая и почти непосильная для героя задача. Оставаясь вечным изгоем, мучеником и ежеминутно терзая себя за совершенное некогда им и другими зло, он не может найти в жизни душевного успокоения, противостоять тяжелому жизненному напору.

Автор, отказавшись от эпического изображения военных событий, переключил свое внимание на показ поистине трагической судьбы человека и разрушительное воздействие войны на его моральный облик и психику. По существу, в поэме Т. Кляшторный прежде всего задался целью выразить свое отвращение к только что пережитой войне, принесшей столько неоправданных жертв и приведшей к огромным внутренним терзаниям. Судьба посылает все новые испытания. Потеряв чиновничью должность вместе с партийным билетом, отведав зловонного угара за «чорнай сцяной рэстарану», Яська оказался на перепутье. Драма собственной жизни усложняется драмой близкого ему человека. Жизненная неопределенность, болезненное реагирование на несправедливости жизни, поиски выхода из жизненного тупика, духовное родство — вот что сблизило Яську и Нину. Но эта близость не принесла счастья людям, которые, выйдя из горнила тяжелых испытаний, не могли найти духовной опоры.

Не случайным выглядит и цыганский мотив в поэме. «Бесшабашная удаль», которая пересыпается такими экзотическими названиями, как «кюрасо», «крем д'оранж», «северны лікёр», становится характерным атрибутом новой экономической политики. Симптоматично, что цыганская тема в годы нэпа становится довольно распространенной в творчестве многих поэтов. А. Марченко, исследовательница творчества С. Есенина, так объясняет этот факт в творчестве поэта: «Цыганское в этом контексте — символ воли, воли, но не свободы, которая гарантирована правами и привилегиями, воли как неотъемлемого и прирожденного права каждой личности, той «особой меты», которой при рождении помечается «все живое». Далее автор замечает: «Закрепляя за своими «кабацкими» стихотворениями термин «цыганские», он (Есенин. — *В. М.*) откровенно связывал их с «кабацкими стихотворениями» Александра Блока».

Чем же отличаются «блоковские» цыгане?

«Цыганщина» в творчестве Блока последних лет реакции, — пишут Ю. Лотман и З. Минц, — это добровольно избранная героем судьба страдать и гибнуть вместе с народом. Но это и другое: в мертвой регламентированности автоматизированного бюрократического общества, в мире «мертвецов» и автоматов, сама гибель от полноты жизни, «сгорание» — бунт полной сил и потому художественной, «артистической» натуры, которая не помещается в границах мещанской регламентации».

Имеются и определенные нюансы в самом способе преломления цыганских мотивов у Есенина и Кляшторного. Причем, у Кляшторного контекстуально представленная деталь приобретает нередко более выраженный «цыганский колорит»:

Пі, цыганка,
Мілая цыганка!
. . . .
Дапівай, бяздомная каханка,
Мо гуляем прадапошні раз...

Через дымку «палкіх гарэзаў», пьяных возгласов, табачного дыма проступает драма человека, презираемого, отверженного обществом, втянутого в омут грязной реальности с ее ошеломляющей контрастностью, социальным контрастом, фальшью. Трагедийное ощущение фатального конца подчеркивается такими выражениями, как «востры нож», «трэснутая шклянка», «турэмныя краты», «нож і крыж», «крык і плач» и т. п.

Неслучайно голосом Андрея, прежнего друга Тодора, произносятся известные есенинские слова: «Ставил я на пиковую даму, / А сыграл бубнового туза». А. Марченко находит в этих словах перекличку со сказкой Гебеля, герой которой, Вольтер, надеясь на чудодейственную силу перста, который он выиграл у «Зеленого» (перстень с «красным карбункулом»), поставил на карту жизнь и, проиграв, застрелился.

Художественное пространство, в которой развивается конфликт поэмы «Когда оседает муть», — это антитеза противоестественного монстра-города, в котором «сцюжа панue, / Золкасць і вечны мароз» где «сыплецца цвіль» не только со стен, но и из душ людских, и обманчивой свободы «адпетых людзей», отчаянно пытающихся за стаканом вина возвратить некогда потерянное спокойствие и счастье. Мир неволи — это одновременно и мир насилия, принуждения, угнетения личности, нарушения высшего Закона. Потому такой маниакальной сутью резонируют слова одного из «босяцких» постояльцев кабака:

Падымайце куфлі за гарэзы
І за новы труп...
Сёння маці родную зарэжу
І сястру...

Экзистенциальное ощущение героев, «пир во время чумы», еще более оголяет разорванную и противоречивую цельность бытия, создает обманчивый эффект «красивого страшного».

Своеобразное жизнеописание души — тоже непростое, мученическое, — слышится в словах Яськи, который в искреннем разговоре со своим собеседником (автором-нарратором) склонен к самоисповедальности:

Я кахаў, —
Цалавалі другія,
Я маліўся, —
А нехта пляваў,
Я шукаў дарагога Месію,
А Іуда яго прадаваў...

Именно внутреннее несогласие с кричащими несуразицами жизни, мучительное ощущение вины за совершенный против своей воли грех становятся важным основанием в отчаянных попытках возвратить потерянный смысл жизни, обновиться духом, выйти за фатальный круг жизненного предопределения. Нестерпимое желание пересилить что-то тяжелое и гнетущее, достигнуть внутренней полнокровности, цельности становится гарантом возвращения героем потерянного равновесия, мучительным процессом возвращения к жизни, предпосылкой формирования своей автономности, самости.

Мировоззренческая позиция Тодора — поэта нового времени, сторонника культурно-национального возрождения, искренне верящего в то, что «руйнуюць толькі дзікары / крывёй здабытую культуру», порой выглядит довольно расплывчатой, неопределенной. С одной стороны, он с большой надеждой и

оптимизмом смотрит в завтрашний день, повторяя общие риторические сентенции («Глядзі — растуць, глядзі — ідуць / Жывыя волаты з туману»), с другой же — склоняется к рефлексии, пессимистическому «прогнозированию»:

А між тым: у векавечных шатах,
Дзе няма ні спрэчак, ні маны,
Я запісан, мабыць, кандыдатам
Першым ад бліжэйшае труны...

Записку Нины о разрывании с ним всяких связей он воспринимает не иначе, как «очередной каприз», игру «у ламаную любоў». Физическая и душевная усталость, украшенная театрализированным флером, слышится в следующих словах:

Не каханне сэрца мне трывожыць, —
Не таму магільная пустош...
«Кто сгорел, тот уж гореть не может,
Кто сгорел, того не подожжешь».

Прямое заимствование из Есенина еще более усиливает степень духовного метания, свойственного герою.

Важным местом в поэме является «идейный» разговор между Тодором и Андреем. Израиль Плащинский в своей статье «Праз муту жыцця да гоману палёў» подает образ Андрея в явно негативных тонах. Он, в частности, замечает: «Андрей видит в ней (жизни. — *В. М.*) много хлама, оставаясь пассивным в отношении к нему. <...> Ожегшись раз на своих «идеалах», он отрезвел и не услаждает себя розовыми мечтами, потому что живет в «реальном мире», ...любит стать в позу и прочитать наставление, как жить, чтобы не стать «пасынком жизни». Непостоянность, сиюминутность, безрассудство, голая чувственность — его принцип причастности к женщине...» Несомненно, многое из сказанного в отношении Андрея соответствует истине, в особенности если иметь в виду линию его этического поведения. Но такой ли уже одиозный этот герой?

В разговоре с Тодором Андрей выявляет свое довольно трезвое, может, и чрезмерно меркантильное, отношение к жизни. Во многом дельными кажутся его замечания насчет вчерашних сельчан, способных воспринимать «найбольш мяшчанскую культуру». Откровенно и бескомпромиссно он говорит о том, что «вёска з даўніх каляін / Узнята сёння з каранямі», что «мы ‘шчэ самі не дайшлі / да нейкай высшае культуры...», об обезлюдевшем литературном парнасе. Упрекая поэтов, поющих о том, «чаго не бачылі ніколі», Андрей от высокой патетики переходит к собственному пониманию задач литературного творчества, обращается к художникам слова с таким кредо: «Вы дайце, дайце не бетон, / Вы дайце ў песнях чалавека!..»

Можно только догадываться о реакции тогдашнего читателя и критика на следующие слова Андрея:

…я ж не паэт,
З перадавіцы не малюю
Жывымі фарбамі партрэт.

Или:

На пераломе нашых дзён
Ужыўся неяк студзень з маем...
Праз трупы ворагаў ідзём
І з трупаў вопратку здымаем.

Какое ужасающее предречение-предсказание страшной памяти 30-х годов! Для самого поэта, причисленного к когорте «врагов народа» осенью 1936 г., оно тоже оказалось роковым: 30 ноября 1937 г. Т. Кляшторный был расстрелян.

Глубоко трагедийным воспринимается образ Нины — героини, которая в силу жизненных обстоятельств очутилась на краю черной пропасти. Это обыкновенная,

простая, непосредственная в своей мечтательности, идеализме восприятия жизни девушка, так и не сумевшая адаптироваться к новой жизни. Натура страстная, романтическая, она отчаянно бросилась в омут жизни, все более и более теряя свою веру во что-то хорошее, высокое, светлое. Не зря в своем предсмертном, не адресованном письме героиня признается: «Я чалавек прыгожых парыванняў, / Мая душа ў разбураным старым». В разговоре с Андреем она бросает упрек, адресованный не столько ему, сколько всем жестоким, очерствевшим, бездушным мира сего:

У вас няма ў натуры рамантызму,
У вас свае імкненні і любоў.

«Свае імкненні і любоў» — это и фальшивость чувств, и обманчивая увлеченность, и карьеристское, меркантильное отношение к жизни, и нежелание прийти на помощь в нужное время.

Не найдя так необходимой поддержки и понимания, героиня оказалась в жизненном тупике — одинокой, безвольной, подавленной, беспомощной перед силами зла. И причиной этого стала не только измена любимого человека. Она — та капля, которая переполнила чашу душевных слез и боли и принудила сделать отчаянный шаг. Настоящая же причина — в тех очевидных и скрытых антиномиях послереволюционной действительности, в самих основах общественного строя, который ускорил трагическую развязку судьбы героини. К сожалению, Т. Кляшторный не мог развернуть этот аспект более широко в силу, скорее всего, объективных обстоятельств. Но сам факт постановки проблемы лишних людей, бывших, вчерашних, — как здесь не вспомнить М. Зарецкого! — свидетельствует о высоком гражданском мужестве поэта.

В своей поэме Т. Кляшторный обращал внимание общественности на необходимость действенной, активной помощи человеку в его отчаянной попытке поиска выхода из кризисной духовной и социальной ситуации, призывал быть милосердными к отторгнутым обществом, что было не только основой его художественного кредо, но и глубоко внутренней потребностью национального художественного слова, постепенно открывающего новые ракурсы изображения действительности. Поэт поставил под сомнение существование такого общественного строя, где нарушаются, деформируются сами основы жизнеустройства, где безжалостно ломаются и калечатся человеческие души, а сам человек лишен надежной духовной и социальной опоры, возможности вырваться из-под власти невыносимых жизненных обстоятельств, убивающих чувство человеческого достоинства, веру в завтрашний день. В достаточно сложное, действительно судьбоносное для страны время художник оставался сторонником гуманистической идеи: он признает приоритет человека как самоценной сущности, отстаивает его права быть субъектом истории, право на выбор, жизнь, свободу. Поэт не приемлет гибельную тенденцию манипулировать человеком как средством достижения определенных политических амбиций, видеть в нем средство классовой борьбы и диктатуры пролетариата, что в корне противоречит гуманистической идее приоритета общечеловеческих ценностей, моральным канонам нового человека — человека с «высокой душою» (А. С. Пушкин).

Такая мировоззренческая установка Т. Кляшторного заслуживает особого внимания. Апологеты пролетарского искусства пытались сделать ненависть «святым евангелием революции», подменить категории этики и высокой эстетики пролетарским жупелом классовой ненависти, который бы регламентировал поведение и сознание человека. «Пусть гибнет весь мир, но живет истина», — такой была типичная вульгарно-социологическая формула пролетарского ригоризма. В то же время Т. Кляшторный хорошо осознавал, что только человек как духовно общезначимая ценность способен и призван противостоять силе зла, нигилистической и антигуманной по своей сути.

ВЛАДИМИР ГНИЛОМЕДОВ

Поэзия, обожженная Чернобылем

О творчестве Миколы Метлицкого

Современники Данте верили, что автор «Божественной комедии» побывал в преисподней и даже не раз туда спускался, — иначе откуда у него были вести о тех, кто там томится, откуда курчавая борода и потемневшее от адского дыма лицо?

Поэт Микола Метлицкий — наш современник, и его судьба в поэзии, через далекие ассоциации, напоминает мне о том, что случилось со средневековым Данте: Метлицкого тоже обожгло невидимое пламя, пламя адского Чернобыля, оставившее неизгладимую печать на его творчестве.

Родом он с Полесья, из знаменитого Бабчина. Это — большая деревня в Хойникском районе, где в семье Михаила Ефимовича и Валентины Григорьевны Метлицких 20 марта 1954 года родился будущий поэт. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-м деревня была эвакуирована, что также стало большой личной трагедией поэта. Жизнь разделилась надвое — до Чернобыля и после Чернобыля. Стоит ли доказывать, что это обстоятельство обусловило, видоизменило весь характер творчества поэта, его мировосприятие, поэтику и все остальное, но начинал он свою литературную борозду еще до Чернобыля, в 70-е годы, которые были для него ранним, начальным периодом творческого становления. Этот период поэт провел, работая на своем «полесском наделе», как писал про него А. Велюгин в предисловии к первому сборнику «Обелиск во ржи» (1980), в котором, впрочем, есть и такие строчки:

Вёска з дзіўнаю назваю Бабчын
Ад калыскі гняздзіцца ў душы.

Бабчин любимое место, куда зрелый поэт не перестает время от времени возвращаться и сегодня, чтобы постоять около родового гнезда, вытереть слезу от нахлынувших воспоминаний…

Первый сборник, о котором я уже упоминал, и второй — «Мой день земной» (1985) успели увидеть мир до чернобыльской «навалы». Они наполнены светлыми мотивами и образами. Мир поэта восстает в красках и звуках — разноцветным, Метлицкий умеет передать хлопоты, заботы и радость жизни, свою влюбленность в окружающую природную среду, в свою малую родину, в тружеников-земляков.

Детство, которое в его поэзии выглядит подчас почти экзотическим.

Было:
Прыходзілі ласі
У вёску з чарадой.
І голас кані галасіў
Над мутнаю вадой.

І лотаць млела у лазе,
Аж залачаў прастор.
І бусел на адной назе —
Балотны дырыжор.

Вспоминаю эти строчки и ловлю себя на мысли, что мне интересно пройтись тропинками поэта, припомнить отдельные произведения.

После десятилетки Микола подался в Минск, поступил в Белгосуниверситет, на филологический факультет, ведь стихи сочинял уже в школе, в старших классах. А куда поэту дорога, как не на филологический факультет. Площадка для взлета!

В 1972—1973 годах работал в хойникской районной газете. Вынужден был по состоянию здоровья взять академический отпуск в университете. Полесский воздух положительно повлиял на здоровье, а родной Хойникский район он исходил и исколесил вдоль и поперек, побывал в каждом селении, сроднился с людьми, что, несомненно, пригодилось в будущем.

В своих странствованиях он, земляк И. Мележа, не раз навестил Глинище:

Самая сціплая ў Глінішчах хата,
Як і калі пачарнела ад слот?
Скарбаў — багата
І песень — багата,
Дыхаеш прэлай дрыгвою балот.

Это и было начало *своей* полесской темы, *своей* полесской песни. К Метлицкому, как и к Мележу, рано пришло ощущение собственного пути, и это выразительно отразилось и на его биографии, и в произведениях. Была возможность поступить в аспирантуру — ждал в Ленинграде, в Пушкинском Доме, сам академик Д. С. Лихачев, но выпускник БГУ сделал свой выбор, остался верным поэтическому призванию.

Поэзия изобилует определениями, которые соответствуют ее отношению к жизни. Природа поэзии противоречивая: она стремится к постоянным этическим величинам, которые не зависят от времени и изменений в человеческом сознании, но в художественном тексте эти величины оживают только когда опираются на самоощущение человека. Это самоощущение, думается, нашло выразительный оттиск в творчестве М. Метлицкого, в его лирических стихотворениях и поэмах. За его поэзией стоял живой человек со своим характером и биографией, своим строем мышления и позицией. Правду говорят теоретики: «Как и что ты видишь — такой ты и человек». По натуре это был идеалист, даже неисправимый идеалист, который всем верил и повсюду искал гармонию и красоту, однако часто, к сожалению, приходилось убеждаться, что и жизнь, и люди очень далеки от совершенства. Но в целом жизнь давала ощущение прочности, устойчивости, вечности:

Ты — радуйся, жыві
На той зямлі, дзе каласуе жыта.
Яна крывёй салдацкаю здабыта
Для нашае, сыноўняе, любві.

Внутренняя, человеческая, психологическая суть его поэзии выражала себя во многих стихотворениях, в том числе и в лирике интимного плана:

Дажджынка упала, апёкшы шчаку.
Не праганяй кроплю малую,
Пачуў, у лёце стрымаўшы руку:
Дажджынкай кожнай
Цябе цалую.

Такое, говорят, дорогого стоит.

А как он написал про мать!

Сэрца тваё...
Я чую, як яно тахкае,
Збалелае, хворае,
У чорных грудзях планеты.

Няужо ёй, мама,
Маючы сэрца тваё,
З арбіты сысці?

Тема матери — сквозная в творчестве поэта, и он как преданный сын будет вновь и вновь к ней возвращаться:

Спі, родная.
Жальбой бясконца
Душа мая пад небам апавіта.
Магільны груд — тваё цалуе сонца,
Магільны сон — тваё калыша жыта.

Поэт не ищет случайных созвучий — их подсказывает мысль, которая существует в этой своей предметно-чувственной внутренней форме, неповторимой энергетической пульсации.

Поэзия М. Метлицкого — очень заметное и оригинальное явление современной белорусской литературы, которая в лучшей своей части не порвала с национальными традициями, не ударилась в бесшабашный авангардизм, не усомнилась в человеческой доброте, в высоких моральных ценностях и духовных истинах. Она выдержала экзамен и испытания нашего сурового времени, не поддалась ненадежным, хотя и модным, соблазнительным влияниям и продолжает идти, как сказал бы Купала, «путями жизни». Поясню свою мысль строчками известного московского поэта-переводчика Якова Хелемского, которые он посвятил своим белорусским друзьям:

Люблю поэтов белорусских,
У них стихи — не белоручки,
А работяги-мастера.
За тихим шелестом пера —
Гул жерновов неутомимых,
И скрип колес, и посвист кос,
И эхо самодельной мины,
Врага пустившей под откос...

В этих образах и метафорических находках автора слышится не только отклик истории, но и читается лаконичная «типологическая» (простите мне этот сухой литературоведческий термин) характеристика белорусской поэзии, ее содержательной художественной самобытности; она всегда жила беспокойством и общественной ангажированностью, стремлением сказать за всё и за всех. В русле этих традиций и развивается творчество М. Метлицкого, который уверен, что и в XXI столетии перед писателями стоит все та же неизменная задача: «И в наше время — время переоценки человеческих ценностей — доказать обществу, что без соприкосновения с художественным словом гибельно скудеет сама человеческая суть» («ЛіМ», 2002, 26 июля).

Ценное свойство поэзии М. Метлицкого — оно обнаружилось уже в самом начале — речистое, живое слово, которое несло в себе множество ассоциативных связей, активно объясняло то, что происходило в сознании людей, помогало поэту выразительнее очертить свою идейно-гуманистическую позицию.

Период «застоя» — 80-е годы — непосредственным, бытовым способом мало отразился в книгах М. Метлицкого, но отразился! Например, через нравственные, духовные поиски. К сборнику «Роза ветров» (1987) автор в качестве эпиграфа взял отрывок из стихотворения М. Богдановича:

Хто мы такія?
Толькі падарожныя, —
Папутнікі сярод нябёс.
Нашто ж на зямлі
Сваркі і звадкі, боль і горыч.
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?

Упомянутыми богдановичскими строчками поэт хотел, по-видимому, напомнить, что мы далеко не первые, кто задумался над сложностью мира и человеческими судьбами. Думали и до нас — классики. М. Метлицкий передает мироощущение своего современника. Давний вопрос Богдановича он ставит на новую социальную почву, в несравненно более жестких обстоятельствах. «Ссор и раздоров» тогда, в 70—80-е годы, хватало — и между политическими системами, и между государствами, и в обычной человеческой среде! Поэт действует в русле традиции — своим личным духовным и биографическим опытом противостоит силам зла, энтропии, человеческому отчуждению. А в чем, как не в этом — в противостоянии злу, забвению, «черным сумеркам» одиночества, — и заключается задача поэзии, ее «главная тема»!

Думается, такой взгляд во многом близок М. Метлицкому. Отсюда — интенсивность и смелость поэтической мысли, масштабность и контрастность образности, отрицание бытового плана. Поэт широко использует приемы укрупненного плана. Родина, Земля, Солнце, Вселенная, Вечность, Время, Память — эти слова он пишет с большой буквы.

Если же говорить о литературной родословной героя М. Метлицкого, то надо отметить, что он не только потомок М. Богдановича, но и младший современник А. Кулешова со свойственным одному и другому стремлением к емким, масштабным обобщениям. Поэтика масштабных обобщений была свойственна белорусской поэзии 20-х годов, насыщенной абстрактными космическими образами и библейскими аллюзиями, образами Апокалипсиса с его ведущей мыслью о неизбежной победе добра над злом, о конце старых, «грешных» времен и будущем царстве справедливости, однако этой поэтике вредил схематизм, литературность. Космическим пафосом схематизации героя и мира проникнута поэма-фантазия М. Чарота «Краснокрылый вещун». Поэзия тут, по сути, тождественна идеологии — прославлению мировой революции, которую стремились разжечь большевики. Сегодня уже нет нужды говорить о химеричности и утопичности этого проекта. Современная поэзия, конечно, живет другим, хоть временами и «вторгается» в космос. Она — реальная, что видим и у М. Метлицкого, который даже в самых высоких космических образах и жестах не порывает с земным.

Поэт не забывает про внутренний мир человека, его духовность. Впрочем, «не забывает» — не то слово, он живет духовными проблемами современности, высокими психологическими нагрузками, верой в победу жизни.

Поэзия живет вопросами. Кто я? Сколько мне лет? Какая моя судьба? — похожие вопросы лирический герой «Розы ветров» задает себе часто, соизмеряя свой возраст с возрастом человечества, обогащенный его историческим опытом.

Сборник свидетельствовал, что его автор остро ощущает несоответствие между уровнем научно-технических знаний и средним уровнем сознания человека («Мы умеем уже...»). Однако при всем драматизме положения поэт не падает духом. О лирическом герое поэзии М. Метлицкого рассказала читателю поэма «Небо».

Хто я? — Вечны сузіральнік
Недасяжнай небнай шыры.
Нада мною, як пытальнік,
Млечны Шлях...
І зор пункціры.

«Небо» — лирико-публицистическая поэма. Она свидетельствовала о вере в гуманистические ценности, которые являются общечеловеческими и утверждают себя через борьбу, противоречия и трагедии.

Я не веру, што планета
Наша — востраў адзінокі.
У абсяжышчы сусвету
Чалавека ўсюды крокі.

Мысль направлена в глубину философского познания бытия, которое видится автору в его многомерности, постоянном обновлении, круговороте, внутренней динамике. Человек выживает потому, прежде всего, что он человек: прочность его и мощь — в человечности. Человеческая совесть не должна поддаться силам расщепления.

Лирический герой вопреки всему дурному стремится к духовной полноценности, к счастью и красоте. Это стремление — во многих стихотворениях. «География души» поэта — широкая. И, разумеется, не только благодаря «космизму», космическим мотивам. Он стремится осознать полноту и многомерность связей человека со всем миром, понять себя самого и через себя — мир. В книге действует цепная связь: Земля—Родина—Полесье.

* * *

Где-то в это время, в начале 80-х, Микола в дружеском разговоре признался мне, что пишет роман, и я, конечно, был очень удивлен этим его новым и, как мне показалось, неожиданным замыслом. Время, однако, внесло коррективы и в творческие планы, и в эстетичные взгляды, и в саму жизнь. Черный 1986-й оказался трагическим, судьбоносным как для всей Беларуси, так и для М. Метлицкого, его жизни и поэзии.

Очередная книга «Путь человеческий» создавалась под воздействием печальных событий этого и последующих годов. В зоне отчуждения оказался родной Бабчин — исток жизненной дороги поэта. Одно из стихотворений, помещенных в ней, так и называется — «1986 год».

Ты мне ахвяраваў
З радзімай развітанне:
Шаптанне мёртвых траў
Крыніц атрутных ззянне.

Астылы матчын двор,
Усплёск самотны рэчкі,
Чароды зяблых зор,
Што ўспыхнулі, як свечкі.

Видоизменилось все: «Сбросит завтра перо на село журавль, и никто не подхватит его». Опустели родные улицы, жалобно скрипит колодезный журавль, зарастают полынью дворы. Поэт остался прикован к своему времени бедой Чернобыля, судьбами потерпевших людей.

Т. Шамякина на этот счет писала: «После Чернобыля Метлицкий утрачивает состояние влюбленности в жизнь, ведь Природа, оставаясь красивой для глаз, перестает быть истоком внутреннего жара. Ум знает: от нее — жар другой, смертельный для тела. Человек бьется в отчаянии и не видит выхода». Это вроде бы и так (несомненно так), но поэзия, как и вся литература, безусловно, опирается на целостное понимание и восприятие мира, стремится к универсальному, всеобъятному. Выдающийся деятель нашего Возрождения Вацлав Ластовский понимал литературу так: «Литература отражает в себе душу народа, его «тревожные думы», его «чуткие и волнующие чувства», его «понимание радующей красоты». Таков и М. Метлицкий — его многое тревожит и беспокоит. Он лирик и публицист одновременно.

Одну из своих книг Янка Купала назвал «Дорогой жизни». Мне видится, что название сборника стихотворений и поэм Метлицкого «Путь человеческий» перекликается с купаловским — звучит слаженно с ним. Перекличка, думается, не только в названии, но и в том, что за ним стоит. Начинается сборник кратким, но в философском смысле емким четверостишием:

На абшарах зямных пад Сонцам
Мы сышліся на гулкім вечы.
Два шляхі ў Сусвеце бясконцым —
Млечны Шлях і Шлях Чалавечы.

Человек — лирический герой — берется не только в земном, но и в космическом плане — как обитатель Вселенной, связанный с нею всей своей жизнью и внутренней, биологической структурой. Это, мне кажется, очень верно и очень оригинально. Та истина, что человек — существо космическое в такой же степени, как и земное, расширяет творческую концепцию поэта, углубляет ощущение неповторимости и ценности личности и ее ответственности за жизнь, содействует усилению «ощущения семьи единой» в общечеловеческом масштабе.

Мы большей частью смотрим на космос буднично — как на безжизненную материю, которую надо использовать в тех или иных целях. Поэт обживает его эстетически, приближает к нам, он знает, что энергия Земли, ее тепло — от Солнца и звезд.

Яшчэ шляхамі зорных завірух
Па космасу пустэльнай паласе
Ён горда пройдзе, чалавечы дух,
І розум чалавечы пранясе.

Поэт считает, что человек — неповторимый цветок Вселенной, возросший под благодатными лучами Солнца. Между ним и космосом существует невидимая, но постоянная связь, которая должна глубоко осознаваться человеком.

Вечнасцю неба наліта.
Вечнасцю сэрца налі.

Заслуга поэзии М. Метлицкого, как мне думается, в том, что она расширяет (насколько это доступно и возможно) взгляд человека на мир и на свое место в нем. В лирическом герое поэта, несмотря на его космизм, я не нахожу ничего абстрактного — он связан с реальным бытием человека. П. Панченко прозорливо сказал: «Без человечности не будет и вечности». Эта мысль близка и Метлицкому, который постоянно апеллирует к человечности, поэтому стихотворения его звучат по-современному остро и насущно.

Нобелевский лауреат, австрийский писатель XX столетия Э. Канети, исходя из своего, да и не только своего опыта, писал, что «настоящий писатель, каким мы его себе представляем, всегда во власти своего времени, он его слуга, его крепостной, его последний раб». К такому типу художников относится, думается, и М. Метлицкий. Несомненным творческим достижением поэта, верного своей теме, стала книга «Полесская печаль» (1991 г.), которая увидела мир в годы перестройки. Она поразила многими стихами: «29 августа 1986 года», «Согласно одной встрече», «Рисунки на черном асфальте», «Последний ночлег», «Сон», поэмой «Нехоженая вселенная» и пр. Все эти произведения очень органичны для автора, ненадуманны; была внутренняя необходимость написать их, и он написал.

Накануне выхода этой книги М. Арочка отметил: «Горечь «полесской печали» начала почти целиком держать в плену стихи М. Метлицкого — их определяет собственно пережитая, сердцем увиденная детализация, щемящая густота конкретных знаков беды, того черного семени, что засеяло родное поле дикой пустошью: чернобыльник с далекой границы подступился к порогу отеческого дома, сквозь пустую траву одиноко смотрят в тревожный мир тетерева с огорода, тень мастера-печника блуждает в слепом сумраке, а высокий чин, приехав в Брагин на шикарной машине со всеми запасами «чистого» продовольствия и питья, лживо пытается ослепить очередной демагогией уже ослепших, заболевших телом и душой — «Занёс на боль чыноўны бот»...

Если в прежних сборниках ощущалась табуированность некоторых сфер жизни, то теперь она исчезла, автор сумел тронуть, зацепить читателя за живое, заинтересовать его, заинтриговать. Многие стихотворения вспоминаются, в особенности те, где драматическая эмпирика перерастает в философское размышление:

Не спытаеш у хмары:
Куды?
Не спытаеш:
Куды?
У бяды.
На чаканы падказ
Свет глухі.
Не пазначаны
Згубы шляхі.

В 1996 году увидела свет одна из самых сильных книг М. Метлицкого — сборник стихотворений «Бабчин», которую автор назвал «книгой жизни». Книга имеет эпиграф:

Глыток чысціні.
Суцемак гладыша.
Безгалосыя дні.
Параненая душа.

Четыре строки — четыре образа. Они, чрезвычайно глубокие своим содержанием, стали названиями четырех разделов сборника, в котором — я это говорю с ответственностью — с необычной полнотой отразился народный опыт отношения к жизни. Книга писалась на необычном эмоциональном накале. Многие стихотворения напоминают трены (трен по-латински — плач, плач по потерянному). Это в особенности относится к циклам «Безголосые дни» и «Раненая душа». В них выявлены экзистенциалы пережитого и выстраданного людьми, постоянно рефлексирующее сознание поэта, который стремится осознать, что же происходит в мире и в его душе. Основная идея талантливо выявлена в стихотворении «Бессмертник», с которого начинается книга:

Бяссмертнік, атручаны лекі твае.
Жыцця тут пагаслага мёртвая стынь.
А шчасце былое жаўцяна ўстае,
Мне дорыць і дорыць жывую святлынь.
О, колькі жадана ўвабрала яна
Дыхання каханай, і мрой, і цяпла.
І зараз пакутніца свету адна
Шчыруе над цветам душа, як пчала.

Поэт хочет, чтобы потеплела человеческая душа — даже после такого ужасного события, как Чернобыль, но печальные реалии крестьянского дома — стол (на котором нет хлеба), скамья у стены (на которую уже никто не сядет), печь (которую уже никто не зажжет) — возвращают к действительности, «усланай покрывам радыяцыі» (стихотворение «Згадкі ў хаце»).

М. Метлицкий обладает редким даром создания народных характеров, в особенности много их в разделе «Сумерки кувшина», в стихотворениях «Николаев дуб», «Баллада про Варин огород», «Яблочный Спас», «Она», «Волшебница» и пр.

Отличное стихотворение «Библиотека». Опустевшая деревенская библиотека. Только ветер, что прилетел «через разбитые стекла окон», листает подшивки газет. Но внутреннему зрению поэта видно, как вышли из нее две невидимые фигуры прежних заядлых читателей Маланковича и Букваря:

Ані слядка на расе.
Удаль павядзе іх вечар.
Старонкі прачытаны —
Ўсе! —
Трагедыі чалавечай.

В мире поэта хозяйничает память, воссоздает свои картины и образы, подтверждает непреходящие человеческие ценности. Однако было бы несправедливо ограничивать поэта тематически, он — многогранный. Умеет быть интимно добродушным, нежным и умеет взять на себя миссию судьи, подняться до публицистического уровня, тронуть наболевшее, сказать обществу без утаивания, что в нем плохо, каким должен быть, по его мысли, человек и каким должен быть мир. М. Метлицкий выступает как летописец чернобыльской трагедии, который посвятил ей немало глубоких, прочувствованных книг и отдельных произведений, известных далеко за границами Беларуси, наполненных горечью и кручиной, верностью и обидой. Их герои — односельчане и земляки поэта — на себе изведали цену нечуткого и обесчеловеченного прогресса, который позабыл про мораль, духовность и нравственные ценности. Но главное в этих стихотворениях не то, что потеряно, а то, что навеки осталось с ним, в чуткой душе поэта. Стихи М. Метлицкого часто вырастают из воспоминаний о родственниках, соседях, о деревне и деревенском быте. За строчкой стоит правда переживания.

Прочитав «Бабчин», я непроизвольно подумал, что по сути это лирический роман — не осуществление ли того замысла, которым Микола делился со мной в середине 80-х? Хронотопом этого романа в стихах стала выселенная родная деревня, в которой остановилось время, или стало только цикличным, но обитатели остались — тени ее жителей. Их много, и все они тут: Катюша, Яниха, Антося, Макрена, Бавариха, Аксинчик, Зоя, Манька, Нюра... И отдельные стихотворения из этого романа представляются мне кусками янтаря, в которых навечно сохраняются картины пережитого поэтом, образы памяти, полесские пейзажи, фигуры земляков, бытовые ситуации. Автор постигает мир изнутри, находясь в гуще жизни, ему близка народная простота взгляда, которую он сочетает, однако, с высшей рефлексией.

Пішу вам, цётка Анюта,
Двор — палын ды быльнёг.
Хата — горам замкнута,
У крапіве парог.

Прытхла і гаркавата,
Сырасць між сцен.
Шлю вам прывет
З вашай хаты —
Шчасце гукаю ўзамен...

(«Пішу вам, цётка Анюта...»)

Основным, базовым образом в «Бабчине» является образ молчания, тишины: «Хаты пустыя... Яблынь сям'я. / Воблікі гаспадароў. / Ходзіць нясходна памяць мая / Быльнягамі двароў…» Молчание — это немой крик, пантомима души поэта, жесты этой души... И поэт хочет разорвать замкнутый круг молчания. Высокого взлета в этом смысле его строка достигает в стихотворении «Последний Бабчина житель...».

В поэзии М. Метлицкого, летописца родного Бабчина, несмотря на весь ее драматизм и напряженность, нет ощущения жизненного тупика, безысходности или отчаяния. Мужество, свобода, стойкость — вот основа мироощущения лирического героя «Бабчина». В активной позиции сострадания и помощи людям — весь М. Метлицкий. Для Полесья он свой. Когда, после чернобыльского нашествия, бабчинцев переселили, он хотел и добивался, чтобы земляки

были переселены вместе, всей деревней. Исторический Бабчин сохранился бы и в названии, и целиком, в одном месте, но начальство, из своих соображений, распорядилось по-другому, и люди очутились в разных регионах. Люди, слава Богу, живут, поддерживают связи, приглашают в гости поэта.

В 1986 году М. Метлицкий стал лауреатом премии Ленинского комсомола Беларуси, а в 1998-м — за книгу поэзии «Бабчин» — получил Государственную премию Республики Беларусь имени Янки Купалы.

После «Бабчина» были новые сборники: «Хойникская тетрадь» (1999), «Жизни глубинные омуты» (2001), «Замкнутый дом» (2005). В них автор обращает взор на духовные ценности, вглядывается в антологические проблемы бытия, стремится гармонизировать мир, использует библейско-христианскую тематику. После «Полесской печали» и «Бабчина» нелегко подняться к новым вершинам, но Метлицкий не был бы Метлицким, если бы не старался это сделать. Его поэзия подводит итог развития человека в XX столетии, который стремится к тому, чтобы стать интересным для самого себя, чтобы увидеть другого и завязать с ним диалог, решиться на поступок, иметь смелость думать по-своему. Сегодня продолжается процесс автономизации человеческой личности, ее дальнейшей индивидуализации. Все это найдем в творчестве М. Метлицкого. Проект поэта — по-настоящему величественный и масштабный; он, как библейский пророк, хочет спасти и осчастливить всех, все человечество. Этого пока что, к сожалению, никому не удалось сделать. В его творчестве обнаружился пассионарный тип личности, которая обладает, без сомнения, чрезвычайной жизненной энергией и использует ее для активной деятельности, для высоких, чаще всего идеальных целей.

И персональный вклад М. Метлицкого в национальную духовную копилку: в его поэзии потомки найдут облик Беларуси, обозначенной потерями века — болью хатыней, чернобыльских бабчинов.

Ахіні — бела-белым — крылом
Вечаровую вулку, бусел.
Я пагрукаю ў кожны дом,
З кожнай студні вады нап’юся.

Той радзіннай зямлёй, сваёй,
Пакіруюся ў шлях далёкі.
Сумна, дзіка ўзышлі на ёй
Палыны ды асокі.

Горкнуць крокі бяды, хады,
Смягнуць сцята і суха ў горле.
Выйдуць з хат перастрэць дзяды:
Не паверу — дзяды памёрлі.

Это — прекрасная, духовно обостренная, высочайшей пробы лирика, которая свидетельствует о больших возможностях автора, возможностях его поэтики со свойственными ей психологизмом и образностью.

«Талант — это доверенность, — считал русский поэт Евгений Баратынский, — которую необходимо соблюсти любой ценой». Думаю, что Микола Метлицкий об этом знает. Его поэзия — это духовное сопротивление тому невероятному послечернобыльскому миру, в котором оказался человек.

Близнецы звезд

Представьте себе такую картину. От берега озера Гальве к Тракайскому замку отплывает лодка. В лодке веселая компания туристов. И никто из сидящих в ней не видит молодую женщину, которая машет им с берега руками и кричит. Она не успела сесть и, растерянная, чуть не плача, зовет: вернитесь же! Ситуация тем более обидная, что в лодке ее муж. Наконец, на нее обращают внимание, но лодка продолжает удаляться. И смех на ней становится даже громче. Тогда женщина входит в воду и в чем есть идет за лодкой. За своим мужем. В мае вода в озере холодная, пронизывающая, по ногам пробегает судорога, одежда быстро намокает и тяжелеет, но женщина продолжает идти, погружаясь в воду все больше и больше. Она решает идти пока не захлебнется. Смех в лодке сменяется всеобщим оцепенением. Затем паникой. Слава Богу, успели, захлебнуться не дали.

Это эпизод из автобиографической книги Любови Турбиной «Огни на воде», вышедшей в этом году в издательстве «Литература и Искусство». Да, это она, тогда молоденькая Люба Турбина, полгода назад вышедшая замуж, попала вот в такую глупую ситуацию. Но почему? Зачем нужно было идти на унижение, терять уважение в глазах знакомых и незнакомых, подвергать опасности в худшем случае жизнь, а в лучшем — здоровье? Вот как она объясняет это сама: «Была во мне в молодости эта упертость — громко, при всех, попросив Костю остановить лодку, я не могла пережить публичный отказ — даже сейчас чувствую эту холодную, темную воду на губах». И чуть дальше: «Никогда больше я не подходила настолько близко к краю, за которым не знаю что: стала бояться саму себя».

Но есть еще одна, главная, причина сумасбродного поступка, о которой прямо она не пишет, но которая вытекает из контекста рассказа: мне кажется, она любила! Да, возможно, она любила, еще не успела разлюбить этого странного, не очень глубокого душой человека, в котором честно заблудилась. И, верно, не для красного словца говорят, что за милым — хоть в огонь, хоть в воду. Вот и пошла в эту самую воду. А — конечно же, подсознательно — какой урок преподала она тому же Косте, да и всем, кто видел это! Что нет в любви унижения, нет позора. Они только возвышают ее. Или — если сравнить любовь, не остывшую от первой влюбленности, с новорожденным — разве младенца унижает нагота? Но такова любовь в молодости. В зрелом возрасте она другая.

«Через тридцать лет, в девяносто пятом, побывала в Тракае на экскурсии после конференции в Вильнюсском университете. Оказалось, вовсе не на острове стоит знаменитый замок, обойди вокруг — и откроется сухопутный перешеек, и незачем было лезть одетой в воду... Мой прежний ужас сменился недоумением — почему? Почему не нашла этой сухопутной дороги тогда, когда приехала сюда с Костей?»

Потому что после пятидесяти, а у кого и раньше, любовь предпочитает ходить посуху. Не то чтобы в воду с головой сигануть, — боится ножки промочить. Хорошо про таких написал Халиль Джебран: «Ваш мир — мир полузабытья. // Там будете смеяться вы и плакать, // не зная даже, что такое смех, // не зная даже, что такое слезы». Вот это «полу» и находит безопасные стежки-дорожки.

Но почему Любовь Турбина пишет о том злосчастном происшествии сегодня? Так обнаженно, так беззащитно? Ведь вспомнить — еще раз пережить, еще раз надорвать сердце. Потому что она — настоящий писатель. Который, создавая духовную биографию, входит в минувшую жизнь, как в ту воду. К любому

человеку приходит время исповеди не только перед Богом, но и перед близкими людьми. А у писателя — всякий раз, когда он придвигает к себе лист бумаги. Много еще будет в этой книге похожих и непохожих рассказов о неутомимой работе души, предшествующей поступкам или совершающейся после них, если они оказались неверными.

«Еще один пример стойкости, которую сознательно в себе развивала. В школе по биологии проходили про Лысенко (уже пятый класс!). Естественно, в учебнике — хвалебная песнь в его честь. Меня вызывают, я молчу, как партизан на допросе, получаю «двойку». Дома ругают — как у дочери профессора биологии может быть «двойка» по биологии? А ведь я потому и не отвечала, что слышала дома совсем не то, что написано в учебнике! Но почему-то опять молчу, оправдываться считаю для себя унизительным».

Эта история говорит в пользу нравственного облика рассказчика. Но не пропускает он и других событий в жизни, особенно в детстве, случаев, где выглядит не лучшим образом. «...проступков было невпроворот — скрывала, обманывала, тайком вытряхивала мелочь из папиных карманов, чтобы не просить; свою неизбывную греховность я ощущала постоянно». Но копилось, прирастало в душе осознание того, что «чудо нельзя сделать кривыми ручками, чуда надо дождаться, вымолить, заслужить...». Имеется в виду, конечно, рукотворное чудо — осуществление сильно желаемого путем упорного труда, жизни по законам порядочности, исключающей сделки с совестью.

Писателю на роду написано выдерживать испытание на верность правде. Непросто оно дается. Иногда даже пугаешься за него: хоть читатель и лучший детектор лжи, но нужно ли выбирать его в интимные друзья?

Такое ощущение, похожее на страх, у меня возникло при чтении главки «На озере Нарочь», одной из лучших в книге. Может, это произошло потому, что я хорошо знаком с Любовью Николаевной и хотелось уберечь ее от излишней откровенности перед незнакомыми людьми. Но потом спохватился: книга-то напечатана! Вот в чем признается ее автор: «Я была в упоении от такой возможности: слинять из дома на целый месяц в прекрасное место, да еще в компании с остроумным, «престижным» мальчиком! Было и еще одно, на уровне подсознания, ожидание от поездки — в моей настольной книге «Марта Квест», автор которой малоизвестная на тот момент Дорис Лессинг (нобелевский лауреат этого года, между прочим!) утверждала: «...для девушки, которая хочет как можно скорее и как можно романтичнее потерять невинность, она повела себя странно». Фраза эта стала на ближайшие три года почти руководством к действию и занимала тайные мысли. Уж если выбирать романтичное место, то лучше Нарочи просто быть не может!»

Опасливо я продолжаю читать дальше и, наверное, уподобляюсь человеку, подглядывающему в замочную скважину. С любопытством наблюдали и другие, оказавшиеся в летнем студенческом лагере вместе с Любой Турбиной. Одна из ее подруг потом ей напомнит: «Вы танцевали рок-н-ролл как насмерть, будто жизнь от этого танца зависела, неистово, со страстью».

Романтического приключения, однако, не произошло. Через какое-то время «престижный» мальчик отходит у Любы на задний план и «вроде мы еще дружили, но разделительная полоса воды (опять, заметим, появляется вода-разлучница. — *Ю. С.*) между нами становилась все шире и шире...».

Однако мои опасения, что интимные подробности в описаниях автора книги рискуют показаться плоскими (не помню, у кого из современных литераторов они были удачными, среди последних почему-то особенно женщин тянет на постельную откровенность), оказались, к счастью, напрасными. В главе «Сын по переписке», которая по сюжету и характерам вполне могла бы быть самостоятельной повестью, Любовь Турбина, воспроизводя события давних лет, описывает и то, как, влюбившись, отважно пускается во все тяжкие. Никогда не думал, что измена может быть целомудренной. Хотя история Анны Карениной разве не

такова? А мужем нашей героини ко времени этого события еще был тот самый странный человек, который смеялся в лодке, глядя, как его молодая жена пошла за ним в холодную воду. Проявил он себя и еще один раз. Нечаянно получив из Болгарии письмо, адресованное жене (опрометчиво дала возлюбленному домашний адрес), он не показал его ей, а... вступил в переписку от ее имени. И переписывался полтора года, постепенно сообщая своему корреспонденту важные для него новости: как у них родился сын, как растет, как проявляется его характер... Все это время она ждала весточки от того, с кем провела всего одну ночь. Письма «отца» ей были отданы Костей лишь в день развода. Но именно у Кости, этого опасного человека, она (а не он при жизни!) попросит прощения:

«Я пишу тебе это нескончаемое письмо туда, откуда не возвращаются, пытаясь что-то объяснить или оправдаться, вместо того чтобы просто смиренно попросить у тебя прощения: прости меня за то зло, которое вольно или невольно я причинила тебе. Прости меня, милый, за то, что при жизни не сумела понять тебя и полюбить, и потому, возможно, упустила реальный шанс на «счастье в личной жизни», то самое, которое мы так легко желаем друг другу, однако посещает оно совсем немногих, понятливых и терпеливых».

Да, эта книга многому учит. И тогда, когда писательница опускается в психологические глубины смысла жизни, и тогда, когда, в качестве передышки, избавляет тебя от кессоновой болезни совести (ведь ты как бы вовлекаешься, участвуешь в описываемых переживаниях) и становится просто гидом. И тогда мне начинает казаться, что написана эта книга для... меня.

А кому еще можно так тепло, задушевно, лирично писать, скажем, о Минске, о его парках, улицах и переулках, как не тому, с кем исходили их, с кем любовались ими вместе? Но ведь мы ни разу не встречались в те годы с Любовью Турбиной. Оказывается, вовсе не обязательно быть с человеком накоротке, чтобы одинаково с ним чувствовать. Нашими эти заветные места стали точно так же, как, скажем, стихи Богдановича роднят незнакомых людей.

«Удивительно — пишешь свое послание полжизни, запечатаешь в бутылку и бросаешь, как тебе кажется, в океан (бытовое обозначение бесконечности). А выплывает, вернее — выбрасывается эта бутылка на берег Свислочи, около бывшего дома, — в большом мире послание твое никому особо не интересно, зато тут его ждут и хотят поскорее прочитать...»

Как хорошо, что вынырнула эта бутылка прямо передо мной. Раскупорил ее, и пахнуло головокружительным запахом и моей юности, прошедшей в Минске. Разве не чудо? Все-таки не только для самых-самых близких, словно для себя, послала сей сосуд Любовь Турбина.

А вот у меня был случай — прямо противоположный и один на миллион, о котором здесь уместно рассказать. В пятьдесят четвертом или пятьдесят пятом году прошлого века (неприятно добавлять «прошлого века», да куда денешься) я отдыхал в одном из пионерских лагерей на Зеленоградском побережье Балтийского моря. Однажды, купаясь, заметил в волнах небольшой продолговатый прутик. Долго старался выловить его: мешал ветер, стволик все время исчезал из глаз. Наконец он оказался в моих руках. Боже праведный! Возможно ли это?! На ивовой палочке было вырезано ножиком: «До встречи в море». Моим ножиком и на моем прутике!!! Недели за полторы до поездки в Зеленоград, в радостном волнении от предстоящих ощущений, я пожелал ему встретиться со мной в море и бросил его в речку Писсу, впадающую в Балтийское море. От моего села Первомайского Гусевского района до моря прутику нужно было преодолеть почти двести километров. И каждая из сотен тысяч коряг, а река на всем пути хоть и быстрая, но узкая, могла навсегда похоронить его. И как после этого не верить в чудеса! Много лет хранил я свое послание как талисман. До армии он был всегда со мной, а вернувшись через три года, не нашел, перерыл весь дом. Наверное сгорел в печке. Но с тех пор все что ни пишу, даже рецензии, пишу прежде всего для себя. В смутной уверенности, что такое не пропадет. Так вот и Турбина, запе-

чатывая свою бутылку, думаю, верила: коль себе или близкому человеку адресовано, коряги не задержат. До меня, например, дошла.

А уж до ее давних друзей — подавно. Она дает их портреты так выразительно, с такой нежностью, что вроде и ты знаешь и любишь их сто лет. О ком-то совсем коротко: Олег Бембель (он же Зьнич), Юрий Алексеев (он же Глеб Артханов), Людка Сильнова, Валентина Аксак, Влад Орлов. Но на особом месте приближенных к сердцу — ее подруга Галина Дубенецкая. Вот маленькая картинка начала праздника — дня рождения Галины:

«Прежде всего накрывается стол в гостиной, Галя возится с цветами, подбирая каждому букету вазу со смыслом, достает парадные рюмки. Так, чтобы все гармонично сочеталось по цвету и размеру («не торопите меня!»), ведь подходящая рюмка не менее важна, чем точная рифма, а уж тут, по тщательности обработки стиха, по поискам мелодии созвучий Гале точно нет равных. Но вот цветы расставлены, гости рассажены, Мария Михайловна и Галя перестали сновать из гостиной в кухню, подняты рюмки, и возникает атмосфера... — то, что труднее всего словесно выразить». Чуть позже Любовь Николаевна все-таки сформулирует особенность этой атмосферы. «...Галя не стремилась даже в свой день быть единственной героиней, все присутствующие в той же мере ощущали себя в центре. В ее присутствии как-то само собой чувствуешь себя умным, хорошим, особенным...»

Ловлю себя на мысли, что вот и я, самим чтением приглашенный в общество героев интеллектуальной, доброй, искренней книги, тоже испытываю похожие чувства и, обнаружив в себе кое-какие достоинства, невольно выгибаю спинку, как еще один персонаж произведения — кошечка-пеструшка во дни ее беззаботного жития у Любови Турбиной. Все правильно: с кем поведешься, от того и наберешься.

Я определил жанр «Цветов на воде» как автобиографию. Автор же прибегает к другому определению: хроники. Наверное, большого отличия тут нет. Хроники — запись исторических событий в хронологической последовательности. Не скрупулезно точно, но Турбина-прозаик все-таки следует этой формуле. Но как быть со стихами Турбиной, из которых состоит вторая часть книги? Для чего они понадобились здесь? Как городу — памятники или другие достопримечательности? Как человеку, что-то недосказавшему о себе, возможность высказаться прямо или камуфлированно, спрятавшись за метафорой? Как давно не издававшемуся поэту? Не знаю. Может быть, все это вместе взятое. Каждый поймет по-своему.

Сначала мне показалось, что стихи в книге играют роль подсветки прозы. Но не декоративной, нет. Они — те самые дрожащие огни, вынесенные в название книги. Близнецы звезд, фонарей, фар проезжающих машин, проплывающих кораблей... В зависимости от яркости, а значит, удаленности воспоминаний. Легкий ветерок сегодняшней жизни пробегает по глади озера, реки, моря, искажая свет, идущий изнутри. Зато делает его живым и заставляет еще и еще раз вглядеться, поймать его настоящие контуры. Поймать — значит приблизить, обдумать, сопоставить. Что и делает Турбина-поэт.

Но вчитываясь в ее поэтические откровения, понял, что эта часть книги вполне могла бы поменяться местами с прозаической и тогда бы проза стала отражением поэзии. Потому что растет она, собственно, из стихов. Вот поэтическая сценка случая в булочной, в которой в первые послевоенные годы в Ленинграде по карточкам давали хлеб. Людей в булочной битком и

Отец молчит, и я как онемела —
Он не хотел меня с собою брать,
Ведь в очереди — будничное дело —
Нам долго с ним на холоде стоять.

И вдруг маленькой девочке Любе показалось, что люди ждут не хлеба, нет — сказки. И, взобравшись отцу на плечи, она стала читать наизусть сказку, свою

любимую, об утенке Тиме. И только что «лицо толпы застывшее сурово», смягчилось, потеплело. «Оттаивали каменные лица, // Был необычно вкусен после хлеб», которым девочку-артистку наградили вне очереди. Но об этом мы только что читали в главе «Университетская набережная». Поэтические сюжеты (да и написаны они, по всему видно, раньше) предваряют хроники: «Кошка серая в полоску», «По улице Янки Купалы», «Дом искусств», «Студенческое», «Свислочь» и другие. Но переплетаясь, сливаясь, они чем-то все же непохожи друг на друга. Не только наличием или отсутствием рифмы. Поэтическая версия передает знакомую историю так, как может это сделать только поэзия. То есть прозой ее невозможно пересказать. Вот как в этом стихотворении:

Дом искусств

На горке замок — башенки по краю,
Аляповат на искушенный вкус.
Но я милее в городе не знаю
Библиотеки домика искусств.

И часто там,
В тот зимний вечер тоже,
Листала книги — пригласили в зал:
Один актер, на Гоголя похожий,
«Записки сумасшедшего» читал.

Он на глазах менял свое обличье
(Из реквизита, грима — ничего).
Сумел постичь он автора величье,
Открыв в себе все слабости его.

Сместилось что-то в этом человеке:
На сцене жил он и, наоборот,
Когда встречал меня в библиотеке —
Смятенья чувств разыгрывал экспромт.

Потом покинул город — за удачей,
Актерский бог ему поможет пусть...
Но Дом искусств мне мил уже иначе,
А Гоголя я знаю наизусть.

Или как пересказать прозой стихи «Я многого не понимаю» — об одиночестве? «По вечерам я прячусь в ванной, // Одежды тесные снимая. // Жизнь представляется мне страшной — // Я многого не понимаю. // Исчезли прежние порывы, // Погас маяк — не видно цели, // Душа, как море в час отлива, // Свои зализывает мели. // И в досягаемости шага // Не отыщу янтарь средь ила... // Прими в себя, праматерь-влага, // Верни уверенность и силу. // Труба с водой доносит пенье — // Мать наверху купает сына, // Внизу, за тряпкой, опустенье — // Паук сплетает паутину. // Стыд наготы, кошмары детства, // Течет вода, смывая пену... // Любовь испытанное средство // Избегнуть собственного плена».

Стихи и проза в книге Любови Турбиной идут навстречу друг другу. Так метростроевцы ведут один тоннель с противоположных сторон. Кто первый окажется на месте встречи — в сердце читателя? Мне кажется, это произойдет одновременно.

С. Юрьев

Записки архивиста и литератора

Именно так, на наш взгляд, можно было бы назвать книгу Людмилы Рублевской и Виталия Скалабана «Время и бремя архивов и имен: очерки, эссе, пьесы», вышедшую в минском издательстве «Літаратура і Мастацтва» в 2009 году довольно большим по нынешним меркам тиражом в 2 тысячи экземпляров. (Для сравнения: «Записки архивиста: Поиски и находки историко-революционных реликвий», написанные зав. партархивом Ивановского обкома КПСС, были изданы «Советской Россией» в 1984 году тиражом в 100 тысяч экземпляров.)

Книга «Время и бремя…», без сомнения, привлечет внимание не только узкого круга специалистов-историков, архивистов, филологов, но и тех, кого принято именовать «рядовым читателем». Все включенные в нее очерки и эссе публиковались авторами — заведующим отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь, кандидатом исторических наук В. В. Скалабаном и сотрудницей ведущей республиканской газеты «Советская Белоруссия» Л. И. Рублевской — на страницах «СБ», пройдя, таким образом, своеобразную апробацию среди огромной читательской аудитории; пьеса «Людвіка і Фабіян» (ее прототипы — деятель белорусского национального движения 1920-х годов Фабиан Шантырь и писательница Людвика Сивицкая (псевдоним Зоська Верас) также издавалась отдельной брошюрой.

Виталий Скалабан и Людмила Рублевская склонны преимущественно к литературоведческим изысканиям, на что указывает выбор героев их повествований: четыре очерка посвящены ученым, один режиссеру, остальные же — литераторам.

В центре внимания авторов — народные поэты Беларуси Янка Купала и Якуб Колас. Им посвящены очерки «Я к Вам пишу — чего же боле?», «І пашану маю, і славу, а радасці няма», «Якуб Колас и его праздники», «Курган и «шевроле»». Литературная история в удостоверениях и описях», «Одиссея рукописей Янки Купалы». Именно в них, на наш взгляд, наиболее ярко проявляется удачное сочетание легкого пера литератора и документальной основательности историка-архивиста.

Как совершенно справедливо отмечают авторы, «посланные «во власть» приватным образом ходатайства и жалобы писатели не включают в свои собрания сочинений… Но ох уж эти историки! [от себя добавим — *и архивисты*. — ***М. Ш***.]. Извлекут на свет Божий из архивов самое сокровенное…». Написал это и вспомнил книгу М. О. Чудаковой «Беседы об архивах», вышедшую в популярнейшей когда-то серии «Эврика», и ее продолжение — новеллу «В защиту двойных стандартов», опубликованную в Новом литературном обозрении (2005 г., № 4), посвященном архивам и библиотекам. В последней М. Чудакова замечает: «Быть может, жизненное поведение многих было бы несколько иным, если бы они знали так же ясно, как знают это архивисты, что их письма не улетают по касательной к земной поверхности в бесконечность небытия, а лягут рано иди поздно на стол исследователя, что слово, сказанное публично, дойдет до потомков в десятках свидетельств — дневниковых, мемуарных, эпистолярных».

Конечно, В. Скалабан и Л. Рублевская не ставили перед собой задачу извлечь на свет божий «негатив», имевший место в биографиях известных людей, но они через архивные документы пытаются показать, что «написанное остается».

Авторы «Времени и бремени» пытаются найти «собственно архивный ракурс» применительно к своим героям. Мы имеем в виду не только «личность в архиве», но и «архив в личности»: многие из героев очерков В. Скалабана и Л. Рублевской имели отношение к архивам. Известно, например, что Янка Купала в 1918—1919 гг. был слушателем готовившего в числе прочих и профессиональных архивистов Смоленского отделения Московского археологического института (в фонде последнего, находящемся в ЦИАМ, хранится его личное дело, документы из которого В. В. Скалабан опубликовал в полном собрании сочинений поэта); первый председатель правительства Советской Белоруссии Д. Ф. Жилунович (псевдоним Тишка Гартный) вообще был первым руководителем архивной службы Белоруссии, возглавлял в 1920-е гг.

Центрархив БССР, а литератор М. В. Мелешко, закончивший Витебское отделение этого же института, был его заместителем (очерк о них называется «В пьяном виде можно поцеловать классового врага. Из истории писательских застолий»).

В поле зрения авторов попали выдающийся историк-славист, академик В. И. Пичета, которому посвящен открывающий книгу очерк «Мелиорация духа. К истории о высокопоставленных соавторах и цензорах», профессор М. В. Довнар-Запольский («Фарфоровый слоник для Надежды. Те, кто любил М. Довнар-Запольского»), академики Е. Ф. Карский («Околонаучный спор. Злополучная командировка академика Карского») и И. И. Замотин («Доска с черного хода. Штрихи к портрету академика Ивана Замотина»).

В книге публикуется очерк об одном из руководителей писательской организации Беларуси в довоенный период Андрее Александровиче («Буря и пена. Взлет и падение поэта Андрея Александровича»), обласканном славой в 1930-е, арестованном в 1938-м, и вековой юбилей которого, как подчеркивают авторы книги, «не был отмечен даже специалистами-литературоведами»; о народном поэте Беларуси, лауреате многочисленных премий Петрусе Бровке («Поэт и бронза. Неизвестный Бровка»); о народном поэте Максиме Танке («О Буре, Граните и Танке»); о редком в 1950-е гг. зарубежном вояже и его последствиях для писателя Ивана Мележа («Париж — город трущоб. Путешествие Ивана Мележа с последствиями»); о режиссере Иосифе Вейнеровиче, главном операторе киногруппы Белорусского штаба партизанского движения, чьи кинокадры о белорусских партизанах составляют золотой фонд республиканского кинофотофоноархива.

Если эти очерки имеют опосредованное отношение к архивистике, то рассказ о судьбе рукописей Янки Купалы есть не что иное, как фрагмент архивоведчески-источниковедческого исследования по проблеме архивной реституции. На примере возвращения после войны рукописей поэта (они были обнаружены в фондах Днепропетровского обкома КП(б) Украины) авторы показывают, по каким сложным, запутанным, непредсказуемым орбитам могут перемещаться архивы в экстремальных ситуациях и как порой непросто проследить за этими перемещениями и восстановить основополагающий в архивоведении принцип провениенции (т. е. происхождения). Нельзя не согласиться с утверждением Л. Рублевской и В. Скалабана о том, что история была безжалостна к белорусским архивам. К поставленным ими вопросам «Где вторая часть «Колосьев под серпом твоим» Владимира Короткевича, якобы украденная из квартиры писателя?», «Где архив Максима Богдановича, который хранился в здании Академии наук БССР и во время войны бесследно исчез?» мы могли бы добавить, увы, десятки и сотни подобных…

Завершает книгу очерк «Право на память», который обращает внимание на ряд проблем, существующих в современном обществе (и не только белорусском). Не ставя под сомнение необходимость сохранить память о великих людях и великих событиях, авторы задают далее весьма непростой вопрос: «Но задумывались ли вы, что это хранение требует и немалых материальных вложений?» Вторая проблема — некрополи. В России и Польше сейчас выходит множество всевозможных справочников по историческим кладбищам. В многоконфессиональной Беларуси с ее давними историческими традициями в настоящее время почти не ведется подобной работы. Во всяком случае, нам известно лишь одно описание находящегося в Минске некрополя — Кальварии, и то издано оно в Варшаве. Может быть, книга Л. Рублевской и В. Скалабана обратит внимание белорусских историков на этот важный сегмент исторической памяти народа.

В заключение отметим: рассматриваемая книга вызывает ряд ассоциаций, раздумий, порой несогласий с авторами, и в этом, на наш взгляд, заключается ее главная заслуга. Полагаем, что авторы, возможно, не догадываясь о том, следовали принципу, который исповедовал патриарх российской археографии, выдающийся историк и архивист С. Н. Валк — «писать о сложном простым языком». Впрочем, так ли уж «не догадываясь»: один из авторов книги, выпускник Ленинградского университета, в котором преподавал Сигизмунд Натанович, рассказывал как-то пишущему эти строки о своих беседах с Валком…

Михаил Шумейко

Дуб во ржи

Мы с Петром Липским оказались не просто однофамильцами, а близкими по крови людьми. Он отыскал меня после издания моей книги «Я» — о родословной Липских. Созвонились. Начали переписываться. И вот Липский Петр Иванович из г. Кирова — мой гость. Открываю для него Минск во всей красе. И едем в Светлогорский район, в деревню Печище, невдалеке от которой был хутор Кунное. Там, на лапине осушенного вручную болота и жил его дед — кулак и «враг народа». Мы нашли то место, где стоял «маёнтак» кулака. Там теперь совхозное поле, и сторожит его дуб-великан — единственный свидетель хутора Кунное. Петр Иванович бережно взял горсть белорусской земли в носовой платочек, сказал: «Завезу на могилу деда, бабушки, отца». До слез трогательная история. О ней с волнением рассказывал мой российский брат. Пусть эта исповедь станет уроком для всех нас, современников XXI века.

Владимир Липский,
главный редактор журнала «Вясёлка»,
лауреат Государственной премии Беларуси

1957 год. Холодным февральским днем бабушке стало совсем плохо. Не открывая глаз, лежала она в полутемной хате, прислушиваясь к порывам ветра за стеной да к осторожным шагам домочадцев.

Непонятная болезнь ее проявилась примерно с полгода назад, когда вдруг начали слабеть ноги. И вот уже все труднее выходить на улицу, во двор, где она так любила посидеть на завалинке, поджидая с работы своего старшего «Иваньку». «Возраст», — беспомощно разводила руками местный фельдшер. Определили в районную больницу. Там обследовали, да опять-таки ничего не нашли. «Старость», — сделали заключение. С тем и выписали.

И вот теперь она, бывшая спецпоселенка, Липская Анастасия Александровна, лежала в хате, построенной еще покойным дедом Петром в первые годы их жизни на уральской земле, и чувствовала, что конец близок. Слабость, неимоверная какая-то усталость сковали тело. А тут еще и сердце стало сдавать. Стукнет раз и замрет.

Внешне спокойная, она мысленно, уже в который раз, возвращалась в свое прошлое. Перед глазами возникали обрывки ушедшей жизни.

…Жизнь поначалу складывалась удачно. После Октябрьской революции новая власть выделила землю. Работайте! Работать умели и жили дружно, одной семьей. Вместе с тремя сыновьями — Иваном, Владимиром и Гавриилом, да двумя дочерьми — Ольгой и Надеждой, трудились в поле с утра до ночи.

Хлеб не покупали, наоборот, излишки сдавали государству.

Но с наступлением 1930 года беда пришла в их маленький хутор Кунное, и спокойная жизнь закончилась.

Как известно, в 1930 году государство взяло курс на всеобщую коллективизацию. Тогда под этим лозунгом в селах и деревнях повсеместно были ликвидированы зажиточные, или, как их тогда называли, «кулацкие» хозяйства. Хозяйства «кулаков» нещадно разорялись, самих хозяев высылали за пределы родных мест.

В один из февральских дней арестовали, как потом выяснилось, по доносу, мужа Анастасии Александровны — Петра Гавриловича, и с ним еще пятерых односельчан.

Месяц допрашивали в тюрьме. Пытались заставить дать показания на себя и других. Сознаться в преступлениях, которых не совершал. Наконец вынесли приго-

вор: «Выслать всей семьей в северные районы Урала. Бессрочно». Перед высылкой раскулачили. Забрали все.

12 марта 1930 года посадили в сани и под охраной повезли на железнодорожную станцию. С собой ничего не разрешили взять.

По пути сплошь подводы попадались. На них такие же обездоленные. Много детей. И охрана! Все направляются в сторону железнодорожной станции. На вокзале сотни людей. Формировался состав на Север.

Товарные вагоны. В вагонах холод, голод. Состав двигался медленно. Многие умирали в пути.

Наконец команда: «Выходить!»

На деревянном здании вокзала измученные люди прочитали надпись: «Ст. Яйва».

Поселок Яйва 30-х годов прошлого столетия представлял собой комплекс деревянных зданий барачного типа и был расположен между городами Кизел, с его угольными шахтами, и Березники, со строящимся гигантом химической промышленности — калийным комбинатом. Местное население — четыре-пять тысяч человек. Главная отрасль — лесная. Шахтам Кизела и строящемуся гиганту химической промышленности нужен был лес. Много леса. И прибывающие спецпоселенцы должны были решить эту проблему.

Вновь прибывших посадили на сани и по темному мартовскому снегу повезли дальше — вглубь тайги. Высадили среди деревьев: «Ройте землянки, здесь будете жить!»

Холодно, сыро. Люди, как могли, зарылись в землю. Чтобы не умереть с голоду, ели кору с деревьев.

Сразу же определили на работу в лес. Подневольные люди имели право только на самый тяжелый труд — пилить лес вручную лучковой пилой, обрубать сучья топором. Руководящая работа исключалась.

Заготовка леса шла круглый год. Зимой его вывозили на лошадях на берег реки Яйва, чтобы весной, по большой воде, сплавлять вниз. Летом возили в Яйву.

На работу ходили пешком. Лесосека находилась в 8 км от жилья. В осенние и зимние дни, когда было темно, дорогу освещали самодельными фонарями, изготовленными из пустых консервных банок, заполненных древесной золой, политой сверху керосином. Спецодеждой служили липовые лапти да брезентовые рукавицы.

После изнурительной работы в лесу строили себе жилье, раскапывали землю, корчевали лес — под огороды. Так посреди тайги вырос поселок спецпоселенцев, названный впоследствии «Галкой».

В поселке было два хозяина. Один работодатель, начальник лесопункта, отвечающий за организацию производства, охрану труда, заработную плату. За выработкой продукции, выполнением плана следили многочисленные десятники, сотники, бригадиры — непременно из местных.

Другой хозяин — комендант спецкомендатуры, представитель органов ОГПУ-НКВД, следивший за режимом ссыльных, за их благонадежностью, за отношением к работе и власти. За нарушения мог отправить и в карцер.

Самовольно перемещаться или покидать пределы своего административного участка ссыльным категорически запрещалось. Каждый из них должен был лично проходить отметку в комендатуре в точно установленные сроки.

Оплата за подобный труд была в два раза меньше, чем у вольных, с учетом вычетов в пользу органов за проводимые ими охранные мероприятия.

А поезда с разного рода спецпереселенцами все прибывали.

За 20 лет в тайге выросло более двух десятков лесных поселков ссыльных.

Тяжелые условия жизни давали о себе знать. Не выдержал самый младший из братьев — Гавриил. Умер в 1934 году. Много позже вышла книга воспоминаний Петра Литвиненко «Судьбы людские». Он участник тех событий. Был ссыльным, работал лесорубом. Много позже стал директором леспромхоза. По его определению, условия жизни спецпоселенцев 30-х годов можно приравнять к лагерным.

А люди работали. Выполняли и перевыполняли высокие нормы. Страх не покидал их все время. Боялись, что отправят в лагерь или расстреляют.

Наступил 1947 год, ставший знаменательным в жизни спецпоселенцев. На основании приказа МВД СССР освобождались все находившиеся в ссылке. Началась выдача паспортов.

У бывших теперь спецпоселенцев появилась возможность уехать. Но на родине никто не ждал. Родовое гнездо было разрушено. А поселок к этому времени обустроился. Появились: магазин, школа-четырехлетка, медпункт, клуб, кое-какое свое хозяйство. И семья осталась.

…За окнами быстро темнело. Но под потолком, хотя и тускло, засветилась лампочка — заработала местная электростанция. Автоматически включилось радио. Негромкий голос запел в тишине: «Среди долины ровныя, на гладкой высоте стоит-растет зеленый дуб в могучей красоте», — песню, слушая которую, бабушка всегда вспоминала родину, свой маленький хутор и растущий на окраине раскидистый дуб.

Казалось, в лице ее что-то дрогнуло, и уже слабеющими губами она чуть слышно прошептала: «Моя любимая песня...»

Это были ее последние слова.

В тот год мне исполнилось 9 лет.

Настали новые времена. Началась реабилитация жертв политических репрессий.

И вот я держу в руках дело, заведенное на моего деда — Липского Петра Гавриловича. Дело 78-летней давности. С волнением листаю пожелтевшие страницы.

Начало, как и положено, с поступившего сигнала о том, что на хуторе имеется подозрительная группа людей из шести человек.

Проведена операция. Люди задержаны и арестованы. Ими оказались местные жители. Им по 60—70 лет.

Оказывается, вот уже лет 10, как вредят они и Советской власти, и нарождающимся колхозам.

Боже, что только не вменялось старикам! И помощь белополякам в период оккупации 1920 года, и связь с бандитами, и нападение на еврейское поселение. Одной такой статьи хватило бы, чтобы поставить к стенке.

А они все отрицают: «Нет. Не участвовали. Не агитировали». Надеются, что разберутся по справедливости.

Но после окончания следствия было вынесено постановление: «Передать дело на рассмотрение «тройки» ОГПУ». А вот и решение «тройки» ОГПУ от 12.03.1930 года: «Выслать в Северный край по II категории».

«Какие еще были нужны доказательства вины, когда мы и так знали, что они враги!» — это слова В. Молотова, искренне недоумевавшего и не сомневавшегося в праве власти отнимать у людей свободу и саму жизнь. Слова, произнесенные им уже будучи персональным пенсионером. Молотов, как известно, курировал в то время органы ОГПУ—НКВД.

А я держу в руках справки о реабилитации Липских, и меня одолевают чувства. Гордость за своих: «Нет, не сдались. Выдержали!» И сожаление. Мне не с кем поделиться своей радостью. Ведь все они — бывшие хлеборобы, ставшие заложниками системы — спецпоселенцами, — давно освободились от забот мирских, и земля приютила их.

* * *

Кажется, эта история не могла иметь продолжения. Со смертью отца все родственные связи были утеряны. Но в начале двухтысячных годов, благодаря Интернету, на глаза попалось имя «Липский Владимир». Писатель из Белоруссии. Еще не веря в удачу, долго, окольными путями, пытался разузнать подробнее, наводил справки. Наконец решил написать.

И вот долгожданный ответ: «Мы с Вами — родня. Приезжайте!»

Прошло еще немало времени, прежде чем условились о встрече. Наконец я сажусь в вагон, и поезд «Москва—Минск» набирает скорость. Летят километры. А мне видится другой состав. В нем плохо одетые люди. Крики охраны. Подъезжаем к Минску. С волнением готовлюсь к встрече. На перроне много ожидающих, но в этой людской толчее я каким-то шестым чувством сразу узнаю знакомые глаза. Владимир Степанович, веселый, тоже машет мне рукой. Обнялись. Ведь мы, как-никак, родня! Наши отцы были двоюродные братья. Мы, стало быть, троюродные.

И вот сидим в уютной минской квартире на седьмом этаже. Разговариваем. Вспоминаем.

Владимир Степанович — известный белорусский писатель. Одна из тем его творчества — семья, род. С XV века проследил он историю нашей фамилии. Оказывается, в этой схеме уже 10 лет как вписаны имена моих деда и отца, да и мое тоже.

В последующие дни я знакомлюсь с семьей Владимира Степановича, встречаюсь и разговариваю с известными в Беларуси людьми. Вокруг меня звучит, подзабытая с детства, белорусская речь.

Но главная наша цель — увидеть родовое гнездо, или то, что от него осталось.

И вот юркий автобус мчит нас по ухоженному асфальту. Впереди несколько часов комфортабельного пути. Вокруг улыбающиеся попутчики.

А мне вновь видится другая дорога… Рыхлый мартовский снег. Подводы. Много подвод с сидящими на них стариками, детьми. Плач. И охрана.

Въезжаем в райцентр — небольшой аккуратный городок. Предупрежденная заранее администрация выделяет автотранспорт, сопровождающего. Немного терпения, и перед нами большое село Печищи. Здесь нас ждет проводник и очевидец тех событий — 82-летний Левон Липский.

Сидим за столом в белорусской хате. Хата большая — несколько комнат. Хозяин держит хозяйство, пчел. Но поскольку здоровье уже не то, работают в основном дети, зять. «Государство нас не обижает. Утром во двор подъезжает молоковоз. Можно сдать излишки молока», — поясняет Левон. Кстати, у нас с Левоном тоже прослеживаются отдаленные родственные связи. У него хорошая память. Он помнит почти всех хуторян Кунного, прослеживает их многолетнюю судьбу, но, к сожалению, за исключением тех, кто нам нужен. Это и неудивительно, ведь семья моего деда пострадала одной из первых, и детская память Левона не сохранила их для нас. По словам Левона, разорены были почти все хозяйства Кунного. Оставшихся хуторян переселили в соседнее село, а опустевшие дома разобрали. Таким образом, уже с 1939 года хутора Кунного как такового не существует.

Начинает темнеть. Тем не менее, мы решили не откладывать, проехать за околицу, поближе к тому месту, где когда-то стоял хутор Кунное, где зародилась жизнь моих деда и отца, чтобы потом, за сотни верст отсюда, зародилась и моя.

Машина наша съехала на обочину и остановилась у кромки засеянного житом поля. Мы вышли. Впереди, насколько хватало глаз, поле ржи да полоска леса у горизонта. «Вот здесь они жили. Тут стояли их хаты — “маёнтки”», — повел рукой наш проводник Левон. Я присмотрелся и вздрогнул. Там, посреди моря волнующейся ржи, на фоне темнеющего неба, высился дуб-великан. Широко, в полнеба, раскинулась его крона, и казалось, он издали приветствовал нас, покачивая ею.

«Стоит-растет зеленый дуб в могучей красоте», — вспомнились слова старинной народной песни — последнее, что слушала бабушка Анастасия, лежа в полузанесенной снегом хате маленького поселка, затерявшегося среди лесов Западного Урала.

Молча, притихшие, стояли мы на краю поля. На землю падала ночь.

Последним дуновением затухающего дня принесло терпкий цветочный запах — в ближайшем лесу зацвели ландыши.

Петр Липский, врач скорой помощи.

г. Киров, Россия.

Авторы номера

Андреев Анатолий Николаевич. Родился в 1958 г. в Североуральске Свердловской области (Россия). Литературовед, культуролог, философ. Доктор филологических наук, профессор. Автор монографий «Целостный анализ литературного произведения», «Культурология», «Психика и сознание: два языка культуры» и др., а также романов, повестей, рассказов, пьес. Живет и работает в Минске.

Куприянов Марат Владимирович. Родился в 1958 г. в д. Струбки Полоцкого района Витебской области. Поэт, бард. Лауреат международных конкурсов Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» (2007) и «Серебряный стрелец» (2008). Живет в Новополоцке.

Наталич Марина (Давыденко Наталья Алексеевна). Родилась в порту Ванино (Дальний Восток). Окончила Белорусский государственный университет. Работала редактором в издательствах «Мастацкая літаратура», «Беларускі кнігазбор». Пишет на русском и белорусском языках. Автор поэтических сборников «В лесном саду», «Странница», «Ледяные стихи», «Серебряная ласточка» и др., а также книг прозы «Глухие голоса», «Фрагменты жизни развеселой». Живет в Минске.

Корженевская Галина Анатольевна. Родилась в 1950 г. в д. Лесище Слуцкого района Минской области. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэтесса, критик, драматург. Автор многих сборников поэзии для детей и взрослых, пьес. Живет в Минске.

Марчук Георгий Васильевич. Родился в 1947 г. в Давид-Городке Столинского района Брестской области. Окончил Белорусский театрально-художественный институт и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Прозаик, драматург. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Секретарь Союза писателей Беларуси. Живет в Минске.

Куц Виктор Константинович. Родился в 1940 г. в д. Рыбаки Щучинского района Гродненской области. Окончил Гродненский химико-технологический техникум. Автор ряда поэтических сборников. Живет в Гродно.

Левина Мара (Островинская Мария Николаевна). Родилась в 1955 г. в России. Окончила Гродненское музыкальное училище. Автор сборника стихов «Полнолуние не тает» (Москва, 2007). Лауреат конкурса «Русский Still» (Германия). Живет и работает в Минске.

Миронов Илья Миронович. Родился в 1958 г. в Речице. Окончил гидротехнический факультет Украинского института инженеров водного хозяйства. Поэт. Автор сборника стихотворений «Откровение». Живет и работает в Столине.

Кузьмичева Анастасия Сергеевна. Родилась в 1974 г. в Минске. Окончила СШ № 4. Автор поэтического сборника «Быть может, меня приютят?» и диска со стихотворениями «Яхидна». Живет в Минске.

Д'Ормессон Жан Лефевр. Родился в 1922 году. Известный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Автор многочисленных романов. Живет во Франции.

Дебелянов Димчо. Родился в 1887 г. в Копривштице (Болгария). Окончил историко-филологический факультет Софийского университета. Поэт, прозаик, критик, публицист. Классик болгарской литературы. Умер в 1916 году.